Девятко И. Ф.

Социологические теории деятельности и практической рациональности

Библиотека Центра социологического образования

Книга издана при финансовом содействии Национального фонда подготовки кадров в рамках Программы поддержки академических инициатив в области социально-экономических наук

Centre for Sociological Education
of the Institute of Sociology
Russian Academy of Sciences

I. F. DEVIATKO

SOCIOLOGICAL THEORIES OF AGENCY AND PRACTICAL RATIONALITY

"AVANTI PLUS"
Moscow 2003

Национальный Фонд Подготовки Кадров
Центр социологического образования
Института социологии РАН

И. Ф. ДЕВЯТКО

СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ ТЕОРИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРАКТИЧЕСКОЙ РАЦИОНАЛЬНОСТИ

Москва
"АВАНТИ ПЛЮС"
2003

УДК 301.161
ББК 60.9
Д 25

Рецензенты:
чл.-корр. РАН, д.филос.н., профессор Н. И. Лапин,
д.филос.н., профессор В. А. Ядов

Девятко И.Ф.

Социологические теории деятельности и практической рациональности. — М.: "Аванти плюс", 2003. — 336 с.

ISBN 5-902559-01-4

В книге анализируются состояние и ключевые проблемы современной социологической теории, исчерпывающе рассматриваются основные подходы к исследованию социального действия — социологические теории деятельности и практической рациональности.

Для преподавателей, аспирантов и студентов социологических специальностей, а также для всех интересующихся современной социологической теорией.

ISBN 5-902559-01-4

© Девятко И. Ф., 2003
© "Аванти плюс", 2003

СОДЕРЖАНИЕ

От автора 8

РАЗДЕЛ I
Социологическая теория, социологические парадигмы и модели объяснения в 80–90-е годы XX века: возможности теоретической кодификации и концептуальной *стандартизации социологического знания*

Глава 1
Традиция и современность в социологической теории
Истоки социологического теоретизирования 13
Существует ли социологическая теория? 16
Особенности "теоретического взгляда"; типы и уровни социологического теоретизирования 25
Стратегии социологического теоретизирования 32

Глава 2
Исследуя основания социологической теории: перспективы концептуальной стандартизации и теоретической кодификации социологического знания
Коммуникативный impasse и возникновение социологического метатеоретизирования 37
Модели объяснения и классификация основных парадигм социологической теории 44

Глава 3
Краткая характеристика основных понятий и парадигм социологической теории
Ключевые понятия общей социологической теории 63
Основные парадигмы социологической теории: натурализм, интерпретативизм (конструкционизм), структурализм, функционализм 67
Примечания 78

РАЗДЕЛ II
Социальное действие: социологические теории целенаправленной деятельности и практической рациональности

Теоретическое введение: истоки концепции интенционального действия **87**

А. Интерпретативные теории деятельности

Глава 4
"Классические" интерпретативные теории деятельности
М. Вебер и концепция "социального действия" 100
Идеи Г Зиммеля и общая теория действия 118

Глава 5
"Модернистские" теории деятельности: от Парсонса к конструкционистской программе
Т. Парсонс и общая система действия 123
Нормативное—инструментальное измерение в типологии действия Ю. Хабермаса 132
Дж. Г Мид и формирование исследовательской программы символического интеракционизма: поведенческое взаимодействие, общество, символ и самость 137
А. Шюц и возникновение феноменологической теории социального действия 144
П. Бергер и Т. Лукман: формирование конструкционистской версии интерпретативной программы 154

Глава 6
Современные интерпретативные теории деятельности
Действующий и ситуация действия в драматургической социологии И. Гофмана 160
Х. Гарфинкель и этнометодология 165
Теория структурации Э. Гидденса: синтетическая модель актора 171
Реляционная социология М. Эмирбайера и попытка неопрагматистского синтеза в теории действия 183
Примечания 190

Б. Теории практической рациональности

Теоретическое введение: три трактовки рациональности и теории социального действия 204

Глава 7
Классические теории практической (инструментальной) рациональности
От утилитаризма к теории полезности 209
Взгляды В. Парето 216

Глава 8
"Модернистские" теории практической рациональности
Зарождение социологических теорий рационального выбора и общественного выбора 225
Практическая рациональность без интенционального выбора: от бихевиоризма к необихевиористским теориям обмена (Б. Скиннер, Дж. Хоманс, П. Блау, Р Эмерсон) 229

Глава 9
"Постмодернистские" теории практической рациональности: от максимизации индивидуального интереса к парадоксам коллективного действия и сотрудничества
Теоретико-игровые модели рационального действия и "эволюция сотрудничества" 243
Пирамиды прав и цемент общества: общественный выбор как социальный обмен (Дж. С. Коулмен, Дж. Элстер) 252
Примечания 264

РАЗДЕЛ III
Метатеоретическая критика теорий социального действия

Введение / заключение 273

Глава 10
Некоторые логические и содержательные трудности рационального объяснения действия
Логические трудности 274
Содержательные трудности 282

Глава 11
Социология с практической точки зрения: к критике современных теорий практики
Интеллектуальная генеалогия "практик" 289
Критика теорий практики и возможные альтернативы 293
Примечания 305

Литература 312

ОТ АВТОРА

Эта книга — результат попытки критически проанализировать состояние конститутивной для социологии проблематики социального действия. Данная попытка — не первая и, вероятно, не последняя — основана на достаточно радикальной проблематизации некоторых "очевидностей" социологической трактовки действия, прежде всего представления о возможности описать интенцию действующего с некоторой привилегированной, "субъектной" точки зрения и ввести последнюю в ядро объяснительных механизмов, используемых социологией. Волевой акт, направленность и цель — важнейшие характеристики действия как такового, однако задача описания их в качестве эмпирических атрибутов действующего, поддающихся правильной идентификации и служащих конечными детерминантами наблюдаемого поведения представляет собой сложнейшую философскую проблему, едва ли решаемую прямой апелляцией к действующему как "автору" действия (наивный натурализм такого решения легко распознать в большинстве версий интерпретативной социологии). Даже создатель наиболее последовательной доктрины волюнтаризма А. Шопенгауэр замечал, что можно сделать, что захочется, однако нельзя захотеть чего угодно. Альтернатива субъективистским теориям социального действия — это теории практической рациональности, восходящие к вариациям психологического, методологического или аналитического бихевиоризма. Последние объясняют поступки людей объективными интересами и обстоятельствами социального окружения действия, однако нередко жертвуют существенной "качественной" характеристикой его субъективной направленности. Постепенное взаимное осознание и взаимовлияние двух крайних подходов к решению проблемы социального действия либо заставит нас найти такой концептуальный язык, который сохранит возможность внешнего и внутреннего опи-

саний поступков, отказавшись от локализации субъективности в "голове" или внутри "телесности" индивидуальных авторов, либо приведёт к новому концептуальному словарю, свободному от привычных, но порождающих непреодолимые трудности теоретических терминов.

Книга родилась из курса лекций по современной социологической теории, читаемого мною в Центре социологического образования Института социологии РАН с 1999 года по сей день для профессиональных социологов-исследователей и преподавателей российских университетов, а также для студентов магистратуры. Слушатели и стажеры Центра составили исключительно квалифицированную и благодарную аудиторию, с которой можно было обсуждать наиболее сложные проблемы современной социологической теории, поскольку последняя прямо или косвенно присутствовала в их повседневной работе либо в качестве единственно прочного фундамента для занятий социологией, либо — едва ли реже — в качестве предмета содержательных затруднений, методологических споров и принципиальных философских расхождений. Моя благодарность этим коллегам (которых, к сожалению, невозможно перечислить поименно в кратком предисловии), а также сотрудникам Центра, не может быть чрезмерной. Я также считаю необходимым упомянуть совершенно особое значение, которое имело для завершения этой книги многолетнее сотрудничество с коллегами по сектору истории социологии и общей социологической теории ИС РАН, руководимому д.филос.н., профессором Ю. Н. Давыдовым. Заинтересованное и критическое внимание всех упомянутых коллег, их участие в обсуждениях различных частей данной книги предопределили саму возможность предпринятой в ней попытки анализа и обобщения современного положения дел в социологических теориях деятельности и практической рациональности. Такие анализ и обобщение — необходимые шаги к долгожданному достижению интегрированной теории "в единственном числе", основанной если не на содержательном консенсусе, являющемся для нормальной науки скорее исключительным и недолговечным состоянием, то на единстве используемого концептуального языка и объяснительных моделей.

Я выражаю глубокую признательность чл.-корр. Российской академии наук, д.филос.н. профессору Н. И. Лапину и д.филос.н., профессору В. А. Ядову, внимательно прочитавшим рукопись этой книги и высказавшим полезные замечания и рекомендации, которые я постаралась учесть при подготовке данного издания. Разумеется, любые оставшиеся промахи и неясности в изложении — на совести автора. Очень многие не упомянутые здесь коллеги и друзья прямо или опосредованно повлияли и на возникновение замысла этой книги, и на его воплощение, иногда самим фактом неизменной поддержки и участия, за что я им очень благодарна. Особого упоминания заслуживают профессор Дж. Ричман и профессор Х. Штайнер, независимо друг от друга поддержавшие замысел книги и проявлявшие неизменный дружеский интерес к процессу её написания.

Москва, 2002

РАЗДЕЛ I

СОЦИОЛОГИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ, СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ ПАРАДИГМЫ И МОДЕЛИ ОБЪЯСНЕНИЯ В 80–90-Е ГОДЫ XX ВЕКА: возможности теоретической кодификации и концептуальной стандартизации социологического знания

ГЛАВА 1

ТРАДИЦИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ В СОЦИОЛОГИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ

Истоки социологического теоретизирования

Возникновение социологии как научной дисциплины принято связывать с "эпохой революций", создавшей экономические, политические и интеллектуальные предпосылки для формирования специализированной науки, изучающей устройство и законы социального мира и соответствующей сложившейся модели наук Нового времени. Действительно, интеллектуальная революция Просвещения узаконила новый тип светского дискурса об обществе и окончательно закрепила и институциализировала идею социального изменения как "естественного состояния" обществ. Тем самым она дала начало рациональной дискуссии о возможности целенаправленных и основанных на точном знании воздействий на общественные установления с целью защиты "естественных прав" индивидов, а также создала необходимый институциональный контекст для формирования науки об обществе. Политическая и экономическая революции "долгого" семнадцатого—восемнадцатого веков расчистили место для такой науки, освободив её от идеологической гегемонии церкви и культурно-политической гегемонии "благородного сословия", а заодно и создав массовую интеллектуальную аудиторию читателей и студентов, заинтересованных в получении "позитивных" экспертных знаний об устройстве и функционировании общества [см.: 299, p. 2–7].

Рассуждения о воздействии "модернистского проекта" на складывавшийся в описанный период тематический репертуар, понятийный язык и методологические критерии новой науки в последнее время всё чаще воспринимаются как общее место работ, посвященных истории социологии, а также не-

пременный атрибут узкоспециальных споров относительно исторических и логических границ, отделяющих собственно социологию от социальной философии и широко понимаемой социальной теории. Существует, однако, и другая, редко замечаемая и ещё реже явно обсуждаемая особенность собственно "теоретического взгляда" в социологии, который в значительной мере сформировался до "официального рождения" этой науки. Анализируя проблему множественных "исторических горизонтов социологии" Ю. Н. Давыдов пишет: "Дело в том, что применительно к теоретической социологии, представляющей собой 'верхний этаж' социально-научного знания, выявилась едва ли не более резко и конфликтно та закономерность, какую автор 'Капитала' подметил в общем развитии науки как таковой. А именно то, что в процессе развития 'верхние этажи' научного здания выстраиваются подчас гораздо раньше, чем нижние. В том числе, добавим уже от себя, раньше чем самый 'фундамент', к которому принято апеллировать, говоря о генезисе той или иной научной дисциплины. Поскольку же те, кому не приходилось всерьез исследовать историю *социологического* знания, норовят обычно в своих 'общих рассуждениях' о социологии начинать как раз от этой 'печки', постольку от их 'обобщающего" взора ускользает история этих 'верхних этажей', без которых социологическая наука немыслима точно так же как и без 'нижних' и 'подвальных' ...Острота и конфликтность проблемы генезиса теоретической социологии связана с тем, что она достигла научно развитой (и в этом смысле достаточно 'зрелой') формы гораздо раньше, чем ее достиг 'эмпирический' фундамент. Гораздо более тесно связанный — в своем возникновении и развитии — с процессами институционализации социологического знания и включения его в систему 'научного производства', складывавшуюся на протяжении XVIII–XIX вв., он потому-то и 'запаздывал' в своей эволюции от того, что впоследствии (т. е. задним числом) обычно рассматривалось как 'теоретическая надстройка' над ним" [22, с. 8–9].

Не имея здесь возможности подробнее остановиться на условности и крайней проблематичности ныне принятого исторического "размещения" всех ключевых элементов проекта "Современности", приведём лишь яркий фрагмент анализа от-

носительности самого понятия "модерна" осуществленного Дж. Александером: "Современность" (modernity), всегда была крайне релятивистским термином. Он возник в V веке, когда вновь христианизированные римляне пожелали отличить свою религиозность от двух других ее форм — варваров-язычников античности и непреобразованных евреев. Во времена Средневековья Современность была изобретена вновь в качестве термина, подразумевающего культивированность и ученость, что позволяло интеллектуалам того времени идентифицировать себя, ретроспективно, с классической ученостью самих греческих и римских язычников. С приходом Просвещения она стала отождествляться с рациональностью, наукой и устремленным вперед прогрессом — семантически произвольное отношение, которое кажется устойчивым вплоть до наших дней. Кто может усомниться в том, что рано или поздно новый исторический период придет на смену этому второму 'веку равновесия', в который мы так неосмотрительно, хотя и случайно, соскользнули. Возникнут новые противоречия и проявятся конкурирующие множества мир-исторических возможностей, и не похоже на то, что они будут рассматриваться в возникающих рамках неомодернизации" [74, p. 9].

Всё это не означает, разумеется, что нам следует усомниться в значимости классической социологии XIX — начала XX веков. "Классический период" развития социологии и собственно социологического теоретизирования имел формативное значение и в смысле институционального закрепления сферы социально-научных исследований, и в смысле складывания "внутренних" профессиональных критериев оценки нового знания и методологии его получения. Важно лишь уловить глубину исторической перспективы, в рамках которой следует рассматривать социологические *теории* и понятийный *язык* социологии. Хотя данная книга посвящена преимущественно новейшему периоду развития теоретического мышления в социологии, мы по возможности будем стремиться к реконструкции того интеллектуального фона, на котором формировались и классические, и теории действия нашего времени.

Классическая социология создала и систематизировала не только "общее наследие" социологической традиции, но и те комплексы идей, которые сформировали различные, и зачас-

тую враждующие, теоретические школы (или "парадигмы") социологии конца XX века. Само их существование, как будет показано далее, связано с фундаментальными и нередко уходящими за исторические границы "классического периода" различиями в понимании природы социального мира и социального действия.

Но прежде чем обратиться к анализу основных парадигм (моделей объяснения), определяющих развитие социологической теории, а также к краткому рассмотрению основных этапов развития теоретической традиции в социологии, следует ответить по меньшей мере на два взаимосвязанных вопроса:

- существует ли социологическая теория как особый род знания, тип исследовательской деятельности и институциализированная область социологической работы;
  в чем заключаются особенности "теоретического взгляда на вещи" и теоретического способа рассуждения (дискурса) в социологии.

Существует ли социологическая теория?

Первый из поставленных вопросов носит отнюдь не умозрительный характер. Сегодня в социологии нередко звучат предложения в принципе или хотя бы временно отказаться от "теоретического взгляда" как непродуктивного, невозможного, негуманного, тотализирующего, чрезмерно абстрактного и созерцательного или, наконец, просто непрактичного. Более того, в противовес энтузиазму великих теоретиков "модернистского" периода развития социологии (*см. далее*), веривших, подобно Т. Парсонсу, что в результате построения целостной концептуальной схемы, или "общей теоретической ориентации" "социологическая теория вот-вот начнется!" [см.: 282], последователи постмодернистской идеологии в социальных науках провозглашают тезис о "конце социологической теории" Мы кратко рассмотрим и опровергнем этот тезис на примере весьма типичной и относительно недавней его презентации, данной в одноименной статье С. Сайдмана. (Более широкая классификация "антитеоретических позиций" в социальных и гуманитарных науках представлена в целом ряде работ. появившихся в конце 80-х — начале 90-х годов XX века и специально посвященных опровержению этих позиций [см.: 38;

47; 56: 75; 188].) Сайдман обнаруживает главный недостаток социологической теории в том, что она ...оторвалась от тех конфликтов и публичных дебатов, которые питали её в прошлом; обратилась внутрь себя и стала самореферентной. Социологическая теория сегодня производится и потребляется почти исключительно социологическими теоретиками" Истоки этого положения вещей английский ученый усматривает в сциентизме — "абсурдном притязании говорить Истину, находиться в эпистемологически привилегированной позиции" [276, p. 121]. Рецептом спасения социологической теории, обосновываемым с позиции, которую сам автор обозначает как постмодернистскую, является отказ от социологической теории в пользу социальной теории как "социального нарратива, имеющего моральное намерение" [ibid.].

Оставив на совести автора убеждение в том, что существуют какие-то более очевидные и фундированные, чем Истина с большой буквы, *морально* привилегированные позиции для "социальных нарративов", рассмотрим его аргументы, обосновывающие недостаточность и несостоятельность притязаний социологической теории на поиск правдоподобных и истинных (пусть и не в придуманном философами-антисциентистами "абсолютном" смысле) объяснительных моделей, которые и составляют, по справедливому замечанию Р Коллинза, единственный raison d'être существования социологии как науки. Коллинз пишет: "Социология, подобно многим другим интеллектуальным дисциплинам, может иметь дело с эмпирическими описаниями (включая и современные социальные условия, и исторические последовательности); она может обсуждать моральные проблемы, предлагать или отвергать планы практических действий и сравнивать существующие условия с идеалами; обсуждать основополагающие методологические и другие метатеоретические вопросы. Но главный род деятельности, который дает социологии интеллектуальное оправдание, — это *формулировка обобщенных объяснительных принципов, организованных в модели глубинных процессов, порождающих мир*" [38, с. 38].

Как уверяет Сайдман, проблемы социологов-теоретиков напрямую связаны с присущей им нездоровой амбицией "разрешать дисциплинарные диспуты и концептуальные конфлик-

ты исходя из предположения о возможности универсального эпистемического основания как источника объективных и ценностно-нейтральных стандартов разрешения конфликтов" [276, p. 122]. Стремление разрешать научные споры на путях рациональности превращает теоретиков в "виртуальную полицию социологического разума", которая, однако, в явном противоречии с авторской метафорой, вместо того, чтобы вмешиваться во все "политические сражения и важные публичные дебаты о текущих общественных делах" становится "всё более самореферентной": "Социологическая теория уменьшила воздействие на решающие публичные тексты социальных комментариев, критики и анализа. И если я не ошибаюсь, социологическая теория функционирует как немногим более чем легитимирующая риторика для текущих исследовательских программ и эмпирического анализа" [ibid.]. Иными словами, главной претензией становится не столько неэффективность теоретического инструментария для высокоспециализированного применения внутри научной дисциплины, сколько желание "антитеоретиков" самостоятельно помахать теоретической "дубинкой" на далёких от профессиональных диспутов полях политических битв.

Наиболее популярным эпистемологическим обоснованием невозможности универсального теоретического языка (без которого, видимо, не может обойтись и тезис о "конце социологической теории") в постмодернистскую эпоху становится неопрагматизм Р Рорти, на которого ссылается и Сайдман [см.. 276, p. 123–124]. Предложенная Рорти критика неокантианской эпистемологии (служившей универсальным "обоснованием" для предыдущих поколений антисциентистов-"контекстуалистов", сторонников радикальной герменевтики и т. п. [75, p. 98–99]), основанная на отказе от "критериальной рациональности", которая связана с истинностью теоретических утверждений, в пользу предположительно более земного и имманентного критерия "практики" — в чём-то чрезвычайно проницательная, а в чём-то наивная[1], — начинает, парадоксальным образом, служить целям, далёким от авторских (о важности критериального сравнения эмпирической применимости концептуальных словарей и локальном характере моральной привилегии "собственного словаря" действующих [см.: 53]), а

именно обоснованию старого антисциентистского "подозрения, что результаты наук о человеке — понятия, объяснения и теории — носят отпечаток определенных предубеждений и интересов их создателей" [276, p. 123]. Это подозрение возвращает постмодернистского критика к довольно "бородатой" повестке дня марксистской теории идеологии и классической социологии знания. Последние, как известно, основаны на очень точном и объективном знании относительной невозможности точного и объективного знания, продуцируемого познающими субъектами, которые объективно, точно и закономерно детерминированы своей "конкретной социальной позицией, определяемой её или его классом, гендером, расой, сексуальной ориентацией, а также этническим и религиозным статусом" [ibid.].

Мы не станем здесь анализировать очевидную алогичность очерченных идей, с любой точки зрения, превосходящую абсурдность "притязаний говорить истину", поскольку критике социологии знания посвящена весьма обширная литература, да и сам "сильный проект [научной] социологии науки" скорее мертв, чем жив, но отметим, что устойчивость "эпистемологического подозрения" действительно является результатом довольно сложных взаимоотношений между универсальным и децентрированным характером научного мышления, стремящегося к объективному знанию, и человеческой, "партикуляристской" природой носителей этого знания. Двумя крайностями, подстерегающими теоретическое мышление, являются, соответственно, вышеописанный релятивизм "эпистемологического подозрения", с одной стороны, и с другой — объективация актуального "горизонта знания" игнорирующая "субъектную" природу человеческого мышления[2]

На почве подозрений о возможности использования теоретического знания в чьих-то интересах и воистину сциентистской уверенности в том, что оно же может с успехом использоваться в интересах собственных, и возникает соблазн заменить универсалистские понятия "западной" теории локальными, или местными и партикуляристскими нарративами. Как пишет Сайдман: "...нужно отказаться от поиска конечных и универсальных оснований для наших концептуальных стратегий в пользу более локальных и прагматических обоснований" [276,

p. 123]. И поскольку уж "безжалостное эпистемологическое подозрение было повернуто против дисциплинарных дискурсов, скажем, феминистками, и далее те же фигуры речи повторялись афроамериканцами, геями и лесбиянками, латиноамериканцами, азиатами, иначе одаренными и т. д., [так что] ни один социальный дискурс не может избегнуть сомнения относительно того, что его притязания на истину привязаны, хотя и замаскированно, к текущему социальному интересу повлиять на ход истории" [276, p. 124], имеет смысл признать имманентную связь знания и власти просто затем, чтобы уже без оглядки на ненадёжную истину, свет которой не всем к лицу, с удвоенным рвением перейти к новой социальной теории как "прагматическому, социально информированному моральному анализу" [276, p. 134]. "Теоретики должны стать адвокатами... Подобно другим приверженцам [политических доктрин] мы будем защитниками определенного способа жизни, но в отличие от них, мы будем подчинены продуцированию детально разработанных социальных и моральных дискурсов... будем катализаторами публичных моральных и социальных дебатов" [276, p. 135]. Кажется не лишенным смысла предположить, что очерченная перспектива, как ни сомнительна она с точки зрения традиционно понимаемых норм академической науки, действительно выглядит соблазнительной для социологов с выраженным артистическим и общественным темпераментом. Однако природа этого соблазна двойственна и требует пристального рассмотрения, контуры которого мы можем лишь наметить.

На первый взгляд, речь идет о необходимости расширить область приложения и концептуальный аппарат социологической и, шире, социальной теории, создать альтернативный иерархическому, "западоцентрическому" и модернистскому языку социальной теории язык, который был бы пригоден для "децентрированного" описания иных сообществ, групп, систем значений (культурных кодов) и способов жизни. Требования к такому языку теории достаточно элементарны: он должен быть чувствителен к особенному и частному, то есть допускать не только межконтекстные и межкультурные сравнения в целях поиска *общего*, но и включение новых терминов для классификации существенных *различий*. Иными словами, в

адекватном и подлинно универсалистком языке социологической теории должно быть достаточно "степеней свободы", чтобы не описывать местные, "туземные" реалии как зачаточные или примитивные формы социальных институтов и процессов, характерных для обществ современного типа. Это требование легче понять на примерах: так, во многих племенных сообществах знахарство и шаманизм выступают в качестве приблизительного функционального эквивалента западной научной медицины, и всё же они не могут априорно классифицироваться и анализироваться как, скажем, "медицинские практики вудуизма" или "институт первобытной скорой помощи" Однако эта насущная задача "обучения социологии местным языкам", как бы ни была она сложна, является скорее тривиальной, поскольку не предполагает отказа от социологической традиции как таковой и в любом случае решается в рамках этой традиции: все языки, в том числе языки теории, взаимно переводимы[3] Они пригодны и осмыслены в той мере, в которой позволяют формулировать высказывания, для которых можно указать условия истинности, а значит вопрос об истинности множества высказываний, *уже* сформулированных в том или ином языке, всегда оказывается в конечном счете эмпирическим. Характерные для социологической традиции локальные "попытки сформировать свою собственную фундаментальную теорию" на политически выделенных "особых *территориях социального*" должны, по справедливому замечанию А. Ф. Филиппова, оцениваться с точки зрения "признанных стандартов философии и методологии" [58, с. 26].

Историческая логика развития социологической теории и, в целом, социологии как дисциплины, в значительной мере отражает существующее напряжение между универсализмом научного проекта и партикуляризмом исторических, социальных и культурных контекстов систематического производства научного знания (или, в некоторых крайних случаях, незнания). Вопрос об устойчивом или, напротив, исторически преходящем характере этого напряжения сложен и требует специального анализа и обсуждения. В этом смысле интересны результаты предпринятой М. Олброу попытки проанализировать историю социологии как институциализированной научной дисциплины относительно преобладания в ней партикуляристской или

универсалистской ориентаций на разных этапах становления мирового общества. Ему удалось продемонстрировать существование определенной взаимосвязи между логикой глобализации и процессом развития социологии как науки, имеющей исторически изменчивые представления о собственном предмете и задачах. Выделенные Олброу этапы "самоконструирования социологии" отражают закономерную смену территориальных рамок референции: от универсалистской фазы классической социологии, нацеленной на изучение всего человечества с целью открытия общих принципов и законов переустройства жизни всех людей на началах разума (I), через фазу "национальных социологий" (II), отразившую в институциональной истории социологии господствующую тенденцию конца XIX — первой трети XX веков: тенденцию к консолидации ведущих национальных государств, которая породила своеобычный интеллектуальный изоляционизм (взаимное игнорирование друг друга Дюркгеймом и Вебером — лишь наиболее известный исторический пример), к фазе интернационализма (III). Эта фаза последовала за катастрофой второй мировой войны и упадком национальных идеологий (политический национализм — неизбежный спутник и продукт существования национальных государств), когда вместе с другими формами международного сотрудничества и соперничества возникли такие форумы научной коммуникации, как Международная социологическая ассоциация и Международные социологические конгрессы. Хотя развитие социологической традиции в этот период характеризовалось противостоянием либерально-модернизационного и марксистского дискурсов, этот антагонизм больше напоминал тесный симбиоз: противники отвечали на одни и те же вопросы, остро реагировали на конкурирующие теоретические объяснения и стремились распространить свои выводы на всю международную систему государств. С "ответом третьего мира" Олброу связывает фазу "отуземливания" социологии (IV), датируемую 70–80-ми годами XX века. Теоретические поиски "третьего пути" между модернизацией и мировой революцией, характерные для этой фазы, сопровождались также некоторым организационным "замыканием" местных социологических сообществ, в каких-то отношениях напоминавшим фазу "национальных социологий" (Олброу

приводит в качестве частного примера "движение за канадизацию" канадской социологии, которое интересно было бы сопоставить с ситуацией в югославской или венгерской социологии того же периода). Что же касается наступающей фазы глобализации (V), то её базовый принцип не является ни национальным, ни интернациональным. Объединяя в себе некоторые черты предыдущих фаз, она характеризуется "свободой отдельных социологов работать с другими отдельными социологами, находящимися в любой другой точке земного шара, и воспринимать охватывающие весь мир процессы, внутри которых и над которыми они работают" [69, p. 7].

Более пристальный взгляд выявляет еще один смысл атаки на автономный статус социологической теории и, шире, на общее теоретическое наследие социологической традиции, который менее очевиден и, как нередко случается в сфере неочевидного, таит в себе серьезную опасность далеко не абстрактно-познавательного свойства. Антилиберализм, антимодернизм, критика цивилизации, эстетика "героического" и политическая метафизика "нового язычества", зовущие к *вос*созданию иерархического и недемократического "органического" общества на почве принципиально партикуляристской Kultur — это признаки возрождающегося время от времени интереса к новым версиям той специфической смеси социальной теории и политического мифа, которую часто обозначают термином "консервативная революция" [см.: 124]. Уникальные условия для свободного обмена идеями и символами, создаваемые процессом глобализации, нередко приводят к возникновению весьма неожиданных политических констелляций и групп интереса, использующих для своей легитимации вышеочерченные "пугающие теоретические возможности": "Новые констелляции в идеологии и политике кажутся всё более вероятными в момент, когда "железный занавес" пал, а проект "государства благосостояния" становится всё более проблематичным — и материальном, и в политическом плане. Новая волна национализма, вопросы интеграции в Европейский Союз, глобальный порядок и т. п. могут вести к дальнейшему увеличению возможностей того, что радикальный консерватизм обретет новых союзников на сложившемся политическом поле" [124, p. 33]. В этой ситуа-

ции теоретическая рациональность, демократия и моральный универсализм должны рассматриваться не просто как "семейные реликвии" единой социологической традиции, а как проект и цели, которые имеет смысл защищать.

Как пишет М. Джей: "Освященная веками консервативная атака на опасно утопические претензии абстрактной теории, истоки которой могут быть прослежены по меньшей мере вплоть до размышлений Э. Бёрка о Французской революции, аукнулась в конце 70-х — начале 80-х годов XX века бесхитростно похожей критикой с другой стороны политического спектра. Теорию стали отождествлять с игрой господства, запятнанной своими ассоциациями с такими носителями зла, как трансцендентализм, [эпистемологический] фундаментализм, эссенциализм и тщетный поиск метаязыка — все они рассматривались как негарантированные экстраполяции с привилегированной позиции, занятой теми, кто самонадеянно претендовали на то, чтобы говорить за всех. Когда-то воинственные альтюссерианцы были отрезвлены признанием своего лидера, что он впал в уродливое 'отклонение', обозначенное им как 'теоретизм' Приверженцы Франкфуртской школы обнаружили, что их версия Критической Теории оказалась уязвимой для обвинений в мандаринском элитизме и беспомощном утопизме. Защитники господствующих теорий, подобных семиотике, признали тщетность своих поисков" [188, p. 168]. В 90-е годы XX века этот пёстрый интернационал антитеоретиков получил серьёзное подкрепление со стороны американского неопрагматизма, демонстрировавшего отчётливый след нативистской ксенофобии и неприязни ко всему "континентальному" [188, p. 169–171], что не помешало, впрочем, успешной рецепции последним европейского деконструкционизма и постструктурализма, разоблачавших властную и отчужденную природу "теоретического взгляда" и боровшихся с диктатурой логоса и гегемонией письменного текста.

Безусловно, социологическая теория, как и всякая теория вообще, не самодостаточна и не обладает абсолютной автономией ни относительно различных форм человеческой практики и чувственного опыта, на которые она неизбежно опирается, ни относительно дорефлексивных категоризаций обыденного языка, нередко служащих источником теоретичес-

ких метафор и строгих концептуализаций. Она также не может быть абсолютно дистанцирована от вопросов, связанных с политической и моральной оценкой её выводов и практических приложений. Однако, как пишет Джей: "То, что делает теорию необходимой, если и не самодостаточной, это не менее вопиющая неполнота её 'других' То есть в несовершенном мире, который мы населяем, да и на самом деле в любом мире, созданном подверженными заблуждениям человеческими существами, не существует никакой возможности для существования самодостаточной имманентности ни на уровне практики, ни на уровнях опыта, герменевтической интерпретации, нарративной интеллигибельности или эмпирической фактичности. Как и невозможно, если взглянуть в другом направлении, свести теоретические сообщества к простым стратагемам власти, функциональным лишь для приобретения культурного капитала, социальных отличий или институционального контроля. Ибо пытаясь это сделать, мы игнорируем в точности ту самую рефлексивность, способность подвергать сомнению свою собственную институциональную внедренность, которая с необходимостью отделяет эти [теоретические] сообщества от других, существующих в мире" [188, p. 178].

Особенности "теоретического взгляда";
типы и уровни социологического теоретизирования

С расхожей и чрезмерно упрощенной "социологической" точки зрения, социология, подобно другим наукам, представляет собою социальный институт, то есть совокупность глубинных ценностных принципов, норм, ролей и ролевых ожиданий. С такой позиции, само существование роли "теоретика" гарантировано нормами разделения научного труда и сложившейся иерархией престижа (символической ценности) научных ролей. Более того, престиж самой социологии, её место в иерархии других наук исторически связаны с её способностью продемонстрировать наличие "нормальной" институциональной структуры зрелой науки, в частности, наличие запаса фундаментального абстрактного знания и высококвалифицированных специалистов, предположительно производящих такое знание. Уже в силу этого обстоятельства в социологии в широком смысле, как и во всех "национальных" социологиях, су-

ществуют специалисты-теоретики и теоретические научные специализации. Однако этот "социологический аргумент" в пользу существования теоретических исследований, теоретического знания и теоретических способов рассуждения, хотя и тривиально доказывает требуемое ("теория — это то, чем занимаются теоретики"), делает это слишком дорогой ценой. Оказывается, что либо всё, чем "занимаются теоретики" должно считаться теорией, либо мы вновь нуждаемся во "внутреннем", рациональном *критерии* отграничения "собственно теоретических" занятий от "нетеоретических", а "настоящих" теоретиков от "ненастоящих" Слабость "социологического аргумента" становится ещё очевиднее, как только мы обращаемся к истории социологии. Можно легко вспомнить целые исторические эпохи, когда институционально полноценная наука, в том числе и социальная, вместо теоретического знания (то есть совокупности утверждений, истинность которых получила эмпирическое подтверждение в соответствии с некоторыми правилами) производила политико-идеологические доктрины или откровенно псевдонаучные "иллюстрации" спекулятивных или алогичных идей, а увенчанные всеми положенными научными знаками отличия "теоретики" печатали объемистые труды о несуществующих или невозможных вещах — от "воспитания полезных свойств у растений" до "стирания классовых различий в обществе зрелого социализма" [см.: 20].

Отсюда следует, что мы нуждаемся в каком-то содержательном и рационально обоснованном списке критериев, пусть приблизительном и неполном, которые позволяют отличить социологическую научную теорию как "точку зрения" и вид исследовательской деятельности от других социологических практик [см.: 308, p. 2–3].

Прежде всего, теорией можно называть лишь такую совокупность знаний, которая содержит некие *общие законы* или *понятия*, позволяющие каким-то образом объяснить наблюдаемые факты. Ещё одной важной характеристикой теоретического знания является его *абстрактный* характер. Под абстрактностью здесь подразумевается не какая-то особая сложность и возвышенность теоретических утверждений, а их отвлеченность, отделенность от множества не рассматриваемых в данной теории характеристик конкретных феноменов. Конкретное, "вот это"

событие или явление всегда содержит неопределенное множество значимых и уникальных черт, связанных с множеством причинных влияний и локальных условий, что делает его "полное описание" сингулярным, единичным и, в пределе, недостижимым. Научные объяснения, как, впрочем, и хорошие "житейские" теории, приобретают свою объяснительную силу лишь в результате абстрагирования, отвлечения от множества конкретных и, возможно, тоже интересных и значимых деталей. В определенном смысле, мы вообще не объясняем сингулярные факты (хотя, несомненно, сталкиваемся с ними). Объяснению подлежат лишь определенные "аспекты" фактов, их схематизированные и идеализированные (то есть упрощенные) описания в терминах абстрактных свойств или признаков-переменных ("вес", "агрессивность", "социальный статус" и т. п.). Сингулярные события и явления неповторимы, тогда как теоретические рассуждения должны обладать некоторой обобщенностью и универсальностью. Последние два свойства теоретического знания и теоретического способа исследования тесно взаимосвязаны: все явления и события, которые могут быть описаны в терминах некоторого абстрактного свойства или совокупности свойств, могут быть подведены под теорию, описывающую эти свойства и их взаимосвязи, и наоборот — теория, имеющая релевантный "диапазон применения", позволит объяснять и, в ряде случаев, предсказывать любые явления и события, обнаруживающие соответствующие абстрактные черты, разумеется, при соблюдении некоторых граничных условий (ceteri paribus, то есть "при прочих равных"). Однако "взгляд" даже очень сложной теории на область фактов всегда немного близорук: обобщение требует повторяемости, а повторяемыми могут быть лишь отдельные аспекты, абстрактные свойства явлений и событий. *Универсальность* и *общность* — весьма ценные свойства теорий, придающие им собственно способность что-либо объяснять. Универсальные (в заданных способом концептуализации границах) теоретические объяснения должны обладать достаточной степенью общности, то есть распространяться, хотя бы в принципе, на все эмпирические примеры объясняемых явлений. Последнее требование, в свою очередь, создает гарантии *эмпирической проверяемости* (и опровергаемости) теоретических объяснений, о чем ещё будет сказано немного ниже. Оборотная

сторона этого заключается в том, что свойства универсальности, общности и проверяемости теорий ограничивают возможности научного мышления, всегда оставляя за его пределами нечто уникальное, неповторимое и значимое (впрочем, за расшифровку смысла уникального, единичного и субъективно значимого охотно берутся другие исследовательские традиции — от магии до псевдонауки, и если первая из них в принципе обладает "внутренними" критериями для демонстрации исследовательского успеха, то вторая представляет собой идеальный объект исследования для "социологии незнания" [см.: 63; 67]).

Другие, не менее существенные особенности теоретического дискурса в социологии, связаны с критериями *концептуальной ясности* и *тематического единства* теорий. Первый из этих критериев предполагает, что всякий теоретик по меньшей мере стремится к однозначному и непротиворечивому употреблению определений и понятий, к разграничению теоретических конструктов и полезных (или бесполезных) метафор, согласованному использованию терминов, то есть к тому, что сторонники аналитической философии называют "концептуальным прояснением" Под тематическим единством теорий понимают логическую последовательность и тематическую связность совокупности теоретических высказываний, наличие общей "проблемы" развернутого теоретического рассуждения [308, p. 3]. В конечном счете, изолированные высказывания не только не могут быть прямо проверены в эмпирическом исследовании, но и вообще редко поддаются однозначной интерпретации. И интерпретация, и проверка утверждений теории возможны лишь в рамках относительно целостного и законченного, тематизированного дискурса или, в других терминах, относительно более обширного фрагмента "сети" взаимосвязанных теоретических понятий и правдоподобных вспомогательных гипотез [24, с. 138–144]. Конечно, на практике это стремление к концептуальной стандартизации и теоретической кодификации бывает нелегко реализовать, во всяком случае, в рамках единичного исследования. К тому же оно нередко входит в противоречие с желанием некоторых социальных теоретиков добиться признания интеллектуальной оригинальности своих работ за счет использования неоправданных неологизмов, запутанных и противоречивых дефиниций, неявных ме-

тафор или "контрабандных" концептуальных заимствований[4], однако даже постмодернистские теоретики — явные противники традиционного "позитивистского" стиля теоретизирования — неизменно предпочитают представлять собственные терминологические новации как концептуальные уточнения или критические пересмотры прежних теорий, что свидетельствует о важности концептуальной ясности и тематического единства если не как безусловно действующих повседневных норм, то как общепризнанных идеалов теоретической деятельности в социологии. Ещё одной особенностью теоретического рассуждения является его *логическая согласованность*: законы логики играют роль базовых принципов методологии научного исследования, требуя согласованности и непротиворечивости отдельных утверждений теории. Диктат логики в теоретическом мышлении тесно связан с процедурами эмпирической проверки научного знания. В хорошо разработанных концептуальных системах проверяемые утверждения дедуктивно выводятся из общих теоретических посылок, так что ложность проверяемой гипотезы-вывода (эмпирическое "противоречие") позволяет судить о ложности более общего теоретического утверждения либо правдоподобной "вспомогательной" гипотезы, описывающей условия применимости этого утверждения (при этом, однако, истинность вывода, вообще говоря, не свидетельствует с необходимостью об истинности посылок, что исключает возможность создания абсолютно истинных теоретических систем).

В социологических теориях традиционно большое внимание уделяется *адекватности* теоретических объяснений, их согласованности с тем, что "знают о социальном мире и его участники, и социологи, и другие ученые, изучающие общество; как минимум, должны существовать "правила перевода", соединяющие теорию с другими совокупностями знаний" [308, p. 3]. Вопрос о соотношении "обыденных" и научных теорий общества и человеческого поведения заслуженно считается одним из самых запутанных в философии и методологии социальных наук. Анализируя трудности, с которыми сталкиваются интерпретативные теории действия и теории инструментальной рациональности (*см. раздел III наст. изд.*), мы сможем убедиться в проблематичности традиционных для социальных наук представлений

о "привилегированном доступе" людей к мотивам и основаниям собственных поступков, а также о существовании "полных описаний" действия. Однако, отказываясь от наиболее спорного наследия герменевтической традиции, важно сохранить принцип содержательной адекватности теоретических объяснений: даже самые сложные теории должны быть хотя бы в принципе согласуемы с нашими собственными житейскими интуициями и опытом других людей[5] Конечно, социологические теории, обладающие хоть сколько-нибудь существенными объяснительными возможностями, при этом должны сохранять свою относительную независимость и не сводиться к потенциально бесконечному множеству "рассказов о жизни" или даже о множестве жизней (*см. выше*).

Конечно, теоретические работы, в той или иной мере обладающие описанными особенностями, могут демонстрировать почти неограниченное многообразие стилей и целей теоретизирования, уровней формализации и абстракции, типов взаимоотношений между теоретизированием и эмпирическим исследованием. Существует немало исследований, в которых предпринимаются попытки классифицировать многообразие социологических теорий [см.: 56; 91; 292], но наиболее влиятельным по сей день остаются три небольшие работы Р Мертона, посвященные типам и уровням социологического теоретизирования, а также взаимовлиянию и взаимозависимости теории и эмпирического исследования в социологии. (Имеются в виду статьи: "О социологических теориях среднего уровня", "Об отношении теории к эмпирическому исследованию" и "Об отношении эмпирического исследования к теории" [218; см. также 28]. Мертон выделяет несколько типов теоретической деятельности в социологии, в частности:

- анализ понятий;
  методологическое исследование как анализ логики научной процедуры;
  интерпретацию эмпирических результатов post factum;
  эмпирическую генерализацию;
  общую теоретическую ориентацию (доктрину или теоретическую "парадигму");
  содержательную теорию ограниченного, "среднего" диапазона применения.

Общая теоретическая ориентация и содержательная теория выступают для Мертона двумя "предельными" и ключевыми уровнями теоретической деятельности, которые, однако, отнюдь не являются взаимоисключающими.

Общая теоретическая ориентация соответствует тому, что иногда также называют *формальной* или *общей* теорией. Она включает в себя деятельность по прояснению и уточнению языка социологических теорий, очерчиванию "концептуальных полей" фундаментальных социологических понятий (таких, как "социальное действие", "система", "капитализм" или "норма"), выявлению связей и соответствий между узлами концептуальной "сетки" теоретической концептуализации и кодификации социологического знания. Абсолютное большинство работ, о которых будет говориться далее в этой книге, представляют собой образцы таких формальных теорий: они анализируют, эксплицируют и проясняют наиболее фундаментальные теоретические конструкции, лежащие в основании современного социологического дискурса. Другими важными *функциями* общей теоретической ориентации, как показал Мертон, являются отбор релевантных исследовательских методов и отбор рамок для концептуализации и сравнения результатов эмпирических исследований. Наконец, единство теоретической интерпретации обеспечивает возможность накопления, консолидации и кодификации социологического знания [218, p. 151–153].

Однако не менее важным является и *содержательное теоретизирование* в социологии. Содержательные социологические теории связаны не столько с фундаментальными концептуализациями, сколько с тем, что традиционно именуется предметными областями или направлениями социологического исследования (Мертон приводит в качестве примеров теории референтных групп, ролевого конфликта, фрустрации-агрессии, формирования групповых норм, восходящей социальной мобильности). Основной *функцией* содержательных теорий, с точки зрения Мертона, является обобщение "узких" эмпирических закономерностей и интеграция эмпирических доказательств в теоретическое мышление. Такие "концептуально-ограниченные" и эмпирически обоснованные содержательные теории позволяют консолидировать, объединить отдельные рабочие гипотезы или созданные post factum объяснительные конструкции в бо-

лее крупные и "концептуально-однородные" теоретические системы. В точной формулировке П. Штомпки, оба процесса — "консолидация идей, ведущая к теории среднего уровня, и консолидация нескольких таких теорий, равнозначны постепенной и тщательной разработке понятий, покрывающих всё больше аспектов, свойств, характеристик и смысловых измерений некоторой области. Именно этот путь прошел Мертон от понятия преступности к понятию социальной девиации; от понятия социализации к понятию социального контроля; от житейской идеи 'быть не хуже Джоунзов' к дифференцированной концепции поведения, ориентированного на референтную группу; от привычной картины семейных споров к дифференцированному общему понятию ролевого конфликта и т. п." [295, p. 110–111].

Из вышесказанного очевидно, что формальное и содержательное теоретизирование в социологии могут быть разделены лишь ситуативно или аналитически: концептуализация эмпирических данных, накопление содержательного теоретического знания в отдельных исследовательских областях — это необходимое условие теоретической кодификации и построения (или пересмотра) формальных предпосылок, общих теоретических ориентаций, языка и методологии социологического исследования[6]

Стратегии социологического теоретизирования

Помимо разнообразия типов и уровней теоретизирования, характерного для большинства наук, социология отличается весьма необычным и несколько шокирующим "аутсайдеров" многообразием стилей или стратегий теоретизирования. В самом деле, не только новичку бывает трудно избавиться от ощущения отсутствия стилистической, риторической и даже семантической нормы в науке, где на равных "правах первоисточника" обсуждаются тексты К. Маркса, Г Зиммеля, Т. Парсонса и Ж. Деррида, но и признанные специалисты в области социологической теории время от времени отказываются признать собственно теоретический статус, скажем, работ И. Гофмана, ставших источником ряда ключевых социологических понятий, но написанных совершенно неканоническим способом. Эта проблема в значительной мере связана с длительным присутствием в социологии нескольких трудно совместимых

теоретических ориентаций (парадигм или моделей объяснения), о чем ещё будет говориться ниже; она также неоднократно обсуждалась в терминах различных теоретических "ролей" Широкую известность приобрела классификация Р Фридрихса, в которой выделены пародирующие библейскую историографию роли социолога-пророка, возвещающего и инициирующего социальные изменения, и социолога-священника как "свободного-от-оценок" служителя профессионального культа [см.: 148]. Менее остроумным, но, возможно, более продуктивным с точки зрения инклюзивного описания "целого" текущей социологической теории представляется предложенный М. Уотерсом список стратегий социологического теоретизирования, или, в более простой формулировке, способов заниматься социологической теорией [308, p. 4–5]. Мы приводим этот список в несколько сокращенном и измененном виде:

а) *Синтез, критика или концептуальная ревизия ранее написанного.* Эта стратегия типична для классического и "модернистского" периода развития социологической теории — большинство отцов-основателей и классиков социологии явно или неявно и более или менее критически реагировали на работы предшественников и в этом смысле рассматривали их в качестве главного объекта приложения теоретических усилий и источника "социологических проблем" В социологической теории второй половины XX века также легко найти образцы такого критического и/или синтезирующего стиля (некоторые неомарксистские теоретики, такие сторонники "теоретического синтеза" различных парадигм, как Э. Гидденс и П. Бурдье и др.). В целом эта стратегия скорее характерна для формального теоретизирования в вышеобозначенном смысле, однако легко найти образцы и содержательных теорий (психоанализ Ж. Лакана, теория власти М. Фуко, теория идеологии С. Жижека и т. д.).

б) *Теоретическая разработка практической социальной или политической проблематики.* Эта стратегия, далеко не всеми профессиональными социологами принимаемая, также имеет глубокие корни в социологической традиции, восходя по меньшей мере к Марксову одиннадцатому тезису о Фейербахе. Довольно многие теоретики рубежа XX–XXI веков, от сторонников критической теории до исследователей феминистской

проблематики, наследников марксистской теории практики, теории идеологии и различных версий "социологии знания", полагают, что связь социологического теоретизирования с политической или социальной "злобой дня" и практическим интересом отнюдь не является постыдной профессиональной тайной социологов, своего рода "скелетом в шкафу" Необходимую связь социологической проблематики с этической отстаивают и теоретики, убежденные в том, что знания человека об обществе имеют неуниверсальный характер, а критерии оценки истинности и ценности социальных теорий укоренены в определенных интеллектуальных и социально-политических "традициях" (в качестве примера такой точки зрения можно упомянуть выдающегося неотомистского, и отчасти марксистского, социального теоретика А. Макинтайра).

в) *Концептуализация результатов эмпирических исследований и их интеграция в общепризнанное теоретическое знание.* В текущих публикациях по социологической теории эта жизненно важная для социологии как научной дисциплины стратегия теоретизирования, как пишет М. Уотерс, "...всё ещё слишком редка; двумя более или менее изолированными примерами могут служить использование результатов исследований малых групп для создания схемы 'функциональных императивов' (Парсонс и Бейлз) и предложенное Дж. Голдторпом обоснование существования семи социальных классов, основанное на исследованиях социальной мобильности" [308, p. 4–5]. В действительности, однако, дело обстоит несколько иначе: множество ключевых и просто важных понятий современной социологической теории являются результатом использования именно этой стратегии, примерами чему могут служить понятия "социальной сети", "социальной дистанции" "рассогласования статусов", "капиталистической мир-системы" и т. д. Однако работы виртуозов строительства "концептуальных моделей" и моделей измерения теоретических переменных, таких, например, как Р Мертон, П. Лазарсфельд, Х. Блейлок и др., по мере всё большей технической специализации и математической формализации в этой области породили целую субдисциплину, именуемую то "социологической методологией", то "формальным теоретическим моделированием в социологии" (подробнее об истории становления этой субдисциплины см.: [24]), изучение которой требует

значительно большего знакомства с логикой и математикой, чем то, которое в настоящий момент признается целесообразным на многих социологических факультетах. В результате, "социологическая методология" превратилась к настоящему времени в довольно эзотерическую и даже "эндемическую" (преимущественно американскую) исследовательскую область, вызывающую у непосвященных страх или агрессию. Это затруднение в принципе преодолимо и, надо надеяться, будет со временем устранено (в противном случае социологии как автономной дисциплине грозит окончательное растворение в культурологических и общегуманитарных штудиях). Убедительным доказательством возможности реинтеграции "социологической методологии" в основной поток социологического теоретизирования является растущая популярность формальных моделей инструментальной рациональности в теориях социального действия (*см. с. 238-260 наст. изд.*).

г) Весьма близка к концептуализации и выделяемая М. Уотерсом в качестве особой стратегии *"охота за базовыми формализациями"* — стратегия редукции временного и пространственного многообразия форм социальной жизни к ограниченному числу базовых принципов или аксиом. В качестве ранних представителей этой стратегии социологического теоретизирования он упоминает М. Вебера и Г Зиммеля, в качестве современных — Дж. К. Хоманса и Дж. Элстера. Представляется, что с учётом природы используемых эмпирических доказательств, отношения к предшествующей теоретической традиции и направленности познавательного интереса правильнее было бы непосредственно увязать этот способ теоретизирования с ещё одним, упоминаемым Уотерсом в качестве автономного, — "осмыслением великих исторических событий" Так, например, историческим изменением, породившим саму социологию как специализированную научную традицию, было возникновение капиталистического индустриального общества. В новейшей социологической теории такие попытки "постижения истории" иногда выделяют в ещё одну теоретическую субдисциплину — "историческую социологию", требующую довольно основательного знания круга исторических дисциплин. Как было показано выше, выделение закономерностей в исторических событиях требует повторяемости, что.

в свою очередь, предполагает очень высокий уровень абстракции [см.: 61] при довольно ограниченных возможностях независимого эмпирического подтверждения. Здесь всегда существует опасность подмены собственно социологического "теоретического взгляда" околоисторической публицистикой, реализующей к тому же некую идеологическую или политическую "миссию", поэтому по количеству маргинальных, псевдонаучных и даже откровенно безумных работ эта стратегия теоретизирования может соперничать лишь с вышеописанной стратегией "теоретической разработки практической, социальной или политической проблематики"[7] Последнее обстоятельство не отменяет, однако, того факта, что в этой манере были написаны не только труды великих утопистов прошлого, но и многие собственно классические социологические работы. Этот же способ теоретизирования успешно используют многие современные теоретики (прежде всего разрабатывающие теорию эволюции социетальных систем).

ГЛАВА 2

ИССЛЕДУЯ ОСНОВАНИЯ СОЦИОЛОГИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ: ПЕРСПЕКТИВЫ КОНЦЕПТУАЛЬНОЙ СТАНДАРТИЗАЦИИ И ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ КОДИФИКАЦИИ СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО ЗНАНИЯ

Коммуникативный impasse и возникновение социологического метатеоретизирования

Для работ, посвященных проблемам социальной теории, конца XX века характерно возрождение интереса к исследованию оснований социологической теории, то есть к тому, что мы обозначили выше, пользуясь мертоновским термином, как общую теоретическую ориентацию (формальную теорию). Значительная часть теоретических работ посвящена, как и данная книга, проблематике мета-анализа и теоретического синтеза, то есть задачам аналитического упорядочения, концептуальной стандартизации и возможно даже содержательного соединения различных типов и уровней социологического теоретизирования. Яркими проявлениями указанного интереса стали характерные для 80–90-х годов XX века дискуссии о конфликте и взаимосвязи между микро- и макроуровнями социологического теоретизирования [см.: 76; 119; 129; 196], а также о взаимоотношении действия и структуры [см.: 79; 80; 153; 154 и др.].

Причины резко возросшего интереса исследователей к анализу оснований социологической теории в большой степени связаны с тем, что более ранние попытки накопления обоснованного знания путем исключительно эмпирической проверки множества "разноязыких" формальных и содержательных теорий вели не к созданию системы согласованных теоретических утверждений, а ко всё большему разрыву языков теоретизирования, свойственных ведущим социологическим парадигмам, к ситуации коммуникативного impasse, тупика в социальной теории, когда невозможно прямо сопоставить теоретические объясне-

ния и даже описания, предлагаемые сторонниками разных социологических "школ", и указать на какие-то универсальные критерии оценки теоретической рациональности их утверждений (подчас относящихся к одним и тем же социальным явлениями или к процессам одного уровня). Иными словами, результатом интенсивных усилий предыдущих поколений исследователей по созданию и эмпирическому обоснованию всё новых теорий и понятий стало, по выражению Дж. Александера и П. Коломи, неконтролируемое "...изобилие парадигм, моделей, понятий и эмпирических исследований, относящихся практически к любому аспекту социального мира, который только можно вообразить" [77, p. 28.], которое породило поначалу ощущение теоретического кризиса и парадигматического раскола (70-е годы XX века) [см.: 128; 148; 164], а десятилетием позже привело социологов следующего поколения к пессимистическим оценкам полезности теорий как таковых и/или возможностей их рационального оценивания и сравнения: "Скептицизм вытеснил веру, и слова типа "болезнь", "пессимизм", "дезинтеграция" или "утрата иллюзий" всё больше окрашивают дискурс о современной социологии" [77, p. 28]. Так в фокусе интересов ведущих теоретиков оказались проблемы социологической теории как таковой, проблемы общей теоретической ориентации. Иными словами, в социологии 80–90-х годов XX века сформировалось новое и достаточно влиятельное исследовательское направление, основными задачами которого стали: изучение структуры и оснований социологической теории — метатеоретизирование, в терминах Дж. Ритцера; анализ моделей объяснения и нормативных стандартов ("теоретической логики", в терминах Дж. Александера), характерных для ведущих социологических парадигм — структуралистской, функциональной, интерпретативной, натуралистской [см.: 23]; построение типологии уровней теоретического объяснения, а также попытки теоретической кодификации и концептуальной стандартизации социологического знания [см.: 70; 145; 180; 200; 255; 293; 307; 308].

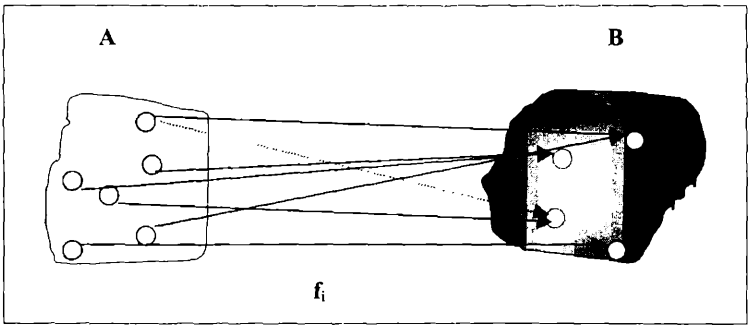
Каковы перспективы развития фундаментальной социологической теории в указанном направлении? Не стоит ли занять позицию "теоретического плюрализма" и просто следовать прихотям интеллектуальной моды, конъюнктурным соображениям или "принципу арациональности" в выборе терминоло-

гии и круга цитируемых авторов? Вопрос о возможности синтеза конкурирующих теоретических течений и примирения аналитических оппозиций в описании социального мира и социального действия довольно сложен и будет нами рассматриваться ниже и в этом разделе, и в других разделах книги. Существует, однако, и более простой и доходчивый аргумент в пользу занятий фундаментальной теорией, связанный с вышеупомянутыми задачами теоретической кодификации и концептуальной стандартизации социологического знания. Ценность теоретического знания, как говорилось выше, в немалой степени зависит от ясности и упорядоченности специального языка теории. Элементы такого языка — теоретические понятия — должны образовывать концептуальную "сетку", каждый узел которой соответствует непустому множеству эмпирических "данных" или некоторых высказываний, описывающих действительное положение дел в определенное время и в определенном месте. Отношения между понятиями-узлами концептуальной сетки, а также между понятиями и "данными" далеки от однозначной упорядоченности и являются самостоятельным предметом для анализа логики научной процедуры. Существует, однако, и простое, интуитивно ясное требование к отношениям между теоретическими понятиями и эмпирическими данными, которое заключается в том, что множество теоретических понятий должно быть некоторым отображением релевантного множества данных. Понятие "отображения" — это обобщение идеи алгебраической функции, такое отношение между двумя множествами, когда каждому элементу множества-отображения соответствует хотя бы один элемент множества-"прообраза", однако каждому элементу из множества-"прообраза" должен соответствовать только один элемент множества-отображения. Последнее требование может быть легко понято и по аналогии с единственным значением конкретной функции для заданного значения аргумента, и просто содержательно: отображение, в котором нельзя определить однозначно, какой из двух и более элементов должен быть выбран в качестве представителя отображаемого элемента-"прообраза", попросту не задано, то есть не может отображать, репрезентировать или кодировать в другом языке исходное множество наблюдений. Применительно к множеству

теоретических понятий можно сформулировать точно такое же требование определенности: одно и то же место в теоретической "сетке" не могут занимать два, три или более теоретических понятия, находящихся в одном и том же отношении отображения к некоторой подсовокупности наблюдений и в сходных отношениях с "соседними" теоретическими понятиями (излишне говорить, что на любой данной совокупности наблюдений могут быть определены разные отображения так же как на одном и том же числовом множестве можно задать неопределенно много функций). К сожалению, на сегодняшний день язык социологической теории зачастую не отвечает даже такому требованию определенности: одни и те же факты, рассматриваемые в одном и том же концептуальном аспекте, описываются разными терминами, концептуальная связь между которыми оставляется непроясненной, так что получаемые теоретические высказывания оказываются несопоставимыми и непроверяемыми "одно против другого" В наиболее простом случае мы имеем дело с постоянным "переименованием" понятий, не сопровождаемым концептуальной проработкой, то есть уточнением содержания понятия и его концептуального поля (отношений с другими фрагментами теоретической "сетки"), иными словами, просто с изобретением новых терминов для хорошо известных идей.

Рисунок 1

Пример отображения f_i множества данных A на множество значений теоретического понятия B*



* *Примечание*: Сплошные стрелки — правильное отображение, пунктирная стрелка — неправильное.

Такие терминологические новации далеко не безобидны: помимо невозможности прямо сопоставить и эмпирически проверить высказывания теории, недобросовестное терминологическое новаторство ведет к прекращению накопления и роста теоретического знания, к невозможности консолидации его в связное и структурированное целое, то есть к невозможности его кодификации. Поэтому значительная часть теоретических работ в области формальной социологии посвящена, в сущности, стандартизации языка социологической теории, прояснению концептуальных полей отдельных понятий (например, славящихся своей запутанностью и неоднозначностью понятий "сообщества" "девиации" и т. д.), а также уточнению взаимосвязей между близкими или эквивалентными понятиями (отметим, что содержательная социологическая теория чаще фокусируется на эмпирической проверке отношений между неэквивалентными понятиями).

В книге Дж. Скотта можно найти несколько убедительных и довольно простых примеров, иллюстрирующих потенциальные выгоды концептуальной стандартизации и кодификации социологического знания [см.: 274]. В частности, анализируя взаимоотношения жизненного мира и системы в теории коммуникативного действия, разработанной Ю. Хабермасом к началу 80-х годов прошлого столетия, Скотт показывает, что понятие "жизненного мира" (Lebenswelt), заимствуемое Хабермасом из феноменологической традиции, трактуется им в качестве интегрирующего неявного фона коммуникативного взаимодействия, обеспечивающего возможность интеграции и "поддержания образца" При этом интерпретативные схемы и нормативные принципы легитимации, составляющие ядро жизненного мира, создают "институциональные рамки" (термин из более ранних работ Хабермаса), обеспечивающие упорядоченное протекание коммуникации и совместной трудовой деятельности. Таким образом, в контексте теории коммуникативного действия "жизненный мир" оказывается довольно точным морфологическим и функциональным эквивалентом "социетального сообщества" позднего Т. Парсонса, что позволяет провести ряд прямых сопоставлений между теориями социетальной эволюции, разработанными Хабермасом и Парсонсом [274, p. 237–252]. Интересно, что такое концептуальное про-

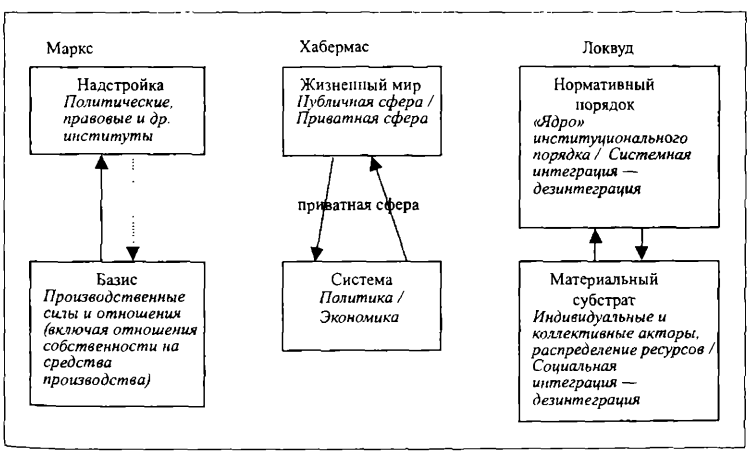
яснение иногда позволяет выявить не только теоретические "синонимы", но и "омонимы" Так, в той же работе Скотт проницательно замечает, что заимствуемое у Парсонса понятие "консенсуса" Хабермас использует в существенно ином смысле, подразумевая под ним не столько монолитную нормативную согласованность, сколько взаимную толерантность и согласие участников коммуникации, не ограничиваемое "внешними" по отношению к рациональным аргументам факторами [274, p. 253]. Для описания экономических и политических структур целенаправленного действия Хабермас предпочитает использовать термин "система" Таким образом он "разводит" социальные, с одной стороны, и экономические и политические сферы действия, пытаясь подчеркнуть вторичность нормативного и, шире, институционального контекста действия для волюнтаристского инструментального действия в сферах производительного труда или политического господства. Идеальной моделью последнего является эгоистическая максимизация индивидуального интереса, якобы игнорирующая коммуналистские и альтруистские нормы "жизненного мира" (социетального сообщества)[8] В результате, дилеммы нормативного/волюнтаристского и субъективного/объективного в детерминации действия, о которых ещё будет говориться далее, дополняются жёстким противопоставлением "жизненный мир — система" образующим концептуальную рамку предлагаемой Хабермасом модели общества. Эта модель использует противопоставление "жизненный мир — система" в качестве концептуального эквивалента противопоставления "базис — надстройка", играющего ключевую роль в Марксовой модели общества. Однако Хабермас, следующий "критической традиции" неомарксизма, полагает, что именно жизненный мир формирует систему как область преимущественно инструментального, целенаправленного действия, которая лишь постепенно автономизируется и внутренне дифференцируется. В свою очередь, система "колонизует" жизненный мир, подменяя "чистый" экспрессивный компонент коммуникативного действия манипулятивно-стратегическим, целевым компонентом, что ведет к распаду сначала публичной, а затем и приватной сфер.

Отношения моделей общества у Маркса и Хабермаса представлено *на рис. 2.* На нём эти две базовые модели сопоставля-

ются с ещё одной метатеоретической моделью, предложенной Д. Локвудом, которая позволяет прояснить их взаимоотношения. Локвуд отметил [205; цит. по: 274, p. 119], что всякий стремящийся к полноте социологический анализ социального мира и социального действия имеет два несводимых друг к другу аспекта — "нормативный" и "материальный" Нормативный аспект предполагает моральные стандарты для оценивания статусного и ролевого соответствия в социальной системе, то есть ядро институционального порядка, или "нормативный порядок" в терминах Парсонса. Именно (и исключительно) этот нормативный порядок, по мнению Локвуда, и является сферой социального контроля и социализации. Материальный уровень, обозначаемый Локвудом как "основа" (substratum), представляет собой "фактическое располагание средствами", структуру "дифференцированного доступа к ограниченным ресурсам", детерминирующую жизненные шансы и объективные интересы акторов. Локвуд считает, что "Социальная сис-

Рисунок 2

Пример концептуальной стандартизации базовых моделей общества по Марксу, Хабермасу и Локвуду*



Источник: Scott J. Sociological Theory: Contemporary Debates. Aldershot-Vermont: Edward Elgar, 1995. P 244. Воспроизводится с небольшими изменениями.

тема" Парсонса (1951) так же как и, по-нашему мнению, "Теория коммуникативного действия" Хабермаса (1982), чрезмерно концентрируется на нормативном аспекте анализа в ущерб материальному. Марксова модель скорее сфокусирована на материальном уровне надстройки, хотя вопрос о взаимоотношении базиса и надстройки остается главным предметом дискуссии в марксизме и наследовавших ему социальных теориях (это обстоятельство отражено *на рис. 2* пунктирной стрелкой). Заметим здесь же, что с этим различением Локвуда связано и другое чрезвычайно важное для сегодняшней социальной теории различение: "социальной интеграции" на уровне материального субстрата, интеграции индивидов и групп; и "системной интеграции" ролей, статусов, норм и нормативных ожиданий, составляющих базовые социальные институты — ядро нормативного порядка [см.: 205].

Модели объяснения и классификация основных парадигм современной социологической теории

Причины возникновения "коммуникативного тупика" в социологической теории, как уже говорилось, не сводятся к концептуальной путанице и различиям в стиле социологического теоретизирования. В социологии существуют принципиально различные и, возможно, несовместимые модели социологического объяснения, или, как часто говорят, "социологические парадигмы"

Различия между моделями социологического объяснения прежде всего касаются нормативных, логических, методологических и содержательно-теоретических стандартов, с помощью которых ученые оценивают, что в рамках данной теоретической перспективы (исследовательской программы) считается плохим либо хорошим объяснением, описанием, доказательством.

Модели объяснения, таким образом, представляют собой стандарты для оценки адекватности объяснений в пределах конкретной теоретической перспективы или, шире, исследовательской программы. Каждый тип объяснения предъявляет свои требования к эмпирическим данным, определяя реальную логику исследования (то есть методологические нормы, стандарты оценки, способы концептуализации и используемые методы) [см.: 23, с. 18–20].

В философии и методологии социальных наук также предпринимались неоднократные попытки выделить некие общие "парадигмы", каждая из которых объединяет несколько моделей объяснения (Р Фридрихс, Дж. Ритцер, П. Рот и др.). Например, известная классификация Ритцера включает четыре признака, позволяющие анализировать ведущие социологические парадигмы:

- образцовое исследование;
  носящее мировоззренческий характер представление о предмете социологии ("онтология");
  методы исследования;
  модель теоретического объяснения, или теоретическая перспектива.

Ритцер выделяет три социологические парадигмы: *парадигму социальных фактов; парадигму социальных дефиниций* (называемую также конструкционистской, или интерпретативной); и *бихевиористскую парадигму* [см.. 23].

Мы будем, однако, придерживаться представления о том, что классификация основных исследовательских перспектив должна быть основана на различиях *базовых предположений* в разных моделях социологического объяснения — представления, наиболее полно разработанного Дж. Александером [70], хотя и несколько усложним его классификацию базовых предположений. С точки зрения Александера, несоизмеримые социологические теории и соперничающие парадигмы различаются теоретической логикой, способом идентификации социального действия — главного предмета социологического анализа, при этом зачастую они исходят из одностороннего взгляда на природу и основной источник социального действия, а также на его детерминацию.

В частности, многие социологические теории и целые теоретические перспективы, прежде всего восходящие к рациональному индивидуализму Т. Гоббса [см.: 274, p. 1–2], локализуют первоисточник действия, в том числе и коллективного, исключительно на уровне отдельного индивида, то есть занимают позицию "методологического" индивидуализма. Индивидуалистская позиция в социальной теории Нового времени, лишь в XIX веке пришедшей к общим контурам современного дисциплинарного размежевания на социологию, политическую

экономию, право, этику и т. д., в значительной мере связывала себя с идеей "естественных прав" индивидов как далее неделимых источников преднамеренного, интенционального и преимущественно рационального действия, реализующего индивидуальные, преимущественно (но не обязательно) материальные "интересы" Другим важным аспектом этой позиции являлось и является понимание индивида как конечного субъекта моральной, правовой и гражданской ответственности за свои действия. Наконец, индивид рассматривается в ней как носитель высшего авторитета в интерпретации собственных поступков и собственной жизни в целом, то есть, в терминах литературоведения, как *автор*, обладающий привилегированным эпистемологическим доступом к замыслу, субъективной цели и обоснованию действия. Такое понимание действия делает вопрос о природе социальности как таковой, социального мира вторичным относительно вопросов, касающихся действий индивидуальных субъектов.

Трактовка индивида как последнего, далее неделимого носителя мотивов, интересов и обоснованных убеждений об уместных способах действия ("individuum" — латинский синоним греческого "ατομος"), то есть тех оснований действия, которые предположительно и отличают последнее от событий физического мира, детерминированных физическими причинами, вела к целому ряду логических и содержательных трудностей, истинный масштаб которых стал очевиден только во второй половине XX века (хотя первые попытки преодоления этих трудностей в социологии восходят к веберовской теории действия). (Детальный анализ природы этих трудностей *см. с. 274–288 наст. изд.*) Однако уже в работах Ш. Монтескье и Ж. Ж. Руссо можно найти достаточно ясные представления о том, что возможно индивиды, вместе со своими правами и интересами, сами являются порождением общества как целого, социального мира, иными словами, индивиды не обладают никакой естественной и аутентичной "внутренней сущностью" как источником побуждения к действию, воления. С этой точки зрения, само понимание намерений, целей и способов действия зависит от осознания и понимания общества как самостоятельного объекта исследования и одновременно — первоисточника индивидуальных идей и действий. В этом случае, вопреки индивидуалистской пози-

ции, социальное целое становится принципом объяснения, а индивидуальные социальные действия — его предметом. С точки зрения эпистемологической, такая позиция может быть обозначена как "методологический" холизм. Онтологическим эквивалентом фундаментального различения "методологический" *индивидуализм — холизм* является разграничение *социальное действие — социальный мир* как "обобщенная проблема", фокус социологического теоретизирования ("социальное действие — социальный порядок" у Александера [см.: 70, Ch. 3]).

Имеется ещё одно важное разграничение *субъективизм — объективизм,* трактуемое, однако несколько по-разному разными авторами. Причиной расхождений в трактовке объективистского и субъективистского "базовых предположений" общей социологической теории является частое смешение, неразделенность двух аналитических независимых различений, подразумеваемых под ними. Помимо относительно простого различения ***(а)*** *"объективного как материального* и *субъективного как идеального"* в общепринятом философском смысле (которым пользуется, в частности, Ритцер, классифицируя свои парадигмы по "базовым предположениям" [256, p. 402–404], и которым будем пользоваться и мы) в работах по общей социологической теории иногда вводится иное противопоставление. А именно различение ***(б)*** *"объективного как внешнего, социального и морального ограничения* индивидуального воления и действия (в смысле дюркгеймовских "ограничений", но, заметим, не обязательно материального, хотя всегда связанного с существованием других людей) и *субъективного как волюнтаристского действия"* (в привычном для этики смысле, изначально произвольного, свободного от внешних ограничений, связанных с существованием других, то есть детерминированного субъектом действия "из себя").

Вопрос о внешних условиях и реальных последствиях действия в этих двух случаях вторичен, так как "идея" действия при этом может быть понята только из воления как такового. Очень важно заметить, что в последнем случае субъектом действия может быть и некий холистский "сверхиндивид", обладающий, соответственно, "надындивидуальной волей" Если парадигматическим примером холистского *(б)*-объективизма (воспользуемся пока этим обозначением) может быть, как уже

говорилось, концепция Дюркгейма, то *(б)*-субъективистскому предположению соответствует вся постшопенгауэровская/постницшеанская традиция социальной мысли, в которой воля рассматривается не как импульс к применению рациональных принципов в практическом действии, а как арациональное и доинтеллектуальное "хотение" использующее Разум и его принципы в своих целях. В классической социологической теории у Ф. Тённиса концепция естественной инстинктивной воли определяет Gemeinschaft в противоположность рассудочной и рационалистской воле членов Gesellschaft, напоминающей скорее не о чистом волении, а о расчёте[9] В современной социологической теории (в вышеобозначенном узком смысле) примером может служить теория рационального выбора, сочетающая индивидуализм, материализм и *(б)*-субъективизм (заметим, что последние социологические версии холистского *(б)*-субъективизма исчерпываются, видимо, консервативной традицией в политической социологии).

Предварительно ясно, что если *(а)*-разграничение говорит о преобладании идеального или материального компонента в исходной мотивации и/или в детерминации средств действия, то *(б)*-разграничение говорит скорее об исходном присутствии в детерминации действия некоторого нормативного измерения, определяющего ориентацию действующего относительно других людей (как актуально присутствующих или потенциально затрагиваемых этим действием). В сущности, речь идет о неэлиминируемом нравственном измерении всякого действия, определяемого через его цели. Актор может принимать в расчет конкретных других людей или общие нормативные принципы, регулирующие отношения с другими, в качестве средств или условий реализации собственных интенций — вести себя "технически" или "стратегически" рационально в терминологии Хабермаса, а в более устоявшихся терминах — просто "эгоистически"[10], либо же он может определять сами цели и, опосредованно, средства относительно нормативных принципов, исходно подразумевающих существование других акторов (скажем, принципов справедливости или юмовской "симпатии к человечеству"). Оценивание средств применительно к конечным целям (благам или "предельным ценностям") — это, конечно, неотъемлемая прерогатива этики как "нормативной те-

ории действия", определяющая саму возможность оценки средств как "приемлемых", "негодных" или "чрезмерных" Присутствие такого нормативного горизонта в объяснительной, "дескриптивной" теории действия очевидно позволяет говорить о существовании собственной "этической проблематики" в современной социологической теории и обнаруживает её преемственность по отношению к классической социальной мысли, а также к свойственной последней "метафизической проблематике" присутствия морального выбора в преднамеренном деянии[11]

Эта "метафизическая проблематика" в действительности и предопределила (и продолжает определять) устойчивый и выходящий за пределы социологии как дисциплины интерес к попыткам научного объяснения социального действия. Однако само её присутствие вызывало определенную обеспокоенность и "потребность в легитимации" у создателей социологии как "науки о сущем", поскольку угрожало превратить социологическую теорию в неявный форум для продолжения давних философских споров о происхождении и обосновании морали и моральных норм. Уже М. Вебер в работе "Смысл 'свободы от оценки' в социологической и экономической науке" счёл необходимым защитить универсальную пригодность нормативного критерия "формальной нравственности" для содержательной оценки любых человеческих действий, то есть для идентификации их актуального "смысла" Он использовал для этого Кантову формулу "отношения к другому человеку как цели или средству" (пригодность которой сохраняется даже в тех случаях, когда практическое применение нравственного императива находится в сфере институциональных решений или мешает реализации "других сфер ценности") [см.: 9, с. 562–565]. В этой же работе он отчетливо отделяет нормативную значимость действия как объекта нравственной оценки исследователем (которую следует оставить "за рамками" исследования) и возможность эмпирического исследования нормативно значимого: "В тех случаях, когда нечто нормативно значимое становится объектом *эмпирического* исследования, оно в качестве объекта лишается своего нормативного характера и рассматривается как 'сущее', а не как 'значимое' Подобная метаморфоза нормативно значимых истин в конвенционально значи-

мые мнения, которой подвластны все духовные образования (включая логические и математические идеи) с того момента, когда они становятся объектом рефлексии, рассматривающей их под углом зрения их эмпирического *бытия*, а не их (*нормативно*) правильного *смысла*, существует совершенно независимо от того факта, что нормативная значимость логических и математических истин является вместе с тем безусловной априорной данностью всех эмпирических наук" [9, с. 591]. В целом, следуя неокантианской трактовке отношения фактов и ценностей, Вебер вместе с тем ясно очерчивает возможность и необходимость рассмотрения нормативной ориентации действия в качестве существенного условия рационального научного истолкования его цели или, в веберовском языке, смысла.

Заметим, что Вебер избегает терминологии альтруистического или эгоистического действия, оставляя её для словаря аксиологии и "нормативной этики" и предпочитая говорить о "нормативно правильном" как одном из возможных идеальных типов, дабы подчеркнуть невозможность рационализации индивидуального ценностного выбора какими бы то ни было "выводами науки" и надёжно отделить нормативное измерение действия как предмет научного исследования от деонтологической, утилитарной, политической или теологической оценки этого действия. Определяя сам выбор нормативной ориентации действия как нерационализируемую и находящуюся за пределами объяснительных возможностей рациональной и эмпирической науки "борьбу ценностей", Вебер считает возможным исследовать социальное действие как фактический результат, исход выбора (так, если воспользоваться приводимым им примером, смысл близких отношений между мужчиной и женщиной меняется, если ориентацию на другого как средство удовлетворения страстей сменяет ориентация на самоценность отношений с другим, однако мы можем лишь интерпретировать и объяснить "новые" отношения через их вновь возникший смысл, воздерживаясь от суждений о причинах и смысле самого изменения). На деле, однако, предельно широкая веберовская трактовка ценностей, включающая в "борьбу ценностей" наряду с моральным императивом и логическими истинами, неопределенное множество других известных и вновь возникающих ценностей как "эмоциональных возможностей", таких, как "интерес совре-

менного европейца", "жажду переживаний" и т. д., позволяет говорить о некотором ("методологическом") волюнтаризме/инструментализме веберовской теории действия, помещающем её в опасной близости от liberum arbitrarium indifferentiae (свободы безразличия) классического философского индетерминизма (и, кстати, от неоутилитаризма "выявленных предпочтений"), — близости, которой сам Вебер вероятно предпочел бы избежать. (Об этом говорят, в частности, содержащиеся в той же работе аргументы против обвинения сторонников "борьбы ценностей" в моральном релятивизме.)

Вебер, следовательно, явным образом ввел нормативное измерение в социологические объяснения действия, однако предложенная им защита от опасной близости с метафизикой — допущение несоизмеримости субъективно значимых ценностных сфер и уравнивание нравственного выбора с выборами в "гетерогенных этике" сферах, предполагающих отношение к другому человеку "только как к средству", — заведомо "смещала" все возможные социологические теории действия к полюсу, обозначенному выше как волюнтаристский *(б)*-субъективизм.

Разработанная Вебером типология действия закрепила произвольность выбора внутренних целей—ценностей ("убеждений о долге, достоинстве, красоте, религиозных предначертаниях, благочестии или важности "предмета" любого рода" [9, с. 629]) в понятии аффективно-рационального действия, зарезервировав объективную оценку того или иного способа действия исключительно за операцией сознательного соотнесения целей, средств и побочных результатов, исчерпывающе характеризующей инструментальное целерациональное действие. Цели же последнего либо сами являются результатами ценностно-рационального выбора между "важными предметами", либо актуализируются в "установленном порядке" из составляемой самим индивидом шкалы субъективных предпочтений, упорядочивающей потребности по их "*сознательно* взвешенной необходимости" в согласии с принципом "предельной полезности" [там же]. Конечно, такие субъективно значимые ценности уже не могут обладать собственно нормативным и обязывающим характером, поскольку они не обладают независимым статусом и их желательность или обязательность оп-

ределяется исключительно интенцией сознающего субъекта[12]. В силу этого же обстоятельства они не могут сами по себе быть источником социальной солидарности, во всяком случае, сходство субъективных ценностей обеспечивает солидарность не в большей мере, чем сходство субъективных потребительных стоимостей неоклассической экономики, основной принцип которой и упоминает Вебер, определяя чистый тип целерационального действия. (О проблематичности очерченных таким образом понятий интенционального действия и инструментальной рациональности и возникающих здесь трудностях *см. с. 274–288 наст. изд.*).

В подтверждение последнего тезиса о латентном напряжении, изначально существующем в вопросе о статусе нормативно-нравственной ориентации действия в научном объяснении, заметим пока, что некоторые критики современных социологических теорий (А. Макинтайр) непосредственно связывают устойчивое и одностороннее внимание социологов к оппозиции "целерациональное—ценностно-рациональное" (сопровождаемое дистанцированием от вопроса о природе "ценностей") с необходимостью разведения *и* противопоставления факта и ценности, изначально стоявшей перед модернистским проектом респектабельной "научной социологии", в котором за пределы ответственного социологического теоретизирования выводилась сама идея нормативной (или содержащей нормативный компонент) теории действия [см.: 208]. Другие авторы (Х. Йоас) полагают, что синтез объективно-нормативного и субъективно-волюнтаристского измерений деятельности может быть достигнут в результате теоретической проработки метафор спонтанности и реконструкции, что позволит разработать "теорию креативности действия", способную описать и объяснить аутотелические, аффективные и привычные действия, игнорируемые интенционалистскими теориями "социального", "рационального" и т. п. действия (*см. раздел II наст. изд.* и [190]). Н. Смелзер недавно подверг критике само различение рационализированных целей как внутренних детерминант действия и ценностей как "внешних", якобы метафизических параметров его оценки. Именно это различение, по мнению Смелзера, и превращает теорию рационального выбора в "теоретический тупик": игнорируя современные психологические теории мотивации,

прежде всего психоаналитическую теорию, теоретики рационального выбора оказываются неспособны объяснить такие бесспорные и неоднократно продемонстрированные эмпирически характеристики "феноменологии действия" как его аффективно-ценностная амбивалентность и полярность [см.: 288]

Но, конечно, наибольший вклад в возвращение "нормативного" измерения в современную социологическую теорию внесла грандиозная метатеоретическая реконструкция "схем действия", предложенная в книге "Теория социального действия" Т. Парсонсом [243], а также критические дискуссии о его "волюнтаристской" теории действия, в центре которой оказался гиперсоциализированный субъект, свободно реализующий нормативные давления культуры. Парсонс стремился включить непроизводное, "первичное" нормативное измерение в предложенную Вебером метатеорию социального действия, развивая дюркгеймовскую идею ценностей как "моральных фактов" имеющих объективный и не зависящий от индивидуального сознания статус и воздействующих на поступки людей подобно физическим силам. ("Это силы коллективные, естественные, следовательно, они, хотя и являются целиком нравственными, близки тем, которые действуют в остальной части вселенной" [29, с. 300][13]).

Как для Дюркгейма и его ученика М. Мосса, создавшего первую социологическую теорию генерализованного обмена, в которой рыночный, сугубо "экономический" обмен выступал лишь частным случаем инструментально (эгоистически) ориентированного по нормативной оси действия, включенного в более широкую сеть отношений реципрокности, так и для Парсонса ненормативные и ситуативные элементы действия могли быть введены в "волюнтаристскую" теорию действия лишь через их отношение к нормативным элементам. "[Определяемая] позитивно, волюнтаристская система включает в себя элементы нормативного характера. Радикальный позитивизм полностью исключает все такие элементы из эмпирической релевантности. Утилитаристская система признаёт их, но только в статусе случайных целей [субъективных предпочтений], которые, таким образом, выступают лишь как данные для эмпирического применения теоретической системы. В волюнтаристской теории они становятся интегральной частью самой системы, будучи пози-

тивно взаимозависимы с другими элементами специфически определенным образом. Волюнтаристская система нимало не отрицает важную роль обусловливающих ситуативных и других ненормативных элементов действия, но рассматривает их в качестве взаимозависимых с нормативными" [243, vol. 1, p. 81–82]. Не менее радикально Парсонс отделяет свою "волюнтаристскую" теорию от идеалистической теории действия, в которой самостоятельное значение ситуативно-обусловливающих элементов действия (идеальных или материальных) исчезает подобно тому, как исчезает автономия нормативных элементов в радикально-позитивистской схеме действия: "В идеалистской теории "действие" становится процессом "эманации" или "самовыражения" идеальных или нормативных факторов. Пространственно-временные явления начинают соотноситься с действием только как символические "способы выражения" или "воплощения" "смыслов" Научный стандарт рациональности становится иррелевантен применительно к субъективному аспекту действия. Схема средства—цель уступает место схеме смысл—выражение. Ненормативные элементы не могут "обусловливать" действие, они могут лишь более или менее "интегрироваться со смысловой системой"" [243, p. 82].

Очевидно, что именно теории действия "идеалистического" типа заслуживают обозначения "волюнтаристские/иррационалистские" в устоявшейся терминологии, однако для Парсонса более значима обыденная этимология: "voluntary" — "добровольный" (тогда как философскому "волюнтаризму" ближе английское "wilful" — "своевольный, основанный на прихоти"). Нормативная ориентация действия есть не что иное, как результат индивидуального свободного решения (даже если, в собственно моральных терминах, результатом этого решения является утилитарное, эгоистическое, "максимизирующее" и т. п. поведение). Зарезервировав за своей нормативистской, ***(б)***-объективистской теорией действия определение "волюнтаристская", Парсонс создал определенную терминологическую трудность для всех последующих исследователей метатеоретических оснований и "базовых предположений": как обозначить противоположный нормативизму (в наших условных обозначениях ***(б)***-объективизму) полюс нормативной ориентации? Поскольку дихотомия "альтруистический—эгоисти-

ческий" часто воспринимается как принадлежность традиционно понимаемой моральной теории[14], выбор ограничивается "субъективизмом"[15], "интенционализмом"[16] либо "инструментализмом" ("инструментальной рациональностью"). В целях терминологической простоты мы в дальнейшем будем пользоваться преимущественно последним обозначением, хотя оно и чрезмерно привязано к индивидуалистским/материалистским теориям, характерным для натуралистской парадигмы в социологии (для того чтобы охарактеризовать с точки зрения нормативной ориентации действия индивидуалистские/идеалистские теории мы также будем применять в разделе II данной книги термин "интенционалистские").

Таким образом, третье базовое предположение (фундаментальное теоретическое различение) современной социологической теории, в силу своей непростой интеллектуальной истории вполне заслуживающее наименования "скрытое измерение", можно обозначить как *нормативизм — инструментализм*. Далее это обозначение будет использоваться уже без оговорок в качестве эквивалента различению, выше условно определенному как "объективизм — субъективизм" варианта *(6)*. Однако прежде чем мы перейдем к роли этого "скрытого измерения" в существующих и возможных классификациях основных социологических парадигм, немаловажно уточнить, как сам Парсонс определял суть "нормативного"

В специальном примечании к главе о теориях действия Парсонс отмечает, что свободное употребление этого термина в научной работе нуждается в некотором специальном пояснении в силу "его ассоциацией с этической и правовой точками зрения, которые принято отличать от точек зрения эмпирических наук" [243, vol. 1, p. 74]. Применительно к теории действия: "...термин 'нормативный' будет использоваться как приложимый к аспекту, части или элементу системы действия в том и только том случае, если можно считать, что оно проявляет или каким-то другим образом включает в себя чувство, могущее быть приписанным одному или более действующим, что нечто является целью само по себе, независимо от своего статуса как средства к достижению любой другой цели (1) для членов некоего коллектива, (2) для какой-то части членов или (3) для коллектива как единицы" [243, vol. 1, p. 75]. Очевидно, что нор-

мативность как таковая определяется двумя ключевыми элементами — ориентацией на других (социальный "коллектив") и надличным, автономным от ситуативных или фундаментальных для действующего "обстоятельств и ограничений" характером. При этом, уточняет Парсонс, *конкретная социальная норма*, подобная эксплицитной норме военного устава выполнять приказы командира, может зависеть (и часто зависит) и от ненормативных элементов, то есть от соображений организационной эффективности, индивидуальной биологически унаследованной склонности подчиняться приказам и т. п. Однако всегда существуют два аспекта, которые позволяют выявить "включенность" собственно нормативного аспекта в такую конкретную норму: "(1) Среди тех, кто "признает" ['recognize', то есть и 'распознает, осознает' в когнитивном смысле, — *И. Д.*] эту норму, офицеры ли это, солдаты или гражданские, существует ощущение того, что подчинение солдат приказам является целью само по себе, независимо от соображений военной эффективности. (2) Когда возникает вопрос о том, почему послушание ценится [и] в качестве средства, это приводит к прослеживанию 'вверх' цепи средства—цель [*см. гл. 6 указ. соч. Парсонса*][17] Эта процедура, в конце концов, приведет анализ к конечной цели, будет ли это военная эффективность сама по себе или как незаменимое средство для достижения других целей, таких как национальная безопасность. Нормативные элементы обычно включены в одну и ту же конкретную норму обоими этими способами" [243, vol. 1, p. 75].

Лишь на первый взгляд идея о существовании нормативного измерения, включенного или не включенного не только в конкретные действия, но и в конкретные эксплицитные нормы, кажется обескураживающей. Если воспользоваться пусть упрощенным, но ясным примером, следуя духу *и* букве правовой нормы – скажем, нормы устава, можно в некоторой ситуации (контингентно) нарушить абсолютно все "предельные ценности", ориентирующие наши поступки относительно других людей, либо наоборот, нарушив все писаные и неписаные нормы, выполнить нравственный императив. Таким образом, предложенная точка зрения вполне соответствует нашим житейским "моральным интуициям" Более того, она позволяет адекватно, то есть без логических противоречий, сформули-

ровать воистину мучительный для многих разделов социальной теории, в том числе для философии права, политики и т. д. вопрос о том, как *фактически* может обосновываться легальность самого права или легитимность узаконенных правовых или политических институтов. (На этом вопросе мы не можем останавливаться здесь более подробно, однако заметим, что споры о возможности обоснования правовых норм и квалификации правовых действий, характерные для философии права конца XIX века, оказали большое влияние не только на правоведческие взгляды Вебера, но и на формулировку им социологической теории действия. Причем особенно заметным, как показали С. Тёрнер и Р. Фактор [303], было влияние "позитивистской" теории "цели в праве", разработанной Р. фон Иерингом.)

Возвращаясь к *инструментальности—нормативности* как к автономному от *идеализма—материализма* (или от варианта *(а)* субъективизма—объективизма — *см. с. 47 наст. главы*) базовому измерению "проблемы действия", отметим, что вклад Парсонса в корректную постановку этой проблемы следует признать даже тем, кто ставит под сомнение базовые предположения его собственной теории социального действия (идеализм—нормативизм—холизм).

Наиболее последовательную попытку классифицировать существующие в социологии модели теоретического объяснения, основанную на реконструкции предложенной Парсонсом общей схемы "систем действия"[18], предпринял Дж. Александер [70, ch. 3]. С точки зрения Александера, ключевые предположения социологического теоретизирования каким-то образом зависят от решения эпистемологической проблемы соотношения субъекта и объекта познания, формулируемой им в терминах дихотомии "субъективизм—объективизм". Двум полюсам этой дихотомии соответствуют полюса того, что Александер описывает как "континуум научного мышления": полюс "метафизического окружения", содержащий предельно общие теоретические и "мета-методологические" положения, и полюс "эмпирического окружения", включающий в себя научные высказывания о наблюдаемых фактах [70, p. 2–5]. Оптимальным решением, избегающим крайностей идеализма и позитивизма, Александеру представляется постпозитивистское

"многомерное научное мышление", сохраняющее относительно автономный статус теории, но избегающее опасностей релятивизма и методологического анархизма [70, p. 24–35].

В терминах базовых предположений социологической теории эта дихотомия может быть сформулирована как противопоставление двух крайних ответов на вопрос о природе и источниках детерминации действия. Первая позиция может быть, по Александеру, обозначена как детерминизм "внешних условий" "материализм" ("...когда элементы, влияющие на человеческое действие, определяются как чисто объективные, как 'материальные' или 'ситуативно-обусловленные', ...ориентированные только на внешнее эмпирическое окружение"). Второй крайней позиции соответствует предположение об исключительно "внутренней", субъективной природе элементов, детерминирующих действие ("...когда влияющие на действие элементы воспринимаются как исходно субъективные, как идеальные или 'нормативные' ...ориентированные на метафизическое окружение") [70, p. 65–66]. Отметим сразу, что в этом пункте Александер смешивает, "сливает" вопрос о преобладании идеального или материального компонента в исходной мотивации и/или в детерминации средств действия (*идеализм—материализм*, или, в наших терминах, противопоставление *(а)* субъективизм—объективизм — *см. с.47 наст. главы*) с вопросом о присутствии в детерминации действия некоторого нормативного измерения, определяющего ориентацию действующего относительно других людей (как актуально присутствующих, так и потенциально затрагиваемых этим действием), то есть обращается к аналитическому разграничению *инструментализм—нормативизм*. Сразу же заметим, что речь идет именно о слиянии, "конфляции" в терминах, используемых самим Александером, поскольку он дает чрезвычайно проницательный анализ природы "нормативного" измерения, основанный преимущественно на рассмотренной выше позиции Парсонса. При этом Александер отмечает не только отсутствие в современной социологической теории адекватной концептуализации "нормативного" измерения действия (в частности, распространенную склонность подменять проблему нормативной ориентации вторым фундаментальным вопросом — о природе социального порядка, *см. ниже*), но и терминологические труд-

ности, связанные с тем, что в отличие от инструментализма традиционной "рационалистской теории", альтернативная ей традиция "не имеет столь легко идентифицируемого ярлыка"[19] Говоря о природе "нерациональности", Александер описывает среди её важных содержательно-теоретических концептуализаций нормативизм Парсонса, структуралистские теории символического, "фиктивного" смысла ритуального поведения (В. Тёрнер, М. Даглас), психоаналитические "холистские" теории аффективного действия, а также "подход, ...определяющий себя не в терминах экспрессивности человеческого действия, а в терминах его *этического качества*" [70, p. 77–78] (*Курсив мой – И.Д.*). Вместе с тем вопрос о нормативной ориентации действия как ориентации на не исчерпываемый нормой[20] "нормативный идеал" без достаточных оснований увязывается, в трактовке Александера, с вопросом о "внутренней" либо внешней, материальной детерминации действия, а также с традиционной философской формулировкой проблемы "свободы воли" О несводимости "идеального типа" нормативно-ориентированного действия к идеальному и экспрессивному (как и противоположного ему инструментального действия — к материальному и технически рациональному) уже говорилось. В этой связи достаточно только ещё раз подчеркнуть, что нормативное измерение действия не находится в необходимой связи с внутренними "ментальными" детерминантами действия. Как отмечал один из самых проницательных критиков традиционных философских концепций "свободы воли" Б. Ф. Скиннер [см.: 23, с. 35–36; *а также с. 231-233 наст. изд.*], детерминированный "ментальными переменными" внутренний Контролёр дарует индивиду не большую свободу воли, чем внешние, объективные, эмпирически наблюдаемые "ограничения"[21] Таким образом, в классификации Александера, как и показано *на рис. 3*, фундаментальные различения "инструментальное—нормативное" и "идеальное—материальное" *совмещены* в одно аналитическое измерение, описывающее возможные "базовые предположения" о природе социального действия, характеризующие основные теоретические ориентации в социологии. Второе измерение этой классификации образовано альтернативными ответами на вопрос о "методологическом фокусе" социологического теоретизирования, то есть базовы-

ми предположениями методологического "индивидуализма—холизма" Это довольно традиционное различение (иногда также именуемое различением микро- и макроуровней теоретизирования [см.. 196; 256, p. 450–453]), о сути которого подробнее говорилось выше (*см. с. 45–47 наст. изд.*), сохраняет свою значимость в качестве "базового предположения" уже потому, что "социальные науки должны иметь дело со множественностью индивидов. ...Каждая социальная теория соединяет внутри себя некий ответ на проблему действия с ответом на вопрос о том, как множественность таких действий становится взаимосопряжённой и упорядоченной" [70, p. 90].

На *рис. 3* схематически представлена исходная александеровская классификация базовых предположений и типов теоретической логики в социологии. Исходная схема была дополнена удобным сопоставлением "теоретических логик" и соответствующих им основных парадигм в современной социологии (*см. на рис. 3 А выделенные светлым шрифтом названия парадигм, предлагаемые Уотерсом, а также принятые в наст. изд.*). Для сравнения на том же *рис. 3* под литерой *Б* приведена классификация социологических парадигм Дж. Ритцера по тем же "базовым предположениями" Отметим, однако, что в классификации Ритцера объективным явлениям социальной реальности соответствуют "имеющие реальное, материальное существование", а субъективным — те, которые "существуют *исключительно* в области идей" Такое одномерное различение приводит к весьма спорным результатам. Так, в качестве примера объективных феноменов, анализируемых на микро- и макроуровнях, Ритцер упоминает действие, право, бюрократические структуры, язык, а в качестве субъективных феноменов — нормы, ценности, культуру [256, p. 532–533]. Кроме того, *на рис. 4* приведены примеры более дробной классификации моделей объяснения, выделяемых "внутри" натуралистской, интерпретативной, структуралистской и функционалистской парадигм с учётом рассмотренного выше "скрытого измерения" — нормативной ориентации действия. Поскольку главным структурным принципом изложения в данной книге будут не сами по себе парадигмы и модели социологического объяснения, а *ключевые проблемы* общей социологической теории, которые будут охарактеризованы чуть ниже, мы ограничимся именно примерами классификации об-

Рисунок 3

Классификация социологических парадигм по Дж. Александеру и Дж. Ритцеру

А

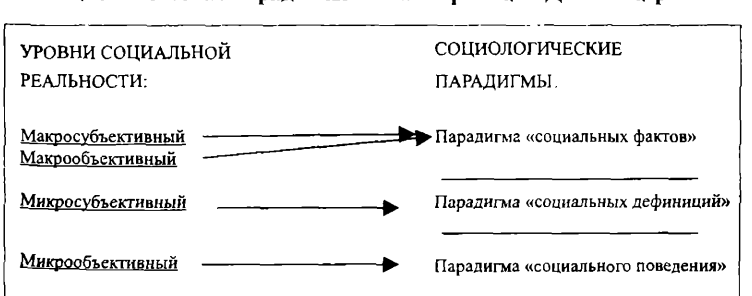
Схема базовых предположений Дж. Александера и основные социологические парадигмы*

Фокус теоретизирования	Предположения о конститутивных элементах социального действия	
	субъективные (волюнтаризм)	объективные (ограничения)
Действие	***Нормативизм ("нерациональность")*** Интерпретативный подход / Конструкционизм	***Инструментализм (рациональность)*** Натурализм / Утилитаризм
Порядок	***Социологический "идеализм"*** Функционализм / Функционализм	***Социологический "материализм"*** Структурализм / Критический структурализм

* *Источники: Alexander J. C.* Theoretical Logic in Sociology. Vol. 1. Positivism, Presuppositions, and Current Controversies. Berkeley: University of California Press, 1982; *Waters M.* Modern Sociological Theory. L. et al.. Sage Publications, 1994. P. 5–6 (с изменениями).

Б

Уровни социологического анализа и основные социологические парадигмы в классификации Дж. Ритцера*



Источник: *Ritzer G.* Contemporary Sociological Theory. N. Y McGraw Hill, 1992. P. 533–534.

щих социологических теорий и моделей объяснения, а также их обобщенными характеристиками. Оговорим также, что в наш список фундаментальных теоретических различений, используемых при объяснении социального мира и социального действия (индивидуализм—холизм, идеализм—материализм, нормативизм—инструментализм), мы не включили популярную в 70–80-е годы XX века дихотомию социальный порядок—социальный конфликт [см.: 118; 148]. Преимущественный интерес к конкуренции и конфликту во взаимодействии производен по отношению к одномерным инструментальным моделям объяснения действия (холистским или индивидуалистским), принимающим некоторые предположения об ограниченности ресурсов (материальных, властных или символических). Кроме того, популярность этой дихотомии в значительной мере связана не с её якобы фундаментальным характером, а с тем, что она отражает базовое "идеологическое предположение" [70, p. 90–94], которое само нуждается в содержательном теоретическом объяснении.

Рисунок 4

Примеры классификации парадигм и моделей теоретического объяснения с учётом нормативной-инструментальной ориентации действия

Фокус теорстизирования	Субъективизм (идеализм)	Объективизм (материализм)
Действие	***Нормативизм*** Теория действия М. Вебера; формальная социология Г. Зиммеля; «двойная герменевтика» Э. Гидденса ИНТЕРПРЕТАТИВНЫЙ ПОДХОД Конструкционизм ***Инструментализм***	***Нормативизм*** Теория социального обмена НАТУРАЛИЗМ Теория рационального выбора ***Инструментализм***
Порядок	***Нормативизм*** Структурный функционализм ФУНКЦИОНАЛИЗМ Теория социальных систем, Социобиология ***Инструментализм***	***Нормативизм*** Культурная антропология К. Леви-Строса СТРУКТУРАЛИЗМ Критический (неомарксистский) структурализм ***Инструментализм***

ГЛАВА 3

КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ПОНЯТИЙ И ПАРАДИГМ СОЦИОЛОГИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ

Ключевые понятия общей социологической теории

Особенности каждой социологической парадигмы в значительной мере определяются ее ключевой проблематикой. Выбор центральной проблемы прямо связан с характером базовых предположений, принимаемых внутри каждой из ведущих теоретических ориентаций, то есть с пониманием того, *что* и *на каком уровне* подлежит объяснению. Ключевое положение соответствующего этой проблеме фундаментального понятия связано и с тем, что это понятие в данной концептуальной области выступает скорее объяснительным принципом, чем собственно предметом анализа. Помимо содержательных теоретических проблем, например, проблем идеологии или стратификации, существуют и общие проблемы. К ним относятся проблемы *интенционального действия, инструментальной рациональности, социальной системы* и *структуры.* Каждая из них исторически выступала и во многом остается определяющей для одной из ведущих парадигм, хотя, разумеется, эта связь исторична и не безусловна и не подразумевает, как мы увидим в дальнейшем, "монополии" той или иной проблематики на соответствующую "концептуальную область" (*см. рис. 5*).

Первые две из этих проблем — интенционального действия (или деятельности) и практической рациональности (или инструментальной рациональности) — нередко и вполне обоснованно объединяют под рубрикой "теории действия и практики" или "теории социального действия" [см.: 113; 256, p. 453–456]. И интерпретативные, и утилитаристские, и необихевиористские теории социального действия рассматривают в качестве главной проблему субъективно-целенаправленной или же целеориентированной (в объективном смысле) человечес-

кой деятельности, конечным источником которой выступает индивид. Холистские модели объяснения, как уже говорилось, считают главной чертой социального мира и наиболее общей проблемой социологического объяснения упорядоченность и взаимную соотнесенность социальных взаимодействий, образующих целостную систему или структуру. В данной книге будут рассматриваться первые две из обозначенных "проблематик", а две последние в основном останутся за ее пределами.

Вслед за М. Уотерсом [308, p. 11–13], мы ещё раз кратко охарактеризуем эти ключевые проблемы социологической теории, поскольку именно вокруг них будет организовано дальнейшее изложение.

- Деятельность, или целенаправленное действие — фундаментальное понятие социологической теории, описывающее взаимосвязь между ментальными событиями, происходящими в сознании действующего (обычно индивида), и внешними, поведенческими событиями в наблюдаемом мире. Теории, работающие с этим понятием (преимущественно индивидуалистские/идеалистские), используют и исследуют объяснительные возможности человеческой *субъективности* как свойства быть источником целенаправленной деятельности. Характерная для этих теорий логика объяснения социального мира предполагает движение от смысла, придаваемого субъектом собственному поведению, то есть от субъективных оснований, мотивов, резонов действующего, к возможности коммуникации и координации индивидуальных действий и, наконец, собственно к возможности возникновения интерсубъективного социального мира. Главный вопрос, стоящий перед теориями деятельности: как из взаимодействия индивидуальных сознаний могут возникнуть коллективный порядок и обладающие регулятивной силой социальные институты?

  Инструментальная (или практическая) рациональность — понятие социальной теории, описывающее основания и цели действия в качестве обоснованных реальными обстоятельствами внешнего мира и, следовательно, относительно автономных от субъективных "интенций". В отличие от "внутренней" логики субъективно целенаправленной деятельности, логика инструментально-рационального дей-

ствия может быть объективно реконструирована именно в силу того, что это действие реализует объективные, преимущественно материальные, интересы действующего индивида (скажем, стремление к объективным благам или "подкреплениям" к максимальному удовлетворению потребности в удовольствии и избеганию неудовольствия и т. д.). Заметим также, что практическая рациональность отличается не только от интенциональной деятельности, но и от теоретической рациональности, исследуемой эпистемологией и логикой, поскольку мотивы и основания реального действия, практики, могут быть признаны правильными или разумными лишь относительно реальных, не умозрительных событий наблюдаемого мира и интересов данного действующего. Отсюда, выделение сферы рационального в теориях инструментальной рациональности равнозначно определению области поведения, имеющего объективно идентифицируемые, "внешние" цели. В большинстве случаев предполагается, что это сознательные или в принципе доступные осознанию цели-интересы индивида, которые он стремится реализовать в максимально возможной степени. Соответственно, центральным вопросом теорий инструментальной рациональности оказывается вопрос о том, как и при каких условиях возможно коллективное действие, объединяющее усилия максимизирующих собственные интересы индивидов.

Структура — фундаментальное понятие социальной теории, описывающее неявные, скрытые от непосредственного наблюдения, однако выявляемые относительно автономных от субъективных интенций во всех без исключения областях социальной жизни надындивидуальные социальные и психологические устройства, детерминирующие как непосредственный индивидуальный опыт, так и совокупную социальную практику людей. Предполагается, что структуры не только надындивидуальны, но и первичны по отношению к сознанию и деятельности. В некоторых социологических теориях структуры имеют статус аналитической абстракции (например, предполагается, что речь или система родства функционируют так, "как если бы" наблюдаемые индивидуальные речевые акты или поступ-

ки людей были детерминированы ненаблюдаемыми структурами). Другие теоретики полагают, что социальные структуры имеют самостоятельный онтологический статус, будучи укоренены, например, во врожденных свойствах человеческой психики или объективных свойствах языка и символической коммуникации. Основным вопросом для теорий социальной структуры является вопрос о конкретных механизмах детерминации поступков и мнений реальных индивидов такими абстрактными и надындивидуальными сущностями, а также вопрос о соотношении множественности структурных влияний и уникальности и неопределенности конкретных человеческих поступков и коммуникативных взаимодействий между индивидами.

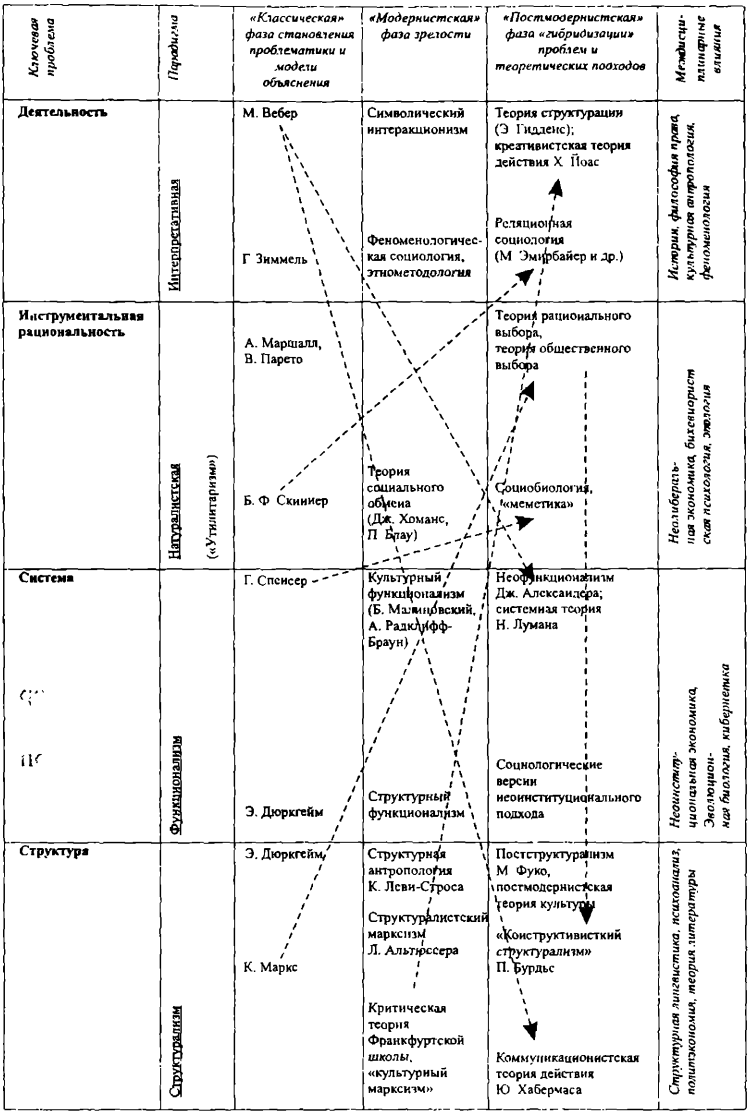
Система — фундаментальное понятие социальной теории, описывающее целостную организацию коллективных социальных установлений, которая явным образом не зависит от индивидуальной логики и индивидуальных устремлений отдельных участников, однако проявляет свойство коллективной целесообразности и целеориентированности — функциональности. Понятие функции как цели или непреднамеренного результата активности отдельных субъектов, групп или частей (подсистем, "рубрик") социальной системы определяет и отличие понятия "системы" от понятия "структуры", и своеобразие системных, функционалистских объяснений в социологии. Системы как интегрированные, иерархически организованные целостности, могут быть отделены от внешнего окружения именно по признаку внутренней согласованности частей системы в реализации "системных" целей. Главной "системной" целью является сохранение целостности самой системы, её внутренние согласованные изменения или адаптация к изменениям во внешнем окружении (которые, в свою очередь, нередко являются побочным продуктом деятельности самой системы или её подсистем). Эти изменения чаще всего описываются как эволюция социальных, экономических и культурных систем. Главным вопросом системных теорий в социологии является вопрос о природе, источниках и конкретных причинных механизмах возникновения и изменения (развития или упадка) исторических социальных систем.

Основные парадигмы социологической теории: натурализм, интерпретативизм (конструкционизм), структурализм, функционализм

Обозначенная связь социологических парадигм с ключевыми "проблематиками" является не только логической, но и исторической. Проблематика деятельности, например, сформировалась и наиболее детально разрабатывалась в рамках *интерпретативной* парадигмы. Исходные для этой проблематики постановки вопросов и категории были сформулированы в работах М. Вебера и Г. Зиммеля. Однако историческое развитие интерпретативного подхода и свойственных ему моделей объяснения вело к уточнению, расширению, а иногда и к пересмотру исходных теоретических представлений и методов исследования. Такие изменения происходили в результате "эндогенных" теоретических пересмотров, междисциплинарных влияний (для интерпретативной традиции таким радикальным влиянием стала феноменология), и, в немалой степени, благодаря реакции на критику со стороны представителей других подходов. В случае интерпретативной традиции таким внешним влиянием стало, в частности, влияние структуралистской методологии, наиболее заметное в работах выдающихся теоретиков 60–70-х годов XX века (И. Гофман, Х. Гарфинкель, К. Гирц), а также в работах таких наших современников, как Э. Гидденс и М. Арчер. Примером обратного влияния интерпретативной модели объяснения действия на структуралистскую, может служить творчество французского теоретика конца XX века П. Бурдье (в этом случае имело место также влияние натуралистской теории рационального выбора, что отражено пунктирной стрелкой *на рис. 5*). Примеры описанной тенденции к "концептуальному смешению" и предполагаемому синтезу проблематики и теоретической логики можно найти и в работах представителей всех без исключения парадигм. Для новейшего этапа в развитии социологической теории, который *на рис. 5* условно обозначен как "постмодернистский" и является основным предметом рассмотрения в этой книге, в высшей степени характерны явные и неявные синтезы и слияния "проблематик" и подходов, концептуальные и терминологические заимствования, позволяющие устоявшимся "социологическим традициям" сохранять жизнеспособность и

Рисунок 5

Этапы развития социологической теории*

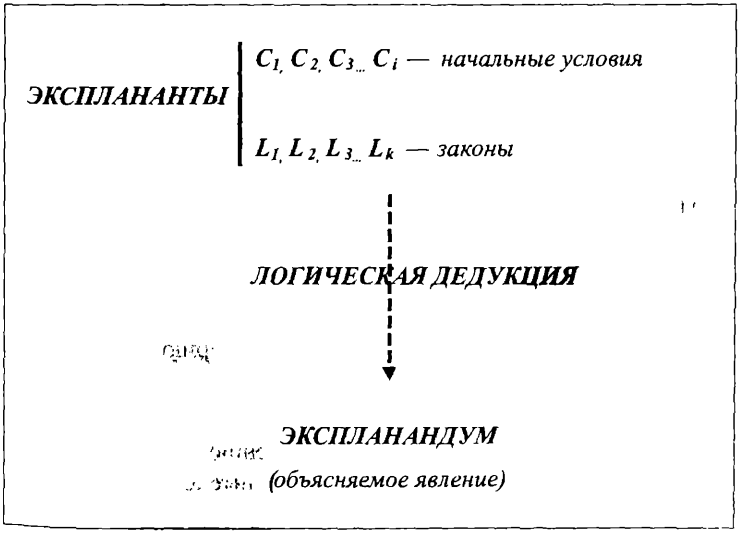


* *Источник*: Waters M. Modern Sociological Theory. Z.et.al.: Sage Publications, 1994. P. 7 (с изменениями).

одновременно размывающие привычные границы между ними. Поскольку данная книга посвящена преимущественно новейшему периоду в "истории социологической теории" (что и подразумевается под словом "современная" в её заголовке), дальнейшее изложение будет строиться именно вокруг ключевых теоретических проблем как относительно стабильных "фокусов" исследовательских интересов социологов (более детальное рассмотрение основных моделей социологического объяснения и процессов становления основных парадигм в социологии представлено в другой нашей работе [23]). Однако в силу существующей взаимосвязи между ключевыми проблемами, моделями объяснения и социологическими парадигмами, здесь мы приводим краткую характеристику последних. Кроме того, *на рис. 5* представлена важная для понимания эволюции социологической теории схема этапов (фаз) развития основных социологических парадигм с примерами ведущих теоретиков и теорий, а также некоторых межисциплинарных и "межпарадигмальных" (пунктирные стрелки) влияний.

Рисунок 6

Дедуктивно-номологическая модель Гемпеля



Натурализм как социологическая парадигма характеризуется, прежде всего, принятием тезиса о глубинном единстве целей, общей теоретической логики и методов естественных наук и наук о человеке. Кроме того, важную роль в формировании натуралистской парадигмы сыграла философская доктрина логического позитивизма. Для натуралистской парадигмы характерно стремление к объяснению социального мира и действий людей посредством дедуктивно-номологической модели объяснения, или модели охватывающего закона. Под законом здесь понимается утверждение, описывающее причинную взаимосвязь между явлениями, а также "граничные условия", при которых эта связь наблюдается. Главной проблемой и принципом объяснения в натурализме является индивидуальное инструментально-рациональное действие.

Первая формальная логическая модель, описывавшая роль общих законов в социальных науках, была предложена К. Гемпелем. Концептуальным ядром этой модели являются три основных тезиса:

объяснение и предсказание симметричны;

общие законы, в конечном счете, являются каузальными высказываниями, то есть описывают причинную связь между событиями;

хорошее объяснение и в естественных, и в социальных науках соответствует трем нормативно-логическим критериям оценки.

Три нормативно-логических критерия:

экспланандум (то, что подлежит объяснению) может быть логически выведен из экспланантов (объясняющих высказываний);

в число экспланантов входит правдоподобный общий закон, из которого экспланандум выводится с логической необходимостью;

эксплананты должны удовлетворять критерию эмпирической проверяемости.

В модели Гемпеля в число экспланантов входят общие законы, "охватывающие" подлежащие объяснению явления, и посылки, описывающие начальные условия (антецеденты) объясняемых событий.

Гемпель утверждал, что эта модель в равной мере применима к естественным наукам и наукам о человеке и обществе. Частным случаем данной модели является "модель рационального действия" формализующая классические утилитаристские теории. Адекватное объяснение рационального действия, с точки зрения Гемпеля, должно соответствовать следующей логической схеме ("схеме R"):

1) Деятель *A* находился в ситуации типа *C*.

2) *A* являлся рационально действующим агентом.

3) В ситуации типа *C* любой рациональный агент делает *X*.

Следовательно, *A* сделал *X*.

Гемпелевская реконструкция рационального объяснения действия охватывает множество реальных объяснений субъективно мотивированных (то есть основанных на убеждениях и желаниях) поступков. Однако при более углубленном анализе становится очевидным, что и "схема R", и ее предпосылки весьма уязвимы для критики (подробнее см.: [23, с. 28–34], а также *раздел II наст. изд.*).

Основания натуралистской теоретической ориентации в социологии восходят к классическому ***утилитаризму***. Утилитаризм — это теория, объясняющая рациональные действия индивидов стремлением к благу и субъективными представлениями как о характере этого блага, так и о способах его достижения. С точки зрения утилитаристской традиции, разумный общественный порядок также основывается, в конечном счете, на стремлении индивидов к собственному благосостоянию. На формирование утилитаристских теорий инструментальной рациональности в социологии оказали влияние и классические философские труды И. Бентама и Дж. С. Милля, и теоретическая политэкономия конца XIX века (в частности, "Принципы экономики" А. Маршалла), в которой "желания" и блага индивидов были заменены единой концепцией "полезности" Для утилитаристских и неоутилитаристских теорий рационального выбора (и рационального действия) важнейшей задачей является объяснение того, как "индивидуальные акторы (которые, в конкретных обстоятельствах, могут быть раз-

ного рода коллективами) действуют, или скорее взаимодействуют, таким образом, что они могут восприниматься как делающие наилучшее для себя по мере своих возможностей с учётом их целей, ресурсов и обстоятельств, как они их воспринимают" [67, p. 223]. Иными словами, здесь важно объяснить действия с точки зрения ментальных состояний желания и информированности.

Для необихевиористских теорий обмена и теоретико-игровых моделей совместной деятельности, представляющих сильную и влиятельную альтернативу модели "рационального действия" в рамках той же натуралистской парадигмы, наиболее существенными являются объективные последствия действий, желательность которых для акторов (действующих) может быть определена в объективном наблюдении (например, как вероятность воспроизведения и повторения действий, ведущих к определенным последствиям, как "выявленные предпочтения" при выборе из равновероятных исходов и т. д.). Другим влиятельным источником натуралистского теоретизирования в социологии является возникшее первоначально в психологии учение бихевиоризма (*подробнее см. главу 2 раздела II наст. изд.*, а также [23, с. 34–38]).

Интерпретативная парадигма в социологии связана с традициями классической герменевтики XIX века, ориентированной на образцы гуманитарного знания (в частности, на достижения исторической школы в области экономики и права) и позже вобравшей в себя философские идеи неокантианства баденской школы — противопоставление нормативного подхода к сфере ценностей ("должного") и опытного подхода к изучению природного мира ("сущего"), а также следующее отсюда различение идиографического и номотетического подходов, изучающих, соответственно, единичное и исключительное либо общее и закономерно повторяемое (В. Виндельбанд, Г Риккерт). В классической социологической теории у истоков интерпретативного направления стояли Г Зиммель и М. Вебер, также подчеркивавшие конститутивную (то есть "образующую") роль человеческой субъективности и целенаправленной деятельности в создании социального мира как предмета социальных наук, принципиально отличного от физического мира причин и следствий. В умеренной версии интерпретатив-

ной доктрины, обоснованной ещё Вебером, задача причинного объяснения интенционального действия и раскрытия идеально-типических закономерностей рассматривается в качестве ключевой. Некоторые более поздние и радикальные версии интерпретативного подхода, испытавшие влияние феноменологической философии (прежде всего, А. Бергсона, Э. Гуссерля и А. Шюца), отказались от идеи относительной автономии социального мира от человеческой субъективности, а также от идеи причинной обусловленности сознания, и приняли тезис "социального конструирования" реальности. С этой точки зрения главной задачей и принципом социологической интерпретации социального мира является истолкование социального взаимодействия *с точки зрения действующих*, предположительно имеющих преимущественный, "авторский" доступ к содержанию своего сознания и собственным интенциям. На формирование методологии и методов исследования, характерных для интерпретативного подхода значительно повлияли модели и методы этнографического исследования (преимущественно, британская традиция культурной антропологии), феноменология, символический интеракционизм Чикагской школы, а также очень своеобразная интерпретация лингвистического бихевиоризма Л. Витгенштейна применительно к философии социальных наук, предложенная П. Уинчем [см.: 23, с. 49–58].

Отличаясь многообразием "интеллектуальных корней", интерпретативная традиция все же сохраняет некоторое фундаментальное единство, позволяющее рассматривать ее как исследовательскую программу в широком смысле.

Во-первых, сторонники этой исследовательской программы отрицают тезис "единства метода" социальных и естественных наук.

Во-вторых, они полагают, что в социальных и гуманитарных науках следует использовать особый тип объяснения, отличающийся от объяснения в естественных науках, так как социальное и гуманитарное знание описывает уникальный объект — людей, обладающих сознанием и наделяющих свои поступки смыслом (или значением), что, по всей видимости, не характерно для физических объектов и событий.

В-третьих, предполагается, что для исследования осмысленного произвольного поведения сознательных человеческих су-

ществ должен применяться особый, понимающий метод. В некоторых трактовках (герменевтика) этот метод основан на семантическом объяснении, то есть объяснении смысла действия с точки зрения действующего, в других — на интерпретации, объединяющей семантическое объяснение с научным.

Новейшие интерпретативные теории ориентированы на исследование осмысленности, правильности и предсказуемости социального взаимодействия, на изучение ситуативно обусловленного "порождения" смыслов и правил, то есть собственно на изучение того, что воспринималось в более ранних версиях интерпретативизма как данность, первичная характеристика "человеческого состояния" (этнометодология, драматургическая социология). Среди впечатляющих попыток синтеза сильных сторон интерпретативного подхода к анализу социального действия с преимуществами структуралистского и натуралистского подходов к объяснению макросоциальных явлений можно упомянуть теорию структурации Э. Гидденса, морфогенетическую теорию М. Арчер, реляционную социологию М. Эмирбайера и его коллег.

Функционализм как социологическая парадигма восходит к трудам классиков социологии — О. Конта (органицизм в трактовке общества), Г Спенсера (различение структуры и функции; закон прогрессирующей дифференциации; избирательное выживание как механизм отбора), Э. Дюркгейма (проблема социетальной интеграции). Функционализм представляет собой теоретический и методологический подход, рассматривающий общество и его институты как нередуцируемое "целое" — систему, части и элементы которой в той или иной мере специализированы и выполняют различные роли. Эти роли и обозначают термином "функции" С этой точки зрения, поступки людей, даже наиболее преднамеренные и обдуманные, могут быть лучше поняты и объяснены не как реализованные "интенции" действующих, а как неосознаваемые и непреднамеренные последствия социальных институтов и процессов. В функционалистской модели, таким образом, используются "целевые" объяснения, не подпадающие под описанные выше схемы интенционального, субъективно мотивированного действия отдельной личности. Такие объяснения и называют функциональными. Функциональные объяснения часто относятся

к таким явлениям, как "выживание" и воспроизводство обществ, культур или социальных институтов. Однако можно найти и другие примеры функциональных объяснений, относящиеся к процессам, которые происходят на микросоциальном и даже индивидуальном уровне. Таковы, в частности, некоторые психоаналитические объяснения, опирающиеся на концепцию бессознательных мотивов (например, теория "вытеснения").

Функциональные объяснения в социологии, таким образом, могут рассматриваться как один из типов телеологических объяснений, в которых некие события или действия становятся понятны посредством соотнесения с их последствиями, ожидаемыми в будущем. При этом функционалистское объяснение в новейшей социологической теории не находится в противоречии с причинным объяснением: если классические функционалистские объяснения нередко справедливо критиковались за "дурную телеологию" (постулирование наличия целей и намерений у общества как целого), то теоретики "модернистского" периода (Р. Мертон, А. Стинчком, М. Даглас) смогли продемонстрировать возможности причинного функционального объяснения и сформулировать требования к такому объяснению [см.: 23, с. 41–45].

В теоретической социологии конца XX века под функционализмом обычно (но не обязательно) понимают структурный функционализм, изучающий функциональные возможности социальных структур, и — наоборот — структурную реализацию определенных функций социальной системы, а также неоэволюционные теории социально-экономических и культурных систем.

Помимо классического, выделяют другие типы функционализма (М. Абрамсон):

индивидуалистский функционализм, характерный для традиционной культурной антропологии и ориентированный на анализ того, как социальные институты и культуры удовлетворяют потребности индивидуального деятеля (Б. Малиновский);

межличностный (точнее — внутригрупповой) функционализм, также характерный для ранней культурной антропо-

логии (А. Радклифф-Браун), стремившейся продемонстрировать функциональность тех обычаев и установлений, которые могли восприниматься как примитивные или пережиточные с некой "евроцентристской" точки зрения (акцент здесь делался на функциональность культурных ресурсов, систем родства и т. п. для выживания и интеграции группы); наконец, социетальный функционализм (П. Штомпка), к которому относят и современных классиков структурного функционализма (Р. Мертона, Т. Парсонса), и представителей неоэволюционного подхода, описывающих стадии социетальной эволюции — направленных исторических изменений в развитии человеческого общества (И. Уоллерстайн, Ш. Айзенштадт, М. Манн).

Структурализм — междисциплинарная парадигма в социальных и гуманитарных науках, объединяющая такие холистские[22] модели объяснения, для которых целью объяснения является обнаружение в поведении людей смысла, скрытого от непосредственного восприятия самих действующих. Исходной точкой для структуралистского рассуждения служит указание на неявную упорядоченность языкового поведения, отношений родства, следования правилам, участия в ритуалах и т. п., что позволяет говорить об их детерминированности. Однако предполагаемые скрытые "двигатели" осмысленного поведения являются не физическими (или нейрофизиологическими) причинами, а структурными детерминантами — человеческими установлениями, которые, однако, не поддаются тривиальному сведению к поступкам отдельных действующих. В отличие от интерпретативного подхода, структурализм стремится выйти "за пределы" интеллигибельного действия, открыв лежащие в основании осмысленной и значимой деятельности более глубокие смыслы, внеличностные структуры, создающие макросоциальный контекст действия. Примерами таких структур могут служить системы родства, фонологические системы, социальные структуры, институты и нормативные порядки. Из сказанного следует, что структуралистские модели объяснения относятся к макроуровню теоретизирования (тогда как объяснения действия обычно относятся к микроуровню).

Истоки структуралистских объяснений в социологии нередко прослеживают в идеях Дюркгейма (ср., в частности, обо-

снование автономии "социальных фактов" и критику редукционистских объяснений социального целого в его "Правилах социологического метода"). В формировании "критического структурализма" (критическая социология, культурный марксизм и др.) значительную роль сыграли идеи К. Маркса о детерминации исторического процесса структурными отношениями, объективно определяющими фундамент общественной, политической и экономической жизни — способ производства. Таким образом, структуралистские объяснения подчеркивают объективный и "внешний" характер структурной детерминации жизни общества[23]

В "сильном" варианте структуралистские объяснения ищут смыслы, скрытые от повседневного сознания действующих, и поскольку понятие "интенционального" по меньшей мере по объему совпадает с понятием "сознательного", такие объяснения не являются интенционалистскими. Структурными инвариантами, задающими неявные правила или законы действия, могут служить системы фонологических оппозиций и глубинные грамматические структуры, изучаемые структурной лингвистикой, структуры бессознательного в психоанализе, отношения собственности и способ производства в марксизме и т. п. В новейший период развития социологической теории особую популярность приобрел постструктурализм, который возвратил идеи интенциональности, преднамеренности и историчности в теории, объясняющие структуры знания, языка и власти (Ж. Лакан, Ж. Деррида, М. Фуко и др.).

Принято выделять следующие устойчивые особенности "сильных" структуралистских объяснений (см., в частности, [193, p. 124–125]):

социальные явления трактуются как сложноорганизованные системы отношений, единичные элементы которых (например, фонемы или элементы ритуала) могут быть объяснены лишь в соотнесении с другими элементами;

структурный анализ рассматривает видимое поведение (практику, дискурс и т. п.) как систему знаков, код, нуждающийся в дешифровке, то есть в выявлении системы означаемых, так что структурное объяснение всегда является семиотическим в широком смысле;

универсальные и инвариантные элементы структуры могут анализироваться синхронически, то есть относительно независимо от исторических и частных (диахронических) контекстов их возникновения;
универсализм "тайных" структур языка, родства, социального обмена, власти и т. п. обеспечивает широкие возможности для их коммуникации и взаимной трансформации.

Примечания

Поскольку критерии "практики" и "практической пригодности" применяемые к концептуальным словарям, немедленно требуют каких-то собственных критериев рациональности, выходящих за пределы удовольствия или неудовольствия, испытываемого биологическими существами при их "ситуативном" и локальном использовании, неопрагматизм оказывается в том же затруднительном положении, из которого он пытается вызволить кантианский проект эпистемологии (подробнее о необходимости демистификации категории практики применительно к социальной теории, а также о недостатках современных "практичных" теорий, см.: [302], а также *с. 289–304 наст. изд.*).

Тенденция смешивать идеи, социально-исторические или психологические предпосылки и формы доступа к знанию — застарелая болезнь эпистемологии. Из того обстоятельства, что те или иные институциональные предпосылки знания — например, отношение к знанию как к "общественному благу", которое не может распространяться через рыночный аллокативный механизм, или восприятие грамотности как универсальной нормы, — носят исторический и "контингентный" характер, ни логически, ни исторически отнюдь не следует, что идеи и целые научные традиции должны исчезать, как только уйдут (ушли?) в прошлое те условия, которые способствовали их первоначальному возникновению. В качестве частных примеров достаточно упомянуть аристотелевскую формальную логику, надолго пережившую столь благоприятные для её становления условия античного полиса, или, скажем, фундаментальные принципы и конкретные методические приёмы контрактного права и герменевтики, первоначально развивавшиеся в рамках талмудической традиции. Эпистемологический релятивизм и тенденция сводить истинные суждения к их социальным первоисточникам основаны прежде всего на убежденности в существовании очевидных критериев ошибочности, субъективности и ложности, то есть на требующей самостоятельного анализа некритической уверенности некоторых философов и социологов в том, что *незнание*, невежество представляет собой нечто более беспредпо-

сылочное и самоочевидное, чем зависимое от интересов, власти и субъектности знание.

Неудивительно, что конкретные попытки обогащения социологической теории локальными понятиями на практике сводятся к переводу местных понятий на язык этой теории (иначе трудно было бы идентифицировать эти понятия как элементы "туземной" теории, а не чего-то другого). В этом отношении поучительны материалы, публиковавшиеся в "International Sociology" в рамках проекта "интернационализации социологии" и включенные в известный сборник [69]. Так, фигурирующий в африканской устной поэтической традиции "принцип asuwada", в конце концов, оказывается довольно удачным обозначением идеи "социального организма" [69, p. 101–151]. Рискнём предположить, что ещё одним неплохим синонимом могла бы стать "соборность"

В социологии, как и в ряде других относительно недавно институциализированных научных дисциплин, такое "неспортивное" поведение может довольно долго оставаться безнаказанным как в силу объективных обстоятельств — отсутствия общепризнанной и доминирующей в текущий момент исследовательской программы, так и в результате традиционно бо́льшей подверженности социальных наук факторам "внешнего контекста" научной деятельности: текущим философским и идеологическим модам, явному или неявному политическому давлению на формирование исследовательской "повестки дня" или даже добросовестному желанию ученых совместить свою профессиональную роль с ролью пророка или "учителя жизни"

Так, например, позитивная оценка большинством исследователей человеческого поведения объяснительных возможностей классического психоанализа (несмотря на едва ли не самую яростную в истории науки Нового времени критику) не в последнюю очередь связана с тем, что ряд психоаналитических идей и понятий, в том числе тех, которые объявлялись оппонентами контринтуитивными и неприемлемыми для "нормальных людей", удивительно легко вошли в "народную психологию" и повседневные объяснения поведения.

Так, критика и последующий пересмотр марксистской общей теории капитализма были связаны не столько с поисками её внутренних логических противоречий или внешних концептуальных "разрывов" с другими фундаментальными социологическими понятиями, сколько с эмпирической неадекватностью основанных на этой формальной теории содержательных теорий капиталистического развития для анализа отдельных исторических примеров возникновения и развития капиталистического хозяйства.

Для того чтобы отличать продуктивное и эвристическое использование специально подобранного исторического материала в целях теоретической концептуализации и дальнейшей проверки теории

от недобросовестных манипуляций историческими фактами, применяемых с целью защиты излюбленных идей от опровержения, полезно, по меньшей мере, помнить самое короткое и точное определение псевдонауки, данное Дж. Агасси: "Псевдонаука — это эвристика, выдаваемая за науку" [68].

Абстракция волюнтаристского инструментально-рационального действия, определяемого исключительно в терминах соотношения субъективно произвольных целей и объективно "имманентных" этим целям средств, конечно, восходит к веберовской типологии действия (о серьёзных проблемах, порождаемых этой объяснительной абстракцией, речь пойдет далее в разделе II). Она дополняется абстракцией самоценного, то есть ценностно-рационального и нормативно-ограниченного "внешним" для субъекта ценностным горизонтом действия, имеющего явный альтруистический аспект. Заметим предварительно, что немалая часть возникающих здесь проблем связана со смешиванием этического, собственно нормативного измерения теории социального действия (которое может быть просто-напросто эгоистическим и равно рассматривающим и людей, и вещи, и идеи как средство достижения индивидуальной цели, либо альтруистическим и определяющим не только свои средства, но и сами цели с учетом позиции другого) и субъективного/идеального аспекта действия как аналитически и практически отличного от объективного/материального. Несомненно, эгоистичное "стратегическое" действие может быть и идеальным, субъективным (происходить исключительно в сфере субъективных смыслов и ориентаций коммуникативного взаимодействия, "символических структур жизненного мира", по Хабермасу), и, наоборот, сугубо техническое, инструментальное и аффективно-нейтральное объективное действие, производимое в материальном мире на основе манипулятивного эмпирического знания может быть абсолютно альтруистическим актом.

Вопрос о волюнтаризме в социологических взглядах Тённиса довольно сложен и требует специального рассмотрения. Во всяком случае, неочевидно, что органическая воля необходимо предполагает альтруистическую направленность, а рассудочная — эгоистическую. Для наших же целей интересно отметить, что Парсонс, рассматривая тённисовскую знаменитую дихотомию в "Структуре социального действия" [243, vol. 2, p. 686–694], отмечает именно неспецифический и принципиально "неконтрактный" характер институционального контроля в отношениях типа Gemeinschaft, где предписываются не правила или поступки, а *установки*, "направленности" поступков, включающие собственно моральный элемент, тогда как уклонение от выполнения обязательств в Gesellschaft-отношениях с "другими", допуская моральную оценку, всё же подкрепляется прямой санкцией: "Отношения Gemeinschaft существенно отличны... Что мы предписываем исходно, так это установки,

подобные 'любви', 'уважению', 'сыновнему почтению' и т. п. Формально запрещённые поступки — это те, которые считаются в частном случае несовместимыми с 'приличествующими' установками, формально требуемые — это те, которые минимально выражают такую установку. В Gesellschaft-отношениях, с другой стороны, установки специфически иррелевантны. Это сфера 'формальной легальности' " [243, vol. 2, p. 691].

См. примечание 8.

Речь идет о классических диспутах вокруг "свободы воли" ("индивидуальной свободы" в более осторожной формулировке) и "существования других"

Вебер в статье "Смысл 'свободы от оценки'" предпочитает использовать примеры истин логики и математики, в частности, таблицы умножения, пытаясь развить довольно противоречивую идею о том, что нечто объективное, "нормативно-значимое" и истинное, становясь объектом эмпирического исследования, превращается в "только *конвенционально* значимую в определенном кругу людей максиму практического поведения" [9, с. 591]. Вероятно, эта отчаянная попытка защитить социальные науки от сползания к "метафизическим спекуляциям" о природе надличных истин и ценностей была бы более успешной, если бы Вебер был знаком с трудами своего старшего современника, гениального логика Г. Фреге, который именно на примере логических и математических сущностей — чисел, пропозиций, таблицы умножения и т. п. — первым отчетливо обосновал идею о том, что эти сущности не обладают, с одной стороны, объективностью вещей материального мира и не являются, с другой стороны, какими бы то ни было "ментальными сущностями", предполагающими наличие носителя, сознанию которого они могли бы принадлежать. Вместе с тем они вполне реальны, образуя "третью область", объекты которой нисколько не зависят от того, считает ли их кто-то истиной, благом, конвенцией или "конструкцией" (Die Grundlagen der Arithmetik. Eine logisch-matematische Untersuhungen über den Begriff den Zahl. 1884; Der Gedanke: eine logische Untersuhung (1918). Logik in der Mathematik. 1914) [59].

В той же работе 1911 года "Ценностные и 'реальные' суждения" [29, с. 286–304] Дюркгейм отчетливо формулирует тезис о возможности и необходимости социологического изучения ценностей, связывая нормативный характер воздействия ценностных идеалов именно с их надличным характером. В частности, он пишет: "Как человек я могу отличаться весьма сомнительными нравственными качествами, но это не может помешать мне признавать нравственную ценность там, где она есть. По своему темпераменту я могу быть равнодушен к радостям, доставляемым искусством, но это не значит, что я должен отрицать существование эстетических ценностей. Таким образом, все эти ценности существуют, в некотором

смысле, вне меня" [с. 287]. "Местом" этих идеалов и является коллективное сознание. Воздействующие на индивидов "нравственные силы" могут быть изучены и даже измерены, но не могут быть сведены к утилитарной пользе для индивидов или общественного организма, поскольку они автономно побуждают индивидов к произвольным действиям: "Самые высокие добродетели состоят не в регулярном и строгом выполнении действий, необходимых для хорошего социального порядка, они созданы из действий свободных и самопроизвольных, из жертв, к которым ничто не принуждает и которые иногда даже противоположны предписаниям мудрой упорядоченности. Существуют добродетели, являющиеся безумствами, и именно их безумие придает им величие. Спенсер сумел доказать, что филантропия часто противоречит очевидному интересу общества, но его доказательство не помешает людям очень высоко оценивать осуждаемую им добродетель" [там же, с. 292].

Правда, в качестве эндогенных переменных содержательной теории альтруизм и эгоизм (часто в кавычках) охотно используются современными социобиологией и теорией рационального выбора, но уже в качестве собирательных терминов для "немаксимизирующих" поведенческих стратегий, объясняемых фундаментальными категориями инструменталистской теории действия – "родственным отбором" "выгодами обобщенного обмена" и т. д. (*см. с. 245–252 наст. изд.*).

С проистекающей отсюда опасностью смешения, "конфляции" с субъективизмом как идеализмом, чего, в частности, не вполне избежал даже Дж. Александер, реконструировавший теоретическую логику Парсонса (*см. далее*).

Интенционализм — наиболее точная характеристика теорий, исходящих из направленности действия на некий предмет сознания, "интенциональный объект". Эту неоднозначную конструкцию ввёл в философию Ф. Брентано (Psychologie vom empirischen Standpunkt. Leipzig, 1874). Бретано полагал, что интенциональность как "направленность на некий объект" — важнейший критерий, позволяющий отличить ментальное от физического. Однако при этом он считал, что этот объект ("интенциональный объект") не обязательно является реально существующим. Таким образом, суждения, желания, значения определяются уже не применительно к актуально или потенциально существующим объектам, а применительно к конституируемым самим интенциональным актом и несколько призрачным "подразумеваемым" объектам. Несмотря на последовавшую попытку Гуссерля уточнить границу между ментальным актом и его объектом, почти вся наследовавшая Брентано и Гуссерлю феноменологическая традиция осталась во власти идеи — увлекательной, но ложной,— что относительно так определенных "чисто ментальных" сущностей можно высказывать осмысленные

суждения, иметь желания, "соотноситься" с ними и т. д. Наиболее существенно эти идеи повлияли на феноменологическую социологию, приняв наиболее крайние и мистифицированные формы в теориях "конструкционизма"

В указанной главе ("Вилфредо Парето-II. Расширение и верификация структурного анализа") Парсонс приступает к обоснованию собственного — холистского и идеалистского — решения проблемы нормативности. В своей небесспорной интерпретации Парето он настаивает на том, что критика Парето утилитаристской концепции "общественной полезности" (*см. с. 218 наст. изд.*) подразумевает на деле признание последним существования интегрированных "предельных целей" общества. Эти интегрированные "цели общества" ("предельные ценности", как часто именовал их сам Парсонс [см.: 23, с.46]) являются, по мнению Парсонса, единственным корректным решением *"утилитаристской дилеммы"* позитивистски мыслящего социолога. Последний вынужден либо постулировать "активность актора в выборе целей как независимый фактор в действии", то есть случайный характер выбора цели (что, с точки зрения Парсонса, абсурдно), либо превращать выбор цели в детерминированный элемент ситуации действия, сводя, таким образом, цель к средствам или условиям "единичного акта" (в условных обозначениях, к "наследственности" или "среде"). Предлагаемое же "единство цели", по мысли Парсонса, не только обходит описанную дилемму, но и позволяет решить проблему "гетерогенности межиндивидуальных предпочтений" и ввести некую "единую шкалу" для упорядочения социальной политики с точки зрения "целей общества", обладая к тому же логическим преимуществом над Гоббсовым решением, постулирующим, вопреки его же собственным предположениям о природе естественного состояния, "тождество интересов" в момент заключения общественного договора [243, vol. 1, p. 237–238, ff.]. Так Парето оказывается, наряду с Дюркгеймом, автором того, что Парсонс называет "социологистической теоремой": общество является реальностью sui generis и обладает свойствами, нередуцируемыми к свойствам индивидов (то есть постулируется существование общих целей, или "общей *системы* целей", которые не могут быть выявлены, когда действие анализируется на индивидуальном уровне [243, vol. 1, p. 248–249]).

[18] Как нередко бывает у Парсонса, этот ключевой для понимания всей его концепции "схематический обзор системных типов в теории действия", вынесен в "Примечания" ко второй главе первого тома его "Структуры социального действия" [243, vol. 1, p. 77–84].

В качестве альтернативы, отмечает Александер, приходится использовать "вызывающий сожаление своей неуклюжестью термин: нерациональность" [70, p. 76].

Очевидно, что идеал или принцип, определяющий и обосновываю-

щий интенциональное действие, не может быть сведён к эксплицитной или имплицитной норме (правилу), предписывающей *способ действия*. Напротив, всякая норма или конкретное приложение нормы представляет собой более или менее удачную интерпретацию целевого принципа (например, принципа равенства или справедливости) применительно к контингентной "ситуации" (см., в частности, [231]). Яркий пример такого понимания соотношения морального или правового принципа и его интерпретации — талмудическая традиция и институт "суда справедливости"

Более того, наиболее радикальная версия либертарианизма (представления о том, что свобода воли — это возможность для индивида с неизменным набором субъективных и объективных детерминант действия "поступить иначе" в одной и той же ситуации) логически совместима с самыми жёсткими версиями детерминизма и моральной ответственности [289]: нет смысла говорить о собственно моральной ответственности в индетерминистском мире, где выбор целей по-настоящему случаен (поскольку такая концепция "выбора", как видно из вышеприведенного замечания Парсонса (см. прим. 17), по определению абсурдна. Кроме того, собственно моральная ответственность как результат морального выбора предполагает именно *абстрагирование* от какой бы то ни было внутренней или внешней детерминации выбора— "средой" или "наследственностью" (но, повторимся, отнюдь не отсутствие такой детерминации).

Холистские либо с точки зрения онтологии (например, критический структурализм), либо с точки зрения методологии (структурная антропология).

Однако некоторые классические и новейшие "синтетические" версии структурализма принимают принцип *методологического индивидуализма*, то есть предположение о том, что структурные и реляционные свойства социальных явлений, в принципе, могут быть объяснены действиями, целями, свойствами и т. п. отдельных индивидов. Такой точки зрения, в частности, придерживался один из основателей британской социальной антропологии А. Радклифф-Браун; она же лежит в основании теории структурации Э. Гидденса, предлагающей версию "синтеза" по сути интерпретативной теории действия с некоторыми элементами структуралистской модели объяснения упорядоченности социального мира.

РАЗДЕЛ II

СОЦИАЛЬНОЕ ДЕЙСТВИЕ: СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ ТЕОРИИ ЦЕЛЕНАПРАВЛЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРАКТИЧЕСКОЙ РАЦИОНАЛЬНОСТИ

ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ВВЕДЕНИЕ: ИСТОКИ КОНЦЕПЦИИ ИНТЕНЦИОНАЛЬНОГО ДЕЙСТВИЯ

Типичные социологические определения человеческого действия так или иначе включают в себя указание на направленность действия на некоторую цель, то есть на характеризующую действие в качестве такового *интенцию*, а также на устанавливаемое с помощью рассудка соотношение между интенцией и избранными средствами, определяющее *рациональность* действия с точки зрения имеющихся у действующего субъекта знаний, объективных возможностей и средств. При этом в интерпретативных теориях деятельности, о которых пойдет речь *в части А* данного раздела, исходной и конститутивной для социального действия считается именно субъективная интенция, а натуралистские теории практической (инструментальной) рациональности, рассматриваемые в *части Б*, объясняют действия и саму их интенциональность прежде всего через знания (обоснованные убеждения) действующих субъектов о своих объективно определяемых индивидуальных целях-интересах и возможностях-ресурсах, то есть исходят из того положения, что смысл действия может и должен идентифицироваться объективно, если мы вообще способны отличить имеющие смысл действия от случайных и необдуманных поступков, с одной стороны, либо намерений, ретроспективных интерпретаций или заведомых фантазий — с другой.

Эта фундаментальная особенность социологического мышления без труда может быть проиллюстрирована не только классическими определениями социального действия, но и выдержками из словарных и энциклопедических статей наших дней (ср., например: "Некто совершает действие, когда то, что он делает, может быть описано как преднамеренное (intentional). Действия — это практические заключения, выводимые из

интенций и убеждений: "действие" и "рациональность" взаимосвязаны" [105]). Однако истоки этой особенности значительно старше собственно социологической точки зрения, анализировавшейся в разделе I настоящей книги. Практический силлогизм Аристотеля, установивший необходимую связь между: (1) обоснованными убеждениями действующего субъекта относительно способов достижения блага, (2) существующим положением дел и (3) рациональным, то есть разумным, способом действия, стал первым внушительным подтверждением возможности судить о реально совершаемых людьми поступках, исходя из вполне формальных критериев логического вывода, точно так же как мы судим о теоретических высказываниях. Аристотель не видел противоречия в том, чтобы рассматривать человеческие поступки в качестве *и* логически выводимого, *и* причинно обусловленного результата совместного действия желаний и убеждений. Более того, именно способность от правильного суждения о том, что хорошо или необходимо для действующего ("большая посылка"), дополненного суждением о том, как обстоят дела ("малая посылка"), перейти к практическому действию-выводу Аристотель и воспринимал как определяющую особенность человеческого поведения (отсюда трактовка человека как "рационального животного" обладающего и правильными представлениями, и желанием блага)[1] Известные даже обыденному сознанию трудности, с которыми сталкивается постулированная таким образом практическая рациональность, прежде всего, возможный релятивизм оценок наибольшего блага и "каузальная неэффективность" наилучшего суждения[2], Аристотель попытался преодолеть с помощью двух специальных концепций.

Во-первых, практическая рациональность требует тренировки и обучения, так что молодой человек лишь постепенно приобретает способность решать, что составляет благо в конкретной ситуации и как конкретное благо соотносится с благом как таковым. Иными словами, способность конкретного человека к правильному практическому суждению — фронезис, практический ум (отличаемый от эпистемы, научного знания) — предполагает определенную опытность со стороны данного индивидуума[3] Во-вторых, Аристотель признавал, что правильное суждение далеко не всегда является необходимым

и достаточным условием для осуществления соответствующего поступка, однако предполагал, что источником этой трудности является не сама предложенная им модель объяснения действия, а индивидуальное качество — непоследовательность ("невоздержность в русском переводе Н. В. Брагинской), акразия[4] Непоследовательный человек обуреваем находящимися вне его контроля страстями, так что его знание о том, что является благом, просто не оказывает на него соответствующего каузального влияния. Аристотель, по-видимому, первым осознал и специфические трудности, которые ставит перед моделью действия как практического вывода из логических посылок возможность добросовестного или недобросовестного принятия ложных посылок-убеждений — трудности, которые, как будет показано далее, уже в наше время сыграли решающее значение в формировании позиции радикального "конструкционизма" в социологии. Однако он предпочёл трактовать эти трудности как результат использования заведомо софистических приёмов в теоретическом рассуждении: "Кроме того, трудный вопрос ставит софистическое рассуждение. Действительно, из-за того, что софисты хотят заставить принять парадоксы, чтобы, когда это удастся, [вызвать удивление] своей изобретательностью, — из-за этого полученный силлогизм и являет собой неразрешимую трудность. В самом деле, мысль связана, когда из-за неудовлетворенности выводом держаться его не хочет, а идти дальше не может, потому что неспособна опровергнуть [это] рассуждение. При одном [софистическом] рассуждении выходит, что безрассудство (aphrosinē) вкупе с невоздержностью есть добродетель. Действительно, от невоздержности человек совершает поступки, противоположные [его собственным] представлениям, а [от безрассудства] ему представляется, что добродетельные [поступки] порочны и совершать их не следует, и, значит, он будет совершать поступки добродетельные, а не порочные" [4, 1146a 21–30][5] Наконец, Аристотель осознавал, что и способность осуществить правильный логический вывод, и последовательность в переходе от рассуждений к поступкам не всегда ведут индивида к благу, поскольку последний ещё должен находиться в правильных отношениях с собственным практическим разумом: "Действительно, в обладании (to ekhein) [знанием] без применения мы

видим уже совсем другое обладание (hexis), так что в каком-то смысле человек знанием обладает, а в каком-то не обладает, как, скажем, спящий, одержимый или пьяный. Однако именно таково состояние (hoytō diatithentai) людей, охваченных страстями. Ведь порывы ярости, любовные влечения и некоторые [другие] из таких [страстей] весьма заметно влияют на тело, а у некоторых вызывают даже помешательство. Ясно поэтому, что необходимо сказать: невоздержные имеют склад (ekhein), сходный с [состоянием] этих людей. Если высказывают суждение, исходящее из знания, это отнюдь не значит, что им обладают, ведь и охваченные страстями проводят доказательства и произносят стихи Эмпедокла; начинающие ученики даже строят рассуждения без запинки, но ещё и без всякого знания, ибо со знаниями нужно срастись, а это требует времени. Так что высказывания людей, ведущих невоздержную жизнь, нужно представлять себе подобными речам лицедеев" [4, 1147a 11–24].

При всех оговорках и уточнениях аристотелевская теория действия была лишь первой логической формализацией того фундаментального предположения, на котором основаны практически все обыденные объяснения поступков, а также многие философские и научные теории действия — предположения о том, что поведение людей определяется совместным воздействием их желаний и обоснованных представлений (убеждений) относительно возможных способов достижения желаемого в той или иной ситуации.

На философском жаргоне такие объяснения часто именуют интенциональными, так как желания и убеждения формируют намерения (интенции), привязанные к осознаваемому объекту действия либо воображаемому состоянию его завершения. Концепции деятельности и инструментальной рациональности, рассматриваемые в данном разделе, описываются практическим силлогизмом, используются во многих теориях социального действия, и относятся, таким образом, к более широкому классу интенционалистских моделей объяснения человеческого поведения. Понятие "интенциональности" подразумевает, в конечном счете, что действие детерминировано внутренней сознательной репрезентацией цели или желаемого положения дел и может быть объяснено, предсказано, понято лишь в соотнесении с этой внутренней репрезентацией. Соот-

ветственно, интенциональные теории действия являются телеологическими.

Разумеется, существуют и различия в трактовке понятия интенциональности, преимущественно связанные с более или менее жестким отождествлением "интенционального" с "сознательным" или "психическим" вообще[6] Однако мы будем говорить об этих различиях лишь применительно к конкретным моделям социального действия. В качестве примера приведем две характерные относительно недавние дефиниции:

"Понятия интенциональности и интенционального поведения неотделимы от любого адекватного анализа значения (и, таким образом, от любого адекватного анализа природы и значимости того, что можно определить как первичное лингвистическое поведение) в силу того способа, которым они связаны со способностью адаптации или интерпретации поведения 'применительно к' или 'в соответствии с' требованиями нормы или правила. Это, в свою очередь, привязано к определенной концепции субъекта — субъекта, могущего произвольно принимать дискурсивную роль первого, второго или третьего лица, и обладающего внутренне ему присущей способностью индивидуации самого себя посредством поддержания во времени интегрированного образа *Я*... Таким образом, мы приходим к такому понятию интенциональности, посредством которого события, случающиеся в данный момент времени, должны мыслиться как отчасти предопределенные через отсылку к тому, что может иметь место в возможный будущий момент времени..." [221, p. 59–60]. "Внутренне присущие субъекту (intrinsic) интенциональные состояния, как сознательные, так и бессознательные, всегда обладают аспектуальными формами... Воспринимая что-то или думая о чем-то, мы всегда делаем это относительно одних, а не других аспектов воспринимаемого. Эти аспектуальные свойства очень существенны для интенциональных состояний, так как они часть того, что делает интенциональное состояние ментальным" [275, p. 156–157].

Следует заметить, что предложенная Аристотелем трактовка рационального действия систематизировала и уточняла описание интенционального действия, данное Платоном в знаменитом отрывке из диалога "Федон", где Сократ полемизирует со взглядами Анаксагора:

...Ум у него [Анаксагора] остается без всякого применения и... порядок вещей вообще не возводится ни к каким причинам, но приписывается — совершенно нелепо — воздуху, эфиру, воде и многому иному. На мой взгляд, это все равно, как если бы кто сперва объявил, что всеми своими действиями Сократ обязан Уму, а потом, принявшись объяснять причины каждого из них в отдельности, сказал: "Сократ сейчас сидит здесь потому, что его тело состоит из костей и сухожилий, и кости твердые и отделены одна от другой сочленениями, а сухожилия могут натягиваться и расслабляться и окружают кости — вместе с мясом и кожею, которая все охватывает. И так как кости свободно ходят в своих суставах, сухожилия, растягиваясь и напрягаясь, позволяют Сократу сгибать ноги и руки. Вот по этой-то причине он и сидит теперь здесь, согнувшись" И для беседы нашей можно найти сходные причины — голос, воздух, слух и тысячи иных того же рода, пренебрегши истинными причинами — тем, что раз уж афиняне почли за лучшее меня осудить, я в свою очередь счел за лучшее сидеть здесь, счел более справедливым остаться на месте и понести то наказание, какое они назначат. Да, клянусь собакой, эти жилы и эти кости уже давно, я думаю, были бы где-нибудь в Мегарах или в Беотии, увлеченные ложным мнением о лучшем, если бы я не признал более справедливым и более прекрасным не бежать и не скрываться, но принять любое наказание, какое бы ни назначило мне государство.

Нет, называть подобные вещи причинами — полная бессмыслица. Если бы кто говорил, что без всего этого — без костей, сухожилий и всего прочего, чем я владею, — я бы не мог делать то, что считаю нужным, он говорил бы верно. Но утверждать, будто они причина всему, что я делаю, и в то же время что в данном случае я повинуюсь Уму, а не сам избираю наилучший образ действий, было бы крайне необдуманно. Это значит не различать между истинной причиной и тем, без чего причина не могла бы быть причиною [50, 98c-e—99a-b].

Аристотель, однако, предложил несколько иную трактовку практической рациональности, более явно увязав цели и интенции отдельного действующего с объективными критериями блага, а индивидуальное благо — с благом вообще. Кроме того, он увязал разумные действия с обоснованными разумными убеждениями, тогда как платоновская трактовка интенциональнос-

ти, судя по приведенному отрывку, в принципе допускала возможность поведенчески-эффективного стремления к ложным, воображаемым или несуществующим целям[7]

Заметим, что современные интенционалистские модели объяснения поведения не всегда строятся в соответствии с традициями эмпирической науки. В некоторых из них перспектива эмпирического научного исследования, ориентированного на формулировку теоретических закономерностей в области социальных наук, вовсе не предполагается, поскольку цель их объяснения сосредоточена не на отношениях между фактами-"положениями дел", а на логических отношениях между идеями. Иными словами, в таких моделях объяснения отвергается позиция так называемого эпистемологического эмпиризма в пользу эпистемологического рационализма. (Обсуждение этих моделей останется преимущественно за рамками данной работы, так как они не затрагивают вопрос о возможности создания собственно социологической теории действия, способной дать причинное объяснение наблюдаемого разнообразия человеческих поступков [см.: 312; 314].) В данном разделе основной предмет нашего рассмотрения составят теории целенаправленной деятельности и инструментальной рациональности, сохранившие преемственность по отношению к аристотелевской концепции и принимающие ее ключевой тезис:

> Для того чтобы служить адекватными объяснениями действия, желания и убеждения действующего должны не только рационализировать социальное действие, но и быть его эффективными причинами.

Этот тезис подразумевает принципиальную возможность создания телеологических теорий разумного поведения, описывающих практическую деятельность людей на основе эмпирически проверяемых общих законов, которые соответствуют правилам логического вывода и оперируют понятиями желаний, убеждений и намерений действующих. Слегка переформулировав это положение, можно получить более знакомую характеристику интерпретативных и рационалистских теорий: они рассматривают описания целеориентированного действия в терминах убеждений и желаний действующего в качестве законов, определяющих наблюдаемое поведение людей.

Последнее положение довольно долго воспринималось оптимистически, как залог того, что рано или поздно будут созданы формальные, пропозициональные и даже строго математические модели целенаправленного человеческого поведения. Первые же модели такого рода, разработанные усилиями статистиков и экономистов к концу XIX века, обнаружили критическую зависимость от содержательных, а не формальных критериев рациональности целей и убеждений действующих субъектов, то есть от решения вопроса о том, *что* следует считать благом. Вопрос о рациональности (либо иррациональности) впервые стал формулироваться как вопрос, разрешаемый эмпирическими средствами, а не в результате применения внеэмпирических нормативных критериев дискурсивной согласованности, логической имплицируемости и т. п. Иными словами, оказалось, что оценка поведения как рационального, так и иррационального требует не только соотнесения с каким-то формальным нормативным критерием, но и приписывания действующим объективных целей, ценностей и интересов. Общеизвестными проявлениями этой фундаментальной трудности стали дискуссии вокруг понятия "полезности" в экономике, понятия "мотива" (цели) в правоведении и понятия "идеологии" в социальных науках.

Здесь необходимо некоторое уточнение. Разумеется, философская доктрина несоизмеримости интенциональных и каузальных описаний деятельности субъекта, характерная для европейской традиции Нового времени, была отчетливо сформулирована уже И. Кантом[8] Однако осознание этой несоизмеримости как практической и теоретической проблемы, стоящей перед всяким эмпирическим исследованием человеческого поведения, относится к середине XIX века, то есть к периоду институциализации социальных наук. Видимо, самые ранние дискуссии вокруг проблемы несоизмеримости рациональных оснований (мотивов) действия и его причин возникли в среде правоведов. Характерные для либеральных теоретиков права взгляды относительно условий наступления правовой ответственности в судебной практике, правовой причинности, возможности приписывания мотивов и "объективного интереса" и т. п. (в особенности взгляды Р фон Иеринга) оказали формативное воздействие на выдвинутый М. Вебером подход к

объяснению социального действия, а также предложенные им классификацию видов действия и концепцию "идеальных интересов" [см.: 303], и, возможно, на концепцию логических и нелогических действий В. Парето. Под впечатлением правоведческих, а также экономических и социально-философских дискуссий Вебер ограничил сферу социологических интерпретаций поведения инструментально рациональными действиями, ориентированными на сугубо тактические цели (и, кстати, указал на прочные биологические корни действий привычных или аффективных), а Парето ограничил сферу приложения самого "практического силлогизма" теми скорее немногочисленными ситуациями, когда наблюдатель может объективно реконструировать цели действующего, тем самым отнеся все поступки, для которых нельзя задать объективный критерий приписывания цели, к "нелогическим"

Проблематика практической рациональности, ее фактического (то есть непрескриптивного) описания и определения соответствующих такому описанию критериев объективного приписывания рациональности индивидуальным событиям (поступкам) и отдельным агентам действия оказались в центре разгоревшегося к концу XIX — началу XX века "Диспута о Методе" предопределившего привычный нам облик социальных наук. Ставкой в этом споре была сама возможность основанного на теории и эмпирическом подтверждении исследования социального поведения, ведущего к открытию объясняющих и, возможно, предсказывающих его законов.

Именно в вопросе о возможности основанной на номологических обобщениях и на обладающих проверяемым эмпирическим содержанием теориях социальной науки, а отнюдь не в вопросе о единстве либо различии методов социальных и естественных наук (в принципе не поддающемся осмысленной интерпретации в силу отсутствия какого-то единого "метода" даже в различных естественных науках) и возникли принципиальные расхождения между сторонниками "исторической школы" и последователями теоретической политэкономии, послужившие первопричиной "Диспута" [см.: 23]. Именно необходимость обосновать возможность общих законов и теорий, описывающих рациональное социальное действие, вызвала широко известную веберовскую критику историцизма В. Ро-

шера и К. Книса, обозначившая отход Вебера от позиций "исторической школы", предлагавшей такие модели объяснения действия, в которых "...мы постоянно обнаруживаем ссылку — явную либо неявную — на 'непредсказуемость' индивидуального поведения. Утверждается, что это положение дел является следствием 'свободы' — решающего источника человеческого достоинства и, соответственно, надлежащего предмета исторического исследования. При этом проводится различие между 'творческой' ролью действующей личности и 'механической' причинностью естественных событий" [310, p. 97–98].

Это различие Вебер признал ложным или, во всяком случае, эпистемологически иррелевантным, с точки зрения его концепции телеологического причинного объяснения значимого действия, в котором рациональность средств оценивается объективно, хотя и относительно данного состояния знаний (обоснованных убеждений) и данного выбора ценностей-целей: "Даже эмпирически 'свободный', то есть действующий на основании предварительного размышления деятель телеологически ограничен средствами достижения своих целей, которые, варьируя в зависимости от объективной ситуации, являются неэквивалентными и познаваемыми" [310, p. 193].

Определенная таким образом область социальных наук оказывалась областью инструментально-рациональной, то есть идентифицируемой относительно средств деятельности. (Однако заметим, для традиционных и аффективных действий Вебер считал возможным лишь ненаучное actuelles Verstehen).

"Диспут о Методе" вместе с более поздними дискуссиями по проблемам интенциональности, рациональности и причинной детерминации действия, во многом определившими проблематику социальных наук, логики и философии в XX столетии, привели к осознанию и внятной формулировке некоторых принципиальных трудностей (как формально-логических, так и носящих содержательный характер), возникающих при объяснении деятельности моделями инструментальной рациональности и, шире, интенционалистскими. В разделе III настоящей книги будет дан краткий анализ этих трудностей в силу их критичности для всех моделей рационального объяснения социального действия и, в частности, для большей части собственно интерпретативных теорий субъективно-целесообразного

действия, а также в силу того, что эти модели и теории — полностью или частично и с бо́льшим или меньшим успехом — разрабатывались для преодоления этих трудностей.

В *части А* данного раздела будут проанализированы интерпретативные теории деятельности XX века, ставившие своей целью объяснение действия в категориях его субъективного смысла, определяемого точкой зрения действующего, либо конструируемого и реконструируемого в ходе социального взаимодействия двух или более действующих, то есть речь пойдет о теориях субъективно-рационального действия. *Часть Б* будет посвящена теориям "объективной" практической рациональности, объясняющим интенциональное действие в терминах его объективно идентифицируемых целей-интересов и значимых способов (паттернов) практического исполнения, задаваемых внешней по отношению к актору ситуацией действия[9]

А. ИНТЕРПРЕТАТИВНЫЕ ТЕОРИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

В данном подразделе речь пойдет об интерпретативных теориях деятельности, основанных на идентификации субъективного смысла действия, его "(экзистенциального или феноменологического) значения для вовлеченного в действие актора или акторов" [113, p. 74], а также о некоторых "синтетических" теориях действия, сочетающих ретроспективную реконструкцию смысла с анализом процессов "переговорного" конструирования смысла и рациональности человеческих поступков в ситуации социального взаимодействия, интеракции (Дж. Г Мид, Х. Гарфинкель, И. Гофман, Э. Гидденс). Напомним, что под "деятельностью", или "целенаправленным действием" нами подразумевается фундаментальное понятие социологической теории, описывающее взаимосвязь между ментальными событиями, происходящими в сознании действующего (обычно — индивида), и внешними, поведенческими событиями в наблюдаемом мире. Теории деятельности используют и исследуют объяснительные возможности человеческой субъективности как свойства быть источником целенаправленной деятельности. Характерная для этих теорий логика объяснения социального мира предполагает движение от смысла, придаваемого субъектом собственному поведению, то есть от субъективных оснований, мотивов, резонов действующего, к возможности коммуникации и координации индивидуальных действий и, наконец, собственно к возможности возникнове-

ния интерсубъективного социального мира. Ключевой вопрос, стоящий перед теориями деятельности: как из взаимодействия индивидуальных сознаний возникают коллективный порядок и обладающие регулятивной силой социальные институты? Второй фундаментальный вопрос, со способностью ответить на который связана "объяснительная сила" теорий деятельности, имеет более общий характер: как и при каких условиях вообще возможна причинная детерминация наблюдаемого поведения людей содержанием их сознания — убеждениями, интенциями, определениями ситуации и т. п.?

ГЛАВА 4

"КЛАССИЧЕСКИЕ" ИНТЕРПРЕТАТИВНЫЕ ТЕОРИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

М. Вебер и концепция "социального действия"

Теории деятельности нашего времени тесно связаны с теориями "классического" периода, поэтому понимание их специфики требует, по крайней мере, краткого обзора ключевых теоретических идей и аргументов, составивших интеллектуальный фон и концептуальный "арсенал" более поздних разработок. В ряде случаев (Г Зиммель, Дж. Г Мид) нас интересует не столько завершенная интерпретативная теория деятельности, сколько некоторые ключевые идеи, повлиявшие на упомянутые разработки и реконцептуализации (например, природа "*Я*", символическое поведение и групповое взаимодействие у Мида, "социация" у Зиммеля), но по меньшей мере в одном — мы имеем дело с последовательной и цельной социологической теорией деятельности, основанной на фундаментальных представлениях о природе, источнике и типах действия, а также о доступных социальным наукам методах его исследования и объяснения.

Классическая формулировка интерпретативной теории деятельности в социологии была дана Максом Вебером [см.: 9, с. 602; 311, p. 4], который определил социологию как науку, нацеленную на "истолковывающее понимание" социального действия и, следовательно, "причинное объяснение его способа и последствий" При этом Вебер сделал предположение о том, что причины человеческих поступков могут быть объяснены лишь через понимание субъективного смысла действия и, более того, собственно причины поведенческих событий входят в "*правильное* каузальное толкование конкретного *действия*" лишь в той мере, в какой они помогают понять смысловое, логическое со-

ответствие между способом действия и его мотивами [9. с. 612]. Иными словами, сознательное смысловое отношение "цель — средства", определяющее чистый, или "идеальный" тип объясняемого действия, во-первых, а также волевое усилие, необходимое для поведенческого исполнения этого отношения, во-вторых, являются для Вебера необходимыми и достаточными причинами действия, тогда как объяснительный статус любых "внешних", нементальных причин (от неосознаваемых психофизических закономерностей до не входящих в сознательные "предпосылки" действующего социально-исторических условий или институционального контекста индивидуального действия) связан с их способностью или неспособностью объяснить наблюдаемые отклонения от воплощения чистой "субъективной интенции" в мире "природных" причин и следствий.

Приводимый Вебером пример "каузальной редукции" в объяснении отдельных исторических событий хорошо иллюстрирует последний тезис: чтобы понять протекание военной кампании 1866 года, необходимо прежде всего установить, как расположили бы свои войска Мольтке и Бенедикт, обладая тем, что ныне в теории игр называют "полной информацией" о собственной ситуации и ситуации противника, и лишь затем причинно объяснить тот "остаток" в реальном положении дел, который не описывается данной идеальной конструкцией: "Затем с этой конструкцией сравнивается фактическое расположение войск в упомянутой кампании, чтобы посредством такого расположения каузально *объяснить* отклонение от идеального случая, которое могло быть обусловлено ложной информацией, заблуждением, логической ошибкой, личными качествами полководца или нестратегическими факторами" [9, с. 624].

И хотя в реальной жизни полностью рациональное поведение и отчетливое субъективное осознание смысла действия являются, как подчеркивает Вебер, скорее редкостью, они, в силу веберовского понимания предмета и целей социологии как генерализующей науки, незаменимы в собственно социологическом объяснении и в процессе образования теоретических понятий в социологии.

Описанные методологические предпосылки веберовской теории действия объясняют и её содержательно-теоретические

особенности: социальный мир, создаваемый интенциональным действием, это прежде всего "мир как воля и представление", в котором детерминировано всё, кроме целей и ценностей самого действия. Сам предмет социологии, осмысленное социальное действие, определяется индивидуальным действующим (в своих методологических работах Вебер неоднократно отмечает, что говорить об осмысленном социальном действии можно лишь применительно к отдельным людям, тогда как коллективные образования для понимающей социологии выступают прежде всего как "представления", существующие в умах отдельных людей [9, с. 507–508, 511–513 и сл.; с. 613–615]. Действие и идентифицируется в своей конкретности ("чтойности"), и объясняется "с точки зрения действующего" (см. *раздел III наст. изд.*), даже в том случае, если последний не имеет внятной для него самого "точки зрения" Такая безусловная и в целом нехарактерная для классической социологической традиции атрибуция "авторства" осмысленного действия, как мы увидим ниже, в немалой степени связана с важнейшим источником веберовской мысли — теорией и философией права, где однозначное приписывание целей индивидуальным субъектам права является необходимым условием решения вопроса о правовой причинности и ответственности.

Многие авторы [см.: 104, p. 49; 113, p. 75–76; 303, p. 7–10] отмечают, что веберовская социологическая теория и типология действия изложены достаточно сложным, "уклончивым" и не поддающимся простой интерпретации теоретическим языком. Причины этой сложности связывают и с оригинальностью веберовской социальной мысли, и, отчасти, с её специфическим и часто игнорировавшимся интеллектуальным контекстом — с правовой традицией, в которой Вебер исходно сформировался как учёный и для которой именно особый язык правовых абстракций является наиболее яркой чертой, отличающей "социальную теорию" права не только от языка других социальных наук, но и от обыденного способа описания действий и взаимоотношений. Рассматривая два "параллельных проекта" — работу Р фон Иеринга "Цель в праве" (1877) и вводные "понятийные" параграфы книги Вебера "Хозяйства и общества" (1922), а также его методологические работы, — С. Тёрнер и Р. Фактор показывают подчас поразительное сходство в их методологи-

ческой ориентации, теоретическом словаре и отдельных определениях, а также совпадения в структурировании изложения. и существенные расхождения, позволяющие лучше понять позицию Вебера в противопоставлении тому материалу, от которого он отталкивался, следуя собственным интеллектуальным целям (цели эти, отметим, также интерпретируются исследователями неоднозначно — от создания новой и своеобразной социологической теории [см.: 176] до последовательного "подрыва" всей классической традиции социального мышления [см.: 303, p. 1–7])[10]

В работе Иеринга, постулировавшего, что "универсум права" конституирован целевым принципом, проблема совмещения телеологического объяснения подлежащего правовой квалификации действия с причинным объяснением последовательности наблюдаемых событий решается с помощью "двухфазовой" теоретической модели. На первой, внутренней, фазе действия индивид рассматривает возможные способы действия (или бездействия). Его воление определяет выбор одной из воображаемых целей в соответствии с представлениями о всех возможных способах действия. Этот выбор цели, как подчеркивает Иеринг, должен быть интеллигибельным — ограничение, сохраняемое Вебером в качестве условия возможности интерпретативного понимания действия. "Телеологическая фаза" действия, управляемая "законом цели" ("невозможно действие без цели, как и следствие без причины"), заканчивается принятием решения действовать определенным образом, после чего действие переходит во внешнюю фазу, подчиненную закону причинности [303, p. 24–25]. С точки зрения "универсума права", таким образом, интенциональным является даже вынужденное действие, совершаемое по приказу или под давлением, поскольку в нем присутствует внутреннее взвешивание и волевой импульс (хотя внешнее давление или приказ могут выступать в качестве "смягчающих вину обстоятельств").

Тёрнер и Фактор пишут: "И причина, и цель играют важную роль в праве, независимо от метафизического вопроса о том, что из них более фундаментально. В традиции римского права, как и в традиции обычного права, правовая ответственность или обязанность возмещения убытков не могут быть приписаны субъекту, пока не удовлетворены некоторые критерии ин-

тенциональности и каузальности. Непреднамеренные последствия и намерения, не имевшие последствий, не влекут того же вида правовую ответственность. Поскольку Иеринг хочет эксплицировать правовое мышление как предсуществующий 'факт' он вынужден найти место для обеих [причины и цели]. И тем не менее он вполне осведомлен об утверждениях психологов относительно природы причинной обусловленности в сфере человеческого — утверждениях, имеющих целью дать 'научный' ответ на вопрос о причинах человеческого действия, не согласующийся с правовой традицией. Если некто утверждает, скажем, в качестве психотерапевта, что преступное поведение взрослого человека представляет собой неизбежное причинное последствие событий раннего детства, то эти события рассматриваются в качестве причин преступления" [303, p. 25–26]. Важно отметить, что хотя конструируемая Иерингом картина координации интенциональных и причинных описаний кажется довольно неубедительной в свете современных психологических теорий мотивации, в которых на смену воле пришли сознательные и бессознательные, аффективные побуждения, она всё же обладает существенным преимуществом с точки зрения правовой теории и практики. Этим преимуществом является возможность включить намерения в каузальную цепь "внешних" событий. Правовой опыт ушедшего столетия как нельзя лучше подтверждает практическую разумность такого подхода, ведь если субъективная цель — намерение — ничем вне себя не детерминирована, то за нее ещё труднее отвечать в правовом смысле, чем за "среду и наследственность"

Вебер, в отличие от Иеринга, предпочитает описывать мотив действия с методологической позиции "постижимого" соотношения между целью и способом действия. Для обозначения этого соотношения он и использует понятие "смысла" действия (gemeinter Sinn). Понимание смысла действия, с веберовской точки зрения, ничем не отличается от понимания смысла логической пропозиции или высказывания естественного языка. Такое "непосредственное понимание" распространяется не только на осознанные и преднамеренные действия, мысли и высказывания, но и на аффективные или привычные поступки. "Мы непосредственно 'понимаем', например, смысл правила $2 \times 2 = 4$, когда мы слышим или читаем его (рацио-

нальное непосредственное понимание мыслей), или гневную вспышку, которая проявляется в выражении лица, междометиях, иррациональных жестах (иррациональное непосредственное понимание аффектов), действие дровосека, человека, протягивающего руку к двери, чтобы закрыть её, охотника, прицеливающегося, чтобы выстрелить в зверя (рациональное непосредственное понимание действий" [9, с. 608]. От непосредственного понимания Вебер отличает объясняющее понимание, привязывающее результаты непосредственного понимания к актуальному мотиву ("почему он это *сделал* именно теперь и в этой связи"). Целью объясняющего понимания в социологии и должно быть постижение "смысловой *связи*, в которую по своему субъективному смыслу входит доступное непосредственному пониманию действие" [9, с. 608–609]. Иными словами, непосредственное понимание предполагаемого общего смысла как будто гарантировано (обыденным знанием), тогда как объяснение требует предположений о "каузальной значимости" субъективного смысла действия, то есть формулировки и проверки гипотез относительно причинной связи между типичной мотивацией и поведением. Как пишет Вебер: "...здесь, как и при любой другой гипотезе, необходимую верификацию смысла и его истолкования, даёт результат, фактический ход событий" [9, с. 610]. В этом различении, собственно, и заключается самая суть веберовской модели объяснения действия, ставшей прототипом всех интерпретативных теорий действия в социологии. Весьма неоднозначный и отчасти просто вводящий в заблуждение характер этого различения позволяет понять одну фундаментальную трудность, с которой сталкиваются теории этого типа. Для этого нужно лишь присмотреться к "непосредственному пониманию", выступающему безусловной основой для всякого дальнейшего социологического объяснения, чтобы увидеть, что в такой обманчиво простой идентификации очевидного значения действия (или высказывания) нет ничего непосредственного. Более того, она сама является некоторым результатом предшествующего объяснения того, "почему он это сделал" Достаточно подумать о возможности непосредственного понимания смысла следующего простого правила: $f' \ln x = 1/x$ для того, кто в своё время не изучал основы математического анализа, или возмож-

ности непосредственного усмотрения конвенционального "открывания двери" человеком, никогда не видевшим дверей. В основе обманчиво элементарных смысловых конвенций естественного языка, математики или повседневного поведения лежит "забытая" история объяснений, описывающих реальные каузальные связи в области домостроения или исчисления бесконечно малых величин, — объяснений, которые в любом данном случае тоже могут оказаться истинными или ложными, каузально значимыми или нет. За конвенциями и правилами спрятаны высказывания о фактах. В этом смысле "непосредственное понимание" является не столько непосредственным, сколько "опривыченным", и нуждается в верификации не меньше, чем основанное на нем объясняющее понимание. Проверка любых гипотез о смысловой связи, в которую по своему субъективному смыслу входит "вот этот" способ действия, определяемая Вебером в качестве условия правильного (адекватного) каузального толкования действия, основана не на непосредственном понимании того, *что* за способ действия входит в искомую связь, а на принятии без проверки результатов привычного объяснения, что и ведет к принципиальной неопределенности любых таких интерпретаций (очевидно, что любые гипотезы о том, зачем некто "прицеливается перед выстрелом", заведомо ложны, если он не прицеливается, а, предположим, ведет видеосъемку). Идентификация смысла действия в своей основе оказывается неотделимой от объяснения каузальной значимости мотива в фактическом ходе событий (подробнее о неразделимости интенциональных описаний и объяснений действий см. *с. 275–278 наст. изд.*).

Вебер в значительной мере осознавал эту трудность, ссылаясь на содержащиеся в "Проблемах философии истории" Зиммеля примеры возможных различий в смысле (то есть интенциональной направленности) кажущихся "одинаковыми" поступков, а также разных способов поведения в ситуациях, (ошибочно) воспринимаемых в качестве "однородных", однако он быстро сводит обсуждение этой эпистемологической проблемы к обсуждению психологических механизмов "борьбы мотивов" и признанию лишь вероятностного характера верификации любых возможных здесь гипотез о мотивах действия[11]

Ещё одно ключевое различение веберовской теории социального действия проводит границу между рациональными и нерациональными (иррациональными)[12] действиями. Эта граница не абсолютна, поскольку не классифицирует однозначно разные типы действия (Вебер отмечает, что и аффективные, и традиционные действия могут в ряде случаев приближаться к ценностно-рациональным [9, с. 628]). Иными словами, речь идет о некотором континууме, на одном полюсе которого находится нерациональное, то есть нерефлексивное или чисто реактивное поведение, а на другом — рациональное действие, основанное на осознанном определении направленности действия и разумно (с точки зрения представлений субъекта об адекватных средствах планируемой реализации этой направленности) [9, с. 495–506]. Как отмечает Р. Брубейкер: "В общем, Вебер полагает, что действие становится всё более рациональным в наиболее широком значении этого слова: во всё большем диапазоне ситуаций действие обнаруживает тенденцию быть скорее преднамеренным и сознательным, чем нерассуждающе традиционным или слепо эмоциональным. Однако если рациональность социального действия и возрастает, оно всё же не становится преимущественно рациональным. Субъективная рациональность индивидуального действия в общем случае не растёт pari passu (равномерно) с объективированной, сверхиндивидуальной рациональностью социальной структуры. Даже в высокорационализированном социальном порядке большая часть действий происходит в "состоянии неотчетливого полуосознания или действительной неосознанности их субъективного смысла... и управляется импульсом или привычкой" [311, p. 21]" [104, p. 50–51]. С этим различением тесно связано и третье важное различение — между объективной и субъективной рациональностью [104, p. 55–60], отчасти уточняющее, отчасти проблематизирующее предыдущее различение (рационального и иррационального действия).

Вебер многократно подчеркивает субъективность критериев рациональности, используемых в оценке адекватности средств действия или "промежуточных" целей целерационального действия [9, с. 495–497, с. 603–604]. Субъективно рациональное действие — предположительно дескриптивное понятие, подразумевающее возможность разумной интерпрета-

ции действия самим действующим в терминах соотнесенности целей и средств (то есть "субъективного смысла" действия). Объективная "правильная" рациональность (Richtigkeitsrationalität) — явно нормативное понятие, связанное с "правильностью", "истинностью" или "научностью" осуществленного действующим соотнесения [9, с. 495–497, 499–502, 509–510, 584–585, 624]. Для Вебера, объективная рациональность является предметом особой заботы "догматических наук — юриспруденции, логики, этики" то есть нормативных теорий действия, тогда как социология остается на точке зрения эмпирических наук и удовлетворяется по возможности объективным описанием субъективного смысла действия [9, с. 603]. В случае целерационального действия с фиксированной целью, определяемого Вебером как "технику" [311, p. 65–67], возможна и объективная оценка соответствия такой "техники" нормативному критерию объективной рациональности, которому соответствует обоснованная научным знанием "техника" достижения той же цели. Допустим, некто решился спрыгнуть с Эйфелевой башни для утверждения ценности человеческой свободы (что будет действием, целерациональным по средствам, но ценностно-рациональным по выбору целей и последствий). Он будет действовать и объективно рационально, если воспользуется для подъёма на башню лифтом, однако реши он воспарить с помощью портативного вечного двигателя, его поведение останется лишь субъективно рациональным. Это пример, демонстрирующий хрупкость очерченных границ между иррациональным и рациональным, с одной стороны, и объективно и субъективно рациональным — с другой (впрочем, и такая граница может иметь для кого-то диагностическое значение). Главная проблема, однако, заключается в том, что всякое описание действия в терминах целей и средств является и неявным его объяснением в терминах убеждений субъекта об уместных целях и средствах поведения — объяснением, которое не так-то легко подвергнуть каузальной верификации, о которой говорит Вебер. Поскольку существует возможность самых разных интенциональных описаний одного и того же "внешнего поведения", любой поступок будет субъективно рациональным по "своим собственным критериям", если приписать актору достаточно абсурдные цели и соответствующие этим целям (со

сколь угодно ложной "точки зрения действующего") средства (подробнее см. *с. 274–280 наст. изд.*). При отсутствии независимых от описания действия критериев такого приписывания, заведомо узкая область субъективно рационального поведения, обозначенная Вебером, начинает угрожающе расширяться[13] (подробнее см. *с. 276–278 наст. изд.*).

Во-первых, Вебер отчасти признает возникающую здесь трудность, делая специальную оговорку относительно того, что ценностная рациональность, то есть не зависящая от возможных издержек ("последствий") ценность целей, "с целерациональной точки зрения... всегда *иррациональна*, и тем иррациональнее, чем больше она абсолютизирует ценность, на которую ориентируется поведение, ибо она в тем меньшей степени принимает во внимание последствия совершаемых действий, тем безусловнее для неё *самодовлеющая ценность* поведения как такового (чистота убеждения, красота, абсолютное добро, абсолютное выполнение своего долга)" [9, с. 630]. Эта оговорка приостанавливает угрожающее расширение универсума субъективно рациональных действий, однако лишь за счёт принимаемого без детального обсуждения ограничения диапазона ценности допустимых целей: веберовское замечание о риске абсолютизации ценности лишь фиксирует избранный "средний диапазон" для её количественной величины, поскольку логически неизбежное предельное убывание фиксированных "внешних издержек" (принимаемых во внимание "второстепенных последствий" действия) относительно ценности достигаемой цели при неограниченном "сверху" возрастании субъективной ценности цели вполне укладывается в целерациональную логику[14] Вообще, в отсутствие содержательных критериев разумности субъективных убеждений, входящих в посылки "практического силлогизма" Веберу приходится опираться на неуловимую "сознательность" производимого расчёта и его формальную рациональность, то есть соответствие истинам логики. Однако истины логики также могут быть однажды подвергнуты субъективной оценке: от субъективной разумности произвольного желания, обеспеченного субъективными же убеждениями о разумных способах его воплощения недалеко и до "приватных" критериев формальной рациональности, то есть до позиции черепахи Льюиса Кэррола, по-своему логич-

но отказывающейся принять необходимый логический вывод, пока ей логически не докажут необходимость принимать истины логики[15]

Во-вторых. Вебер специально оговаривает, что его разграничение субъективно и объективно рационального не может быть применено к случаю субъективно иррационального, но объективно рационального поведения (см. случай 4 *на рис. 7*). Попробуем восстановить контекст веберовских рассуждений. Доказывая, что понимающая социология не есть часть "психологии" Вебер сперва отмечает, что наиболее понятными с точки зрения социологии окажутся "действия, субъективно строго рационально ориентированные на средства, которые (субъективно) рассматриваются в качестве однозначно адекватных для достижения (субъективно) однозначно и ясно поставленных целей" Причем наибольшие шансы "объяснения" существуют тогда, когда выводимые из субъективных представлений ожидания относительно поведения объектов могут быть обоснованы "значимым опытом (объективной рациональностью правильности)" [9, с. 499–500], то есть наиболее легко поддающимся интерпретативному объяснению оказывается случай 2 — случай субъективной рациональности, поддающейся верификации объективно правильным знанием. (Вебер в этой связи даже упоминает, в видимом противоречии с характерной для него "неокантианской" свободой выбора ценностей, о методологической необходимости конструирования предельного идеально-типического случая данного рационального действия, который имел бы место "при *абсолютной рациональности цели* и рациональной правильности" (*курсив мой — И.Д.*) [9, с. 500].) Более того, он намеренно ослабляет жестко интерпретативную позицию (выражением которой в социальных науках сегодня являются "конструкционизм" или радикальная версия герменевтической доктрины [25, с. 53–58]), отмечая, что: "...в историческом и социологическом исследовании постоянно приходится *также* заниматься и отношением действительного, понятного по своему смыслу поведения к тому, каким оно должно было бы быть по своему типу, *чтобы* соответствовать "значимому" (для самого исследователя) типу — назовём его "правильным" Для определённых (*не* всех) целей исторической и социологической науки тот факт, что субъективно

осмысленное поведение (мышление или действие) ориентировано соответственно правильному типу, в противоречии с ним или приближенно к нему, чрезвычайно важен "сам по себе", то есть вследствие лежащего в его основе "отнесения к ценности". Далее, это обстоятельство обычно оказывается решающим каузальным моментом во внешнем аспекте — для "результата" действий" [9, с. 501][16] Совсем иначе, по мнению Вебера, выглядят современные ему психологические теории, направленные преимущественно "на выявление недостаточно или вообще не замеченных, следовательно, в этом смысле не субъективно рационально ориентированных связей, которые, однако, фактически идут главным образом в направлении объективно "рационально" понятной связи. Если полностью отвлечься от ряда областей исследования так называемого психоанализа, который носит именно такой характер, то окажется, что в конструкции, подобной теории Ressentiment у Ницше, содержится толкование, в котором из прагматической направленности интересов (недостаточно или вообще не замеченной, так как, по вполне понятным причинам, в них «не признавались») выводится объективная реальность внешнего или внутреннего отношения. Впрочем — совершенно в том же (методологическом) смысле, — это делается в опередившей её на несколько десятилетий теории экономического материализма. В подобных случаях субъективная целерациональность (даже если она не замечена) и объективная рациональность правильности очень легко вступают в не вполне ясные взаимоотношения, которыми мы здесь, однако, заниматься не будем. Наша задача заключалась в том, чтобы указать (хотя и неточно), насколько проблематичен и ограничен "чисто психологический" аспект понимания" [9, с. 502–503]. Иными словами, Вебер ограничивает возможность социологического истолкования социального действия, если оно осмыслено (см. случай 4 *на рис. 7*) лишь на уровне объективной глубинной структуры (марксистская теория идеологии, психоанализ) или объективных интересов действующих (ницшеанская "генеалогия морали"). Причина такого ограничения — в нежелании явным образом допустить, что возможна иная трактовка осмысленного действия помимо интерпретативной теории деятельности. Это, конечно, чревато исключением из социологии функциональ-

ных объяснений (см. *с. 124–128 наст. изд.*, а также [23, с. 39–48]), которые с определенными оговорками, Вебер готов принять в качестве "предварительных" для собственно интерпретирующего социологического исследования [9, с. 616–620]. Однако существует спасительная возможность "вменения" субъективной рациональности действия на основании его очевидной рациональной "правильности": "...перед нами незамеченная относительно высокая степень рациональности (в которой не сознаются) поведения, как будто совершенно иррационального по своей цели, — оно "понятно" вследствие этой рациональности"[17] (противоположностью этому, отмечает Вебер, будет случай "адаптивного" превращения субъективно и объективно иррационального поведения в технически "рационально правильное" в изменившихся условиях жизни) [9, с. 503].

Рисунок 7

Соотношение субъективного и объективного в рациональном и нерациональном действии*

	ОИ	ОР
СР	1	2
СИ	3	4

Обозначения:

СР/ОИ — субъективно рациональное и объективно иррациональное (по "технике") действие, например, практическая магия;

СИ/ОИ — нерациональное действие;

СР/ОР — субъективно и объективно рациональное (с точки зрения соответствующей научным представлениями "техники" исполнения при фиксированных целях);

СИ/ОР — субъективно иррациональное и объективно разумное действие, реализующее "интересы" действующего.

Наконец, наиболее ясным представляется проводимое Вебером разграничение между *социальным* и *несоциальным* действием. Критерием здесь выступает не столько причинная зависимость между поступками других людей и поведением индивида (и даже не стратегическое "заимствование" индиви-

дом целесообразных способов действия у других), сколько собственно "ориентация по смыслу" на прошлое, настоящее или впредь ожидаемое поведение "других" [9, с. 625–628][18] Отметим, что позднее А. Шюц подверг критике чрезмерную обобщенность веберовских "других", указав, что термин "другие" в сущности охватывает неопределенную совокупность отдельных лиц и групп, в том числе предшественников, современников, потомков, включая известных действующему лиц или даже тех, о ком он никогда не слышал [266].

А. Коэн отмечает прямую связь между веберовским пониманием социального действия и его концепцией *социального отношения* как соотнесенности по смыслу и ориентации поведения нескольких людей [113, p. 77–78]. Такое отношение не обязательно является взаимным. Оно может быть и "односторонним", если ожидание (установка) индивида по отношению к партнеру не совпадает с его собственными ожиданиями; условием же существования "двустороннего" отношения является рефлексивная соотнесенность его содержания, соответствующая взаимным ожиданиям участников отношения [9, с. 630–633]. Именно долговременное социальное отношение, как справедливо отмечает Коэн, является тем концептуальным звеном, с помощью которого Вебер переходит от индивидуального социального действия к возможности сверхиндивидуальных "максим" — масштабных институциональных порядков, включающих в себя сверхиндивидуальные нормы и правила (которые принимаются индивидами в расчет даже, если осмысленно нарушаются или используются в самых разных целях) — и собственно легитимного порядка, способного стабилизировать паттерны социальных отношений через приверженность ряда индивидов этому порядку. Однако эта приверженность остается "открытой" пересмотрам и существенным образом зависит от индивидуальных смысловых ориентаций. Заметим, что веберовская концепция легитимности неоднократно критиковалась как раз в силу неспособности служить надёжным фундаментом для теоретического осмысления явлений социального неравенства и власти с позиций социологической теории интенционального действия [см.: 113, p. 78–79].

Взятые в совокупности, все описанные различения составляют основу для знаменитой веберовской *типологии социально-*

го действия, разделяющей *традиционные* (основанные на длительной привычке), *аффективные* (обусловленные аффектами или эмоциональным состоянием индивида), *ценностно-рациональные* ("основанные на вере в безусловную — эстетическую, религиозную или любую другую — самодовлеющую *ценность* определенного поведения как такового", без учета возможных последствий) и, наконец, *целерациональные* (основанные на использовании когнитивных ожиданий относительно возможного "поведения предметов внешнего мира и других людей", то есть на убеждениях субъекта, и "использовании этих ожиданий в качестве "условий" или "средств" для достижения своей рационально поставленной и продуманной *цели*") [9, с. 628–630]. Эта типология неоднородна, так как классифицирует не столько мотивы или преднамеренные цели интенционального действия, сколько разные причины и источники действий [303, p. 36–37].

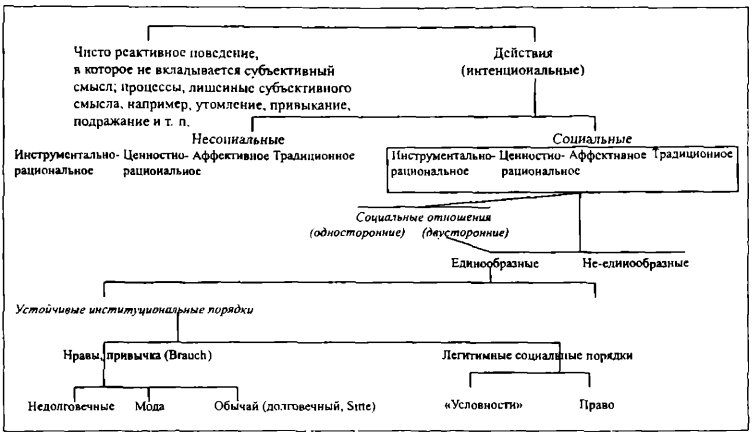
Традиционное действие оказывается самой широкой категорией, охватывающей большую часть человеческих поступков, носящих рутинный, повторяемый и нерефлексивный характер. Этот тип действия вообще находится на границе "осмысленного" действия и часто практически неотличим от реактивного поведения, объясняемого неинтенциональным понятием "навыка" О действии здесь может идти речь постольку, поскольку в "реактивности" традиционного поведения присутствует элемент осознания. Конечно, осознание — не самая надёжная основа для концептуальных различений, однако в теориях деятельности именно этот "ментальный" признак, при всей его собственной проблематичности, является ключевым. Аффективное действие также находится "на границе" интенционального, легко выходя "за предел" осмысленного в случае неконтролируемой реакции на "совершенно необычное раздражение" [9, с. 628]. Наконец, собственно интенциональные типы действия — целерациональное и ценностно-рациональное — различаются прежде всего степенью субъективной значимости цели. Сам выбор цели ценностно-рационального действия не поддаётся рационализации, а способы его реализации относительно фиксированы (в этом смысле специфической чертой ценностно-рационального действия является его "нестратегический характер", невозможность изменить предписанный или ограниченный "заповедью" способ поведения с

учётом возможных последствий, то есть внешних издержек действия — так, "говорить правду" можно только "говоря правду"). Поскольку фундаментальные ценности ценностно-рационального действия сами не могут быть обоснованы рационально, мы можем говорить о веберовской концепции действия как о нормативистской, однако это довольно своеобразный и ограниченный "онтологический" нормативизм, нормативные ориентации которого выбираются субъектом произвольно из неопределенного множества ценностей (подробнее о близости этой позиции к индифферентизму см. *с. 49–50 наст. изд.*). Целерациональное действие также оказывается лишь "пограничным случаем" [9, с. 629–630], но уже не из-за того, что оно может не достигать порога интенционального, а в силу того обстоятельства, что как только целерациональное действие перестаёт быть используемым сознательно тактическим средством для достижения какой-то другой цели и не реализует "экономическую" модель выбора возможных целей-предпочтений с учетом наличных средств и издержек, оно сталкивается с произволом выбора между конкурирующими целями-ценностями, то есть превращается в целерациональное "только по своим средствам" [там же], о чём уже говорилось выше. С определенной долей упрощения можно сказать, что целерациональное действие, как и ценностно-рациональное, идентифицируется по способу действия (признак "осознанности"), различие же между ними прежде всего связано с возможностью "надстроить" иерархию целей — в случае ценностно-рационального действия эта иерархия "упирается" в самодостаточную (хотя и произвольно избираемую) ценность, чистая же целерациональность реализуется лишь в случае, когда цель действия сама является сознательно избираемым средством к чему-либо ещё[19]

Таким образом, "действие, как его рисует Вебер, оказывается небольшим островом осознающей себя интенциональности в море поведения, детерминированного скорее биологически — «реакцией», «привычкой» и тому подобным" [303, p. 39]. *На рис. 8* приводится предложенная С. Тёрнером и Р Фактором полная схема веберовской классификации действий, которая позволяет точнее представить себе расположение "островка" интенционального социального действия.

Рисунок 8

Классификация действий по М. Веберу*



* *Источник*: *Turner S. P., Factor R. A.* Max Weber: The Lawyer as Social Thinker. L., N. Y Routledge, 1994. P 178 (с изменениями и сокращениями).

Как уже говорилось в разделе I, предельно широкая веберовская трактовка ценностей, включающая в "борьбу ценностей", наряду с моральным императивом и логическими истинами, неопределенное множество других известных и вновь возникающих субъективных ценностей позволяет говорить о некотором ("методологическом") волюнтаризме/инструментализме веберовской теории действия, который становится более очевидным (и менее "методологическим") при анализе веберовской философской антропологии, на которой мы здесь можем остановиться лишь очень кратко (подробнее см.: [23, с. 51–88; 104, p. 91–101]). Веберовская "борьба ценностей" не предполагает возможности рационального выбора между ними, пусть даже основанного на "интересе", а не на универсальных нормах. (Тёрнер и Фактор доказывают, что Вебер использует понятие "субъективного интереса" лишь в качестве некоторого далее не объясняемого синонима субъективной цели или ценности, что же касается последней, то: "...Вебер не сделал ни малейшей попытки решить проблему происхождения цен-

ностей, по крайней мере, не сделал попытки решить её, предложив общую формулировку" [303, p. 63–67].) Если в веберовском анализе отдельного действия рациональность может быть увязана с наличием осознаваемого смысла, а свобода — с отсутствием в сугубо рациональном выборе физического и психического "принуждения" эмоциональных "аффектов" или "случайных" нарушений ясности суждения, то рассмотрение *последовательности* действий, образующей веберовскую философскую "личность" не дает столь гармоничной картины. Вебер представляет личность как устойчивое отношение к каким-то конечным ценностям и смыслам, однако последовательность и цельность в следовании произвольно избираемым ценностям превращает такую личность в чисто формальный моральный идеал: "Чтобы стать личностью, индивид должен быть привержен определенным фундаментальным ценностям, но он не обязан придерживаться каких-либо конкретных ценностей. Любая ценность или комплекс ценностей, на который индивид может сознательно и последовательно ориентировать своё существование, ничуть не хуже любой другой (или другого)" [104, p. 96]. Такая последовательность в следовании произвольному позволяет говорить о заметном сходстве "героической" этики Вебера с моральной философией Ницше, увязывающей человеческое достоинство с преодолением человеческого.

Парадокс рационального, рассчётливого следования иррациональному, как отмечает Брубейкер, особенно очевиден в веберовской трактовке автономии личности: "В классической кантовской формулировке, автономия представляет собой состояние подверженности лишь самосоздаваемым и самоналагаемым обязательствам; напротив, гетерономия — состояние подчиненности обязательствам, которые не созданы самой личностью. Эта морально нагруженная оппозиция между автономией и гетерономией сохраняется в моральной мысли Вебера и экзистенциалистов, но установленная Кантом связь между автономией и рациональностью пресекается. Для Канта, автономия основана на процессе создания правил 'рациональной волей' — волей, которая может принять в качестве своих правящих принципов только максимы, допускающие универсализацию. Универсальность — необходимое и достаточное условие рациональ-

ности и, следовательно, оправданности, — моральных принципов; автономное моральное законотворчество, таким образом, сугубо рационально и не имеет никакого отношения к произвольности или выбору. Для Вебера и экзистенциалистов (и для Ницше, чьи идеи глубоко повлияли на их творчество), напротив, автономия основана не на формулировке универсальных законов, а на созидающей ценности активной воле, не ограниченной никаким критерием, кроме, в случае Вебера, критерия последовательности" [104, p. 100–101].

Именно этот скрытый инструментализм веберовской "метаэтики" в свое время стал толчком для попытки Т. Парсонса переформулировать веберовскую социальную теорию субъективного "происхождения ценностей", на чём мы кратко остановимся ниже (см. *с. 123–129 наст. изд.*), характеризуя основные идеи "модернистского" периода развития общей теории социального действия. Однако сначала следует завершить обзор "классического" периода, упомянув вкратце о вкладе Г. Зиммеля в становление социологических теорий деятельности [см.: 31; 57].

Идеи Г. Зиммеля и общая теория действия

Обширное теоретическое наследие Георга Зиммеля содержит в себе множество продуктивных (хотя подчас и противоречивых) социально-философских и социологических идей и целостных концепций, отчасти воспринятых традицией социального теоретизирования, отчасти всё ещё ожидающих критической интерпретации и соотнесения со сложившимся в социологии "концептуальным словарем" [см.. 38; 57; 203; 291; 299, p. 234-283]). Особенно значимы для общей социологической теории зиммелевские взгляды на общество как предмет социологического анализа, а также на природу социального действия.

Зиммелевская формальная социология имеет своим предметом не общество как абстракцию, а (абстрактные) формы обобществления, социации (Vergesellschaftung). Содержательный "материал" эмпирического многообразия социальной жизни может быть представлен нам лишь через "формы" обобществления, поскольку само общество существует лишь там, где существует устойчивое и достаточно интенсивное

"обобществляющее" взаимодействие между индивидами, "через которое или в форме которого [специфическое] содержание достигает социальной реальности" [283]. Задачей социологии, соответственно, является изучение основных форм взаимодействия[20] В отличие от веберовской перспективы, в социологической теории Зиммеля субъективный смысл действия определяется и переопределяется в ходе *взаимодействия двух и более индивидов*, то есть интенциональное социальное действие — это всегда взаимодействие по меньшей мере двух сторон, и понимание мотива действия возможно лишь в этой обоюдной рефлексивной перспективе.

Взаимодействие — абстрактная общая форма социального действия, частной и наиболее распространенной разновидностью которой является *обмен*: "...множество отношений между людьми может считаться обменом; он представляет собой одновременно самое чистое и самое интенсивное взаимодействие, которое, со своей стороны, и составляет человеческую жизнь, коль скоро она намеревается получить материал и содержание. Уже с самого начала часто упускают из виду, сколь многое из того, что на первый взгляд есть сугубо односторонне оказываемое воздействие [индивидуальное действие — *И.Д.*], фактически включает взаимодействие: кажется, что оратор в одиночку влияет на собрание и ведет его за собой, учитель — класс, журналист — свою публику; фактически же каждый из них в такой ситуации воспринимает определяющие и направляющие обратные воздействия якобы совершенно пассивной массы... Однако всякое взаимодействие может рассматривать как обмен: каждый разговор, любовь (даже если на нее отвечают другого рода чувствами), игру, каждый взгляд на другого. И если [кому-то] кажется, что здесь есть разница, что во взаимодействии отдают то, чем сами не владеют, а в обмене — лишь то, чем сами владеют, то это мнение ошибочно. Ибо, во-первых, во взаимодействии возможно пускать в дело только свою собственную энергию, жертвовать своей собственной субстанцией; и наоборот: обмен совершают не ради предмета, который прежде был во владении другого, но ради своего собственного чувственного рефлекса, которого прежде не было у другого; ибо смысл обмена — т. е. что сумма ценностей после него должна быть больше, чем сумма ценностей прежде него, —

означает, что каждый отдает другому больше, чем имел он сам. Конечно, 'взаимодействие' — это понятие более широкое, а 'обмен' — более узкое; однако в человеческих взаимоотношениях первое в подавляющем большинстве случаев выступает в таких формах, которые позволяют рассматривать его как обмен. Каждый наш день слагается из прибылей и потерь, прилива и отлива жизненных содержаний — такова наша естественная судьба, которая одухотворяется в обмене, поскольку тут одно отдается *за* другое сознательно. ...И как раз обмену хозяйственными ценностями менее всего можно обойтись без окраски жертвенности. ...хозяйственный обмен — всё равно, касается ли он субстанций или труда или инвестированной в субстанции рабочей силы — всегда означает жертвование благом, которое могло бы быть использовано и по-другому, насколько бы в конечном счёте не перевешивало эвдемоническое умножение [ценностей]" [30, с. 351–352]. Этот обширный фрагмент из "Философии денег" отчетливо демонстрирует не только характерные *нормативизм* и *идеализм* (субъективизм) зиммелевской трактовки действия как *взаимо*действия. (Чуть ниже Зиммель уподобляет малоудачную утилитаристскую абстракцию калькулирующего лишь собственные выгоды и издержки "экономического человека" субстанциалистской трактовке поцелуя как чего-то, существующего "вне обеих пар губ" поскольку обе они игнорируют момент постоянного рефлексивного "принятия в расчёт" позиции другого участника.)

Ещё одной важной для нашего анализа темой, неоднократно повторяемой в разных работах Зиммеля, является ментальный, "духовный" характер происходяшего обобществления, который позволяет говорить о том, что общество и социальное взаимодействие для него существуют прежде всего в сознании, "в головах" действующих, а социальные изменения и исторический процесс в целом отражают прежде всего изменения в формах обобществления (в частности, растущую объективацию отношений с "другими" рационализацию, усложнение структуры пересекающихся социальных кругов "групповой аффилиации" и т. д.). Диалектика субъективности и "объективированных" форм взаимодействия находит выражение в глубочайших проблемах современности, порождаемых "...притязанием индивида сохранить автономию и ин-

дивидуальность своего существования перед лицом преобладающих социальных сил, а также исторического наследия, внешней культуры и техники жизни" [284, p. 149]. Хотя позиция Зиммеля в вопросе о направленности вектора индивидуализации неоднозначна (он рассматривает античный полис как место "борьбы несравненно индивидуализированных личностей с постоянным внешним и внутренним давлением деиндивидуализирующего маленького города", утверждая, однако, что лишь мегаполисы модерна обеспечивают свободу для подлинной индивидуализации), тем не менее он склонен разделять и разводить тенденцию ускоренного роста "объективной" культуры, в том числе, специализированных "запасов знаний", автономных институций и технических удобств, порожденных экономическим прогрессом, с тенденцией неравномерной и противоречивой индивидуализации взаимодействующих личностей [ibid., p. 154–156]. Последняя, с одной стороны, отражает растущую специализацию и дифференциацию индивидов и их душевной жизни под влиянием разделения труда, с другой — превращает специализированного индивида в "винтик" объективной организации социальных сил и ценностей, трансформируя спонтанность и многообразие взаимодействий индивидов в безличное богатство объективных культурных и технических возможностей. И возрастающая трудность самоутверждения личности в условиях доведенного до предела и задаваемого "извне" многообразия статусов и позиций, и объективно определяемая "краткость и скудость межчеловеческих контактов, доступных жителю метрополиса" ведут индивидов к "борьбе за внимание" социальных кругов, которая всё больше начинает определять их ориентацию в социальном взаимодействии. Парадоксальным образом, сталкиваясь с угрозой утраты личной уникальности, эта ориентация всё больше (то есть во всё более массовом масштабе) начинает характеризоваться "специфическими для метрополиса причудливыми крайностями манерности, каприза и утончённости" *Взаимо*действие индивидуальных акторов начинает во всё большей мере определяться не их групповыми принадлежностями или интересами, а потребностью выглядеть в глазах другого "сконцентрированным и поразительно характерным" [284, p. 156].

Хотя влияние идей Зиммеля на теоретическую традицию в социологии было не таким масштабным, как веберовское, и зачастую носило опосредованный характер, эти ключевые идеи о рефлексивной и "обоюдной" природе социального взаимодействия сыграли большую роль в становлении теорий деятельности "модернистского" периода, прежде всего, оказав воздействие на формирование теоретического "ядра" символического интеракционизма. Они также очевидным образом повлияли на новейшие попытки создания теории действия как "реляционной прагматики" (см. *с. 183–190 наст. изд.*).

ГЛАВА 5

"МОДЕРНИСТСКИЕ" ТЕОРИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: ОТ ПАРСОНСА К КОНСТРУКЦИОНИСТСКОЙ ПРОГРАММЕ

Т. Парсонс и общая система действия

В разделе I данной книги мы уже останавливались на вкладе Толкотта Парсонса в возвращение собственно нормативного измерения в социальную теорию действия (см. *с. 56 наст. изд.*). При этом особо подчеркивалась постулируемая Парсонсом системная организация цепочек "цель — средство", состоящих из единичных действий или взаимодействий, получающих нормативный смысл ("ориентацию" относительно нормативных и "фактических", контингентных элементов отношения "актор — ситуация действия") лишь при анализе *всей* восходящей иерархии "целей — средств"[21]

Кроме того отмечалось стремление Парсонса избегнуть утилитаристской редукции выбора целей действия либо к материальным элементам ситуации ("радикальный рационалистский позитивизм"), либо к случайностям "субъективных предпочтений" ("классический" утилитаризм)[22], как, впрочем, и его не менее выраженное стремление дистанцироваться от идеалистских теорий действия как экспрессивной "самоактуализации" нормативных и идеальных факторов, игнорирующих нормативные и материальные объективные "окружения действия" и приводящих к тому же конечному результату — разрушению логической (априорной) схемы анализа действия "цель — средства" и замене её схемой "смысл — выражение", которая *подменяет объяснение* действия его принципиально неопределенной *субъективной интерпретацией.*

Относительно веберовской концептуализации действия аналитическая схема Парсонса является попыткой преодоления релятивистской "борьбы ценностей", разрывающей связь между индивидуальной рациональностью и универсализмом

нормативных ориентаций (см. *с. 116–118 наст. изд.*). Для Парсонса оценка нормативного горизонта отдельного поступка требует его соотнесения с цепочкой "целей — средств", включающих этот "единичный акт" индивидуального актора в более общую систему действия. То есть предлагаемая Парсонсом общая теория действия решающим образом зависит от реконструкции именно расширенных цепочек действий и взаимодействий, в которую должна быть встроена логико-аналитическая абстракция "единичного акта" как соотнесенности условий, цели и средств [108, p. 70–71].

Таким образом, для теории социального действия Парсонса, впервые сформулированной во второй половине 30-х годов XX века [243] и ввиду ее центрального положения в парсоновской теоретической системе не раз изменявшейся и дополнявшейся им [244, Ch.1; 245], ключевыми являются две характеристики:

- *Нормативный рационализм* — стремление построить модель объяснения действия, которая бы рассматривала желания и убеждения действующего в качестве реальных причин действия (подобно натуралистским моделям рационального действия). Однако при этом, в отличие от утилитаристских теорий максимизации полезности, предполагаемая модель должна накладывать социально-нормативные ограничения на выбор наилучшего способа действия, позволяя, таким образом, гарантировать выполнение минимальных условий существования социального порядка.
- *Логический функционализм* — рассмотрение целей индивидуальных (или институциональных) агентов социального действия в качестве логически необходимых условий существования определенных средств действия (или, соответственно, функций отдельных подсистем социального действия).

Здесь и далее нам потребуется определенная степень упрощения, неизбежная и полезная при анализе теоретических представлений Парсонса, заслуженно славящихся концептуальной изощренностью в сочетании с тяжеловесным стилем изложения. В первом приближении, под логическим функционализмом здесь понимается то обстоятельство, что исключительная важность целей в объяснении человеческого действия (в отли-

чие от физических событий) в принципе может быть выведена не из "дурной телеологии" а из самого определения социального действия: цель мотивированного поступка по определению оправдывает средства (а что же еще?). Эту же идею еще проще сформулировал один из критиков Парсонса: "Когда вы что-нибудь делаете, вы пытаетесь нечто сделать"[95, p. 279][23]

Определив "функцию" как логическое отношение способа действия к цели, Парсонс оказывается перед лицом необходимости указать на источник самой цели. На каждом уровне анализа таким источником оказываются потребности системы более высокого уровня (то есть цели конкретной подсистемы всегда имеют "высшее" происхождение, гетерономны ей). Возникающую здесь очевидную угрозу асимптотического ухода иерархии целей в бесконечность все более глобальных систем Парсонс устраняет посредством своеобразного концептуального "замыкания": постулируется, что окружением общей системы действия (то есть более общей системой, по отношению к которой система действия может рассматриваться как подсистема), является конечная реальность "положения человека" в которой укоренены и явно метафизические "предельные ценности" Существование этих предельных ценностей не только смягчает остроту стоящей перед логическим функционализмом проблемы бесконечного ряда системных целей, но и становится решающим аргументом против критикуемых Парсонсом "утилитаристских и позитивистских" моделей объяснения рационального действия, в которых, по его мнению, переоценивается мотивирующая роль материальных интересов и физического окружения действия. (Поэтому ведущий теоретик неофункционализма Дж. Александер определил систему Парсонса как "нормативный идеализм" [70], а Р. Бирстедт [93, p. 396–398] проницательно заметил, что почти весь круг ключевых для Парсонса тем очерчен уже в статье "Место предельных ценностей в социологической теории", опубликованной еще в 1935 году [242].)

Система координат действия, по Парсонсу, включает в себя и субъективные "резоны" действующего, и нормы, существование которых ограничивает произвольность выбора целей. В "Структуре социального действия" (1937) дана схема единичного акта, суммирующая необходимые условия объяснения

социального действия [243, p. 43–51]. Единичный акт состоит из следующих компонентов:

- агент, или действующий;
  цель, или "предполагаемое будущее положение дел", поскольку оно релевантно системе координат действия;
  "ситуация действия" включающая в себя "средства" то есть те элементы ситуации, которые действующий может контролировать, и "условия", находящиеся вне его контроля;
  "нормативная ориентация", ограничивающая выбор целей и средств, соответствующих данной ситуации.

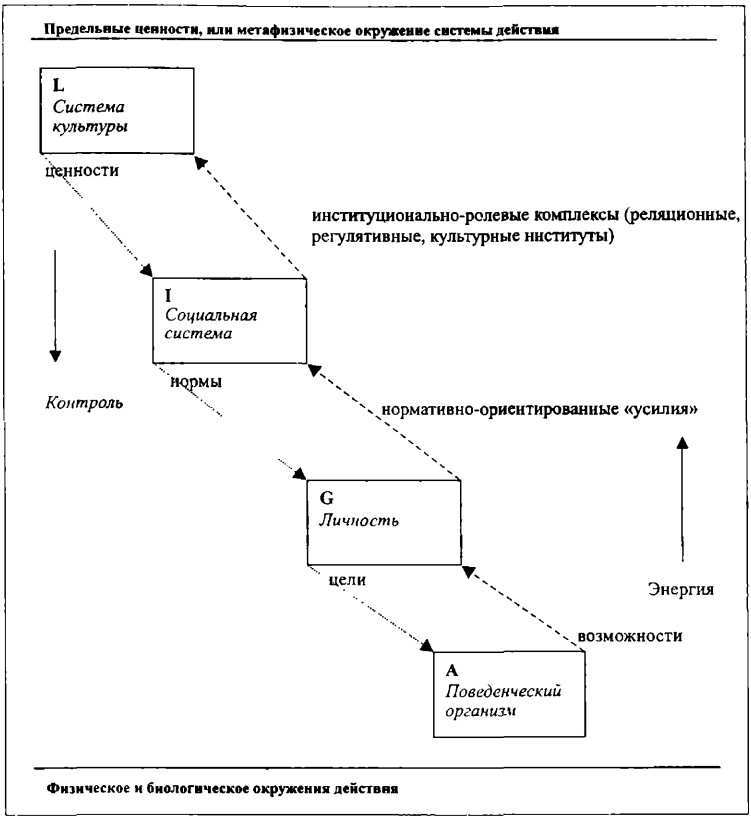
В "Социальной системе" (1951) Парсонс интегрирует эту схему единичного акта, первоначально описанную применительно к уровню целедостижения общей системы действия, в более "всеобъемлющую" систему координат действия [244, p. 7–8]. Эта система координат позволяет описать "ориентацию" актора (или нескольких акторов) относительно ситуации, включающей других акторов (в терминах Парсонса, получаемая аналитическая схема является "реляционной"): "Она анализирует структуру и [внутренние] процессы системы, образованной отношениями таких единиц к их ситуациям, включающим другие единицы; как таковая, она не рассматривает внутреннюю структуру единиц, если только та не влияет прямо на реляционную систему" [244, p. 7–8]. В этом смысле индивидуальный актор ("эго") — лишь точка отсчета в заданной системе координат, описывающей его ориентацию относительно других "социальных" ("альтер"), "физических" или "культурных" объектов, а действие — "процесс в системе актор—ситуация, который имеет мотивационное значение для индивидуального актора или, в случае коллектива, для составляющих его индивидов; это означает, что ориентация соответствующих процессов действия имеет отношение к достижению удовлетворения или избеганию лишений релевантным актором, каковы бы они ни были с точки зрения релевантных структур личности" [244, p. 4]. Базовой подсистемой действия, источником энергии или фактора "усилия", является психофизический "поведенческий организм": однако определение "релевантностей" тех или иных элементов ситуации происходит не на уровне биологических нужд организма, а на уровне подсистемы лич-

ности, внутри которой формируется система "экспектаций" относительно включенных в ситуацию объектов. Последняя может структурироваться исключительно в терминах собственных потребностей-диспозиций личности и ожидаемых вероятностей подкреплений или потерь, соответствующих возможным альтернативным способам действия, либо, в случае взаимодействия с "социальными объектами", она структурируется в дополнительном к личностному, новом измерении социально структурированных ролевых ожиданий и институциализированных норм, "переопределяющих", если воспользоваться теоретико-игровыми терминами, матрицу выигрышей и потерь: "Часть ожиданий 'эго', во многих случаях решающая часть, состоит из вероятных *ре*акций 'альтер' на возможные действия 'эго' — реакций, которые предвосхищаются заранее и, таким образом, влияют на выборы 'эго' " [244, p. 5]. Так задается социальная подсистема действия.

И личностный, и социальный уровень анализа действия предполагают возможность того, что разные элементы ситуации имеют "значение" для "эго" в качестве знаков или символов. В ситуации же социального взаимодействия знаки и символы приобретают разделяемые с другими акторами значения и служат средствами коммуникации между акторами: "Когда возникают символические системы, опосредующие коммуникацию, мы можем вести речь о 'культуре', которая становится частью систем действия релевантных акторов" [ibid.]. Все три подсистемы действия — личностная, социальная и культурная — нередуцируемы друг к другу и, вместе с тем, не могут существовать друг без друга в конкретной системе социального действия, образуя своеобразную иерархию, где информация и контроль направлены от вышележащих уровней к нижележащим, а энергия и запускающее действие 'усилие' — в обратном направлении (см. *рис. 9*)[24] Причём количество энергии максимально на нижних уровнях, а количество информации/контроля — на верхних (в этом смысле культурная подсистема не 'функционирует' вне рамок конкретной, 'эмпирической' системы действия — она 'просто 'есть' " [244, p. 17]. При этом каждая из подсистем общей системы действия реализует один из функциональных императивов парсонсовской схемы AGIL (адаптация — целедостижение — интеграция — поддержание

Рисунок 9

Общая система действия по Т. Парсонсу



образца, латентность) и, в свою очередь, допускает аналитическое "разложение" в рамках этой же схемы. Так, для "поведенческого организма" функцию адаптации выполняет мозг, функцию поддержания образца — гены, функцию интеграции — эротический комплекс, функцию целедостижения — локомоторная система; для социальной системы функцию адаптации выполняет экономическая подсистема, целедостижения — политическая, интеграции — социетальное сообщество, поддержания образца — фидуциарная подсистема и т. д.

Ценности присутствуют в описываемой модели в качестве источника объективных, "трансцендентных" общей системе действия смыслов для культурных образцов подсистемы культуры (в число последних входят ценностно-ориентационные стандарты, экспрессивные символизации и когнитивные идеи). Ценностно значимые образцы культуры, в свою очередь, посредством *институциализации* превращаются в источник нормативных образцов социальной подсистемы, а посредством *социализации* — в нормативные ориентации действующих. Ценности структурируют ролевые отношения, возможные нормативные ориентации акторов по отношению к ролям и, таким образом, собственно действия посредством ограниченного числа аналитически выделяемых осей (переменных) ценностной ориентации действия, обозначаемых как типовые переменные. В число последних входят:

- аффективность — аффективная нейтральность;
  специфичность (оценка социального или иного объекта по специфическому критерию) — диффузность (реакция на индивида или объект "по совокупности" его проявлений);
  ориентация на себя — коллективистская ориентация;
  партикуляризм — универсализм;
  прирожденное (качество) — достигнутое (исполнение).

Эти переменные представляют собой возможные выборы действующего в ситуации действия: каждая из них воплощает "дихотомию, одна из сторон которой должна быть избрана актором, прежде чем значение ситуации становится для него определенным и, следовательно, [прежде чем] он может действовать, соотносясь с этой ситуацией" [244, p. 51]. Типовые переменные позволяют различать инструментальную и экспрессивную ориентации действия, а также построить классификацию социальных ролей и, следовательно, образуемых ими реляционных институтов [см.: 36, с. 185–196; 274, p. 45–54]. Выборы эти, однако, неоднозначны и говорят лишь о преобладании того или иного первичного "полюса" ориентации. Так, первично "инструментальная" роль врача дополняется вторичными "экспрессивными" элементами коллективной ориентации [244, p. 429–479]. Более того, отдельные общества как комбинации ролей и институтов могут быть охарактеризованы через доминирующие переменные-выборы (изначально Парсонс

говорил о тридцати двух "осмысленных" комбинациях пяти типовых переменных из шестидесяти четырех возможных, сводя их потом к четырем наиболее распространенным [244, p. 180–200], однако анализ этой типологии обществ выходит за пределы нашей темы).

Очевидно, однако, что типовые переменные ориентации действия не вполне аналитически независимы (это признавал сам Парсонс), исключая некоторые их комбинации в качестве невозможных, и, что важнее, по крайней мере часть из них (Парсонс полагал, что две последние) характеризует нормативную структуру самой ситуации, а не собственно выбор актора. Однако если нормативные элементы входят в ситуацию действия, его "окружение", они скорее *за*даны действующему, чем даны. (Это, видимо, в неполной мере относится лишь к ориентации на себя либо на коллектив, "других", трактуемой как моральный выбор между альтруизмом и эгоизмом, который в большинстве ситуаций не регламентируется социально, в отличие от социальной нормы так называемого коллективизма, которая чаще всего выступает инструментом или экспрессивной символизацией групповых форм активного эгоизма). М. Уотерс формулирует эту идею ещё проще: "Курьёзный аспект этой ранней работы Парсонса заключается в том, что он настаивает, что акторы совершают выборы между альтернативами, доступными в силу [существования] нормативного порядка, после того, как он уже признал, что нормы структурируют условия [действия]. Эта проблема может быть лучше всего проиллюстрирована на примере отношений университетского преподавателя и студента. Преподаватель возможно предпочел бы быть аффективным, ориентированным на себя, партикуляристским, аскриптивным и диффузным, и некоторые так и поступают, но их обычно подвергают санкциям, пока они не начнут подчиняться нормам нейтральности, ориентации на коллектив, универсализма, специфичности и достижения, либо же их исключают из академической системы. Для актора в этой академической роли не существует никакого иного выбора, кроме демонстрации хотя бы минимальной приверженности ей" [308, p. 42].

Описанная в "Структуре социального действия" и дополненная в "Социальной системе" и нескольких статьях модель

действия, по мнению Парсонса, во-первых, позволяет, ввести в объяснение действия "точку зрения действующего", так как последний самопроизвольно выбирает цели и средства. Во-вторых, дает теоретическую возможность нормативной координации действий тех индивидуальных агентов, которые включены в коллективное действие. И, следовательно, в-третьих, открывает перспективу решения одной из центральных социологических проблем — проблемы порядка, тогда как утилитаристские и бихевиористские модели действия (из-за присущих им, по Парсонсу, атомизма и индивидуализма) вынуждены в той или иной форме вводить в теории социального порядка факторы внешнего принуждения (то есть, в конечном счете, факторы "силы и обмана").

Критики Парсонса неизменно подчеркивают то обстоятельство, что волюнтаризм в его теории является скорее номинальным, и на деле оказывается своеобразной версией нормативного детерминизма (особенно в более поздних работах по эволюции социетальной системы, где Парсонс фактически оставлял в стороне аналитическую схему действия). Из трех основных подсистем общей системы действия (личностной — социальной — культурной[25]) менее всего концептуально разработана личностная подсистема, личность оказывается своего рода фиксированной иерархией предпочтений, "потребностей-диспозиций" Высший же уровень контроля реализуется в культурной подсистеме, представляющей собой не столько отдельную систему действия, сколько "третий мир" ценностей и норм, обеспечивающий, как уже говорилось, и интернализацию деятелем нормативных давлений культуры (на уровне личностной подсистемы), и институциализацию образцов взаимодействия в социальной системе.

Решает ли подход Парсонса проблему интерпретации смысла рационального действия? Процесс выбора целей явно приобретает менее случайный и неопределенный характер, однако сомнительной становится сама возможность "выбора" Иными словами, Парсонс объясняет "действие без действующего", или даже действие, осуществляемое "рассудительным придурком", свободно реализующим нормативные давления культуры (вокруг этой темы строилась критика Парсонса А. Шюцем и, позднее, Х. Гарфинкелем). Атомизм и индивидуализм утилитари-

стской теории действия преодолеваются в модели Парсонса ценой столкновения с не менее болезненными проблемами, возникающими при описании поведения людей как конформистского "следования правилам" Но при этом по-прежнему остается неразрешенной проблема объективного критерия приписывания интенциональных состояний: либо нормы рациональности остаются необязательными, с точки зрения "внутренней перспективы" действующего, либо они могут быть сведены к прямому причинному воздействию господствующей нормативной системы и в таком случае понятие выбора утрачивает всякое самостоятельное значение [см.: 23, с. 28–48].

Нормативное—инструментальное измерение в типологии действия Ю. Хабермаса

Пожалуй, наиболее последовательное развитие намеченная Парсонсом программа создания интегрированной общей теории социального действия и социальной системы получила в концепции Юргена Хабермаса. Масштабная попытка переосмысления теоретического наследия марксизма и, в особенности, критической теории Франкфуртской школы, с позиций неомарксистской социологической традиции (и прежде всего, с учётом теоретических результатов, полученных Т Парсонсом) привела к созданию нового социально-философского проекта исследования социетальной эволюции. Сколько-нибудь детальное рассмотрение предложенной Хабермасом теории социальной системы (с субъективной точки зрения описываемой как шюцевский "жизненный мир", см. *с. 146–153 наст. изд.*) совершенно невозможно в рамках данного раздела. Однако было бы значительным упущением не рассмотреть тот аспект творчества Хабермаса, который наиболее очевидно связывает его с "модернистскими" (в нашей периодизации) теориями социального действия и который присутствует в его работах, начиная с 60-х годов XX века [167; 168; 169]. Этот аспект — аналитическая типология абстрактных и конкретных социальных действий — составляет концептуальный каркас его наиболее сложных социально-философских построений.

Уже в ранних работах Хабермаса переосмыслению подвергается марксистская идея "родовой сущности" человека как источника чувственной человеческой деятельности, праксиса.

Хабермас полагает, что Марксова трактовка труда как единственной формы деятельности, адекватной "родовой сущности" принципиально неполна, поскольку она преуменьшает роль познавательного и эмансипаторного измерений деятельности, сводя "самосозидающее деяние человечества к труду" [167, p. 42]. По Хабермасу, процесс самосозидания человечества представляет собой реализацию во времени триединства глубинных познавательных (когнитивных) интересов, определяющих не только наблюдаемые "на поверхности" социально-исторического процесса знания-убеждения, но и реальные действия исторических субъектов. Глубинные интересы включают в себя:

- возникающий в трудовой деятельности интерес к *техническому контролю* над объектами, который нуждается в эмпирико-аналитическом (инструментальном) знании;
  возникающий в практическом социальном взаимодействии между людьми интерес к *практическому пониманию*, который подразумевает и стремление к социальной интеграции сообщества через достигаемое взаимопонимание между людьми;
  свойственный человечеству как совокупному историческому субъекту интерес к *освобождению* своих глубинных сущностных сил (эмансипации), который является производным по отношению к вышеназванным теоретическим интересам, или "метаинтересом"; ему соответствует высшая форма теоретического понимания, порождаемая диалектической критической теорией и философской антропологией марксизма.

Корни эмансипаторного интереса находятся в тех формах действия, которые оказываются "искажены" в результате *господства*. Политическое господство и идеологическое доминирование постоянно порождаются и воспроизводятся в идеологически и политически извращённых труде и социальном взаимодействии. Критическая рефлексия, самопознание собственной социальной обусловленности рассматриваются, таким образом, в качестве единственного пути к освобождению от неизбежных "помех", порождаемых ограниченностью технических и практических интересов, определяющих повседневное знание и действия исторически локализованных акторов.

Как отмечает Дж. Скотт: "Обсуждение Хабермасом когнитивных интересов и их укорененности в условиях человеческой эволюции приближается к гегельянскому взгляду на эволюцию как на процесс рефлексивного обучения, ведущий к свободе. Оно развивает Гегелеву идею человеческого рода как исторического субъекта, коллективного агента социальных преобразований" [274, p. 233].

В более поздней работе "Теория коммуникативного действия" (1981) Хабермас уточняет эту типологию социальных действий, более прямо соотнося её с идеями М. Вебера, Т Парсонса и Дж. Г Мида. Фундаментом этой типологии является разделение двух аналитических типов действия — целенаправленного и коммуникативного. (Схематическое изображение аналитической типологии действий, предложенной Хабермасом, приведено *на рис. 10*).

Целенаправленное (целевое) действие — это рациональное по средствам действие, ориентированное на успешное достижение некоторой объективной цели и ведущее к возрастанию технического контроля над природным и социальным миром (Хабермас также пользуется определением "телеологическое" действие). Разновидность, направленная на объекты материального мира, обозначается как *инструментальное действие*; направленная же на других людей — как *стратегическое действие*. Очевидно, стратегическое действие, по Хабермасу, являет собой именно аналитическую абстракцию абсолютно инструментального социального действия, то есть крайний полюс в дихотомии "инструментализм — нормативизм", описанный выше. Выделение же собственно инструментального действия, никак не затрагивающего других людей, то есть не являющегося социальным, в качестве отдельного "идеального объекта" теории является своего рода данью веберовскому представлению об обширной области "несоциальных действий" Очевидно, однако, что эта вторая абстракция не увеличивает объяснительные возможности теории социального действия, поскольку подменяет существенную характеристику инструментального действия как принципиально ненормативного, ориентированного на "эгоистический" интерес, не принимающего в расчёт надындивидуальные цели (цели "других") малосущественной и не имеющей отчётливого "критерия демаркации" характеристикой направ-

ленности на "несоциальные" объекты. (В частности, ясно, что область несоциального, материального мира, поскольку последний рассматривается как область *человеческой* деятельности, трудно отграничить даже аналитически: наше отношение к животным или, если уж на то пошло, к "неодушевленной" природе, как показывают, например, нынешние горячие споры об экологии и биоэтике, также может обладать или не обладать нормативным измерением.)

Коммуникативное действие, по Хабермасу, это действие, осуществляемое в сфере социального взаимодействия между людьми и направленное на достижение практического понимания, взаимного согласия между ними. Очевидно, коммуникативное действие по существу обладает именно нормативным характером, выше охарактеризованной "нормативностью" в парсонсовском смысле. Если специфическим когнитивным интересом целенаправленного действия является технический контроль и господство над внешним миром, то для коммуникативного действия таким интересом является именно взаимопонимание как поиск общих оснований сотрудничества с учётом планов и перспектив партнёра по взаимодействию. Описанный "неинструментальный" подход к другим участникам взаимодействия, по мнению Хабермаса, сам по себе служит основанием социальной интеграции и фундаментом социального порядка [169, Bd. 2, S. 191–193, 208–209]. Целевые же действия, в своём системном аспекте, через свои объективные и зачастую непредвиденные последствия ведут к системной интеграции (см. *с. 44 наст. изд.*). Хабермас предпочитает характеризовать именно коммуникативный аспект целевого типа действия, связанный с обменом вербальными и невербальными символами, не подчеркивая специально его нормативный характер. Можно предположить, несколько отвлекаясь от нашей главной темы, что причина того, что Хабермас склонен преимущественно ориентироваться на "семантическое понимание" [см.: 23, с. 21–27], межличностное коммуникативное согласие (которое, как отмечалось *в примечании 15 раздела I наст. изд.*, само может быть лишь условием эффективности любого "асоциального" и инструментального группового поведения), заключается в том, что и его антирелятивистская социальная эпистемология, и предложенная им версия критичес-

кой теории "хорошего общества", используют именно межличностное согласие "дискурсивного сообщества" как основу для норм и критериев валидации "притязаний на знание" [см.: 99, p. 133–145, 177–185, 224–230; 274, p. 228–53].

В повседневной социальной жизни тип коммуникативного действия воплощается в конкретности символического взаимодействия в мидовском смысле, которое включает в себя и согласование когнитивных убеждений ("определений ситуации"), и достижение нормативного согласия о "должном" в рамках конкретного взаимодействия. Иными словами, символические интеракции включают в себя и собственно коммуникативный, и когнитивный аспекты. Возможность достижения коммуникативного согласия и создаёт почву (дюркеймовскую "доконтрактную основу"), на которой возникают целерациональное действие и "чистая" инструментальная рациональность. Именно поэтому, согласно логике Хабермаса, создание

Рисунок 10

Аналитическая типология действий по Ю. Хабермасу*

* *Источники: Habermas J.* Theorie des kommunikativen Handelns. Bd. 1. Fr. a/M.: Suhrkamp, 1981. S. 384, 446, 448; *Waters M.* Modern Sociological Theory. L. et al.. Sage Publications, 1994. P. 45.

адекватной концепции коммуникативного действия должно логически предшествовать концептуализации целерационального, "ориентированного на успех" действия и построению теории эволюции социетальной системы.

Дж. Г. Мид и формирование исследовательской программы символического интеракционизма: поведенческое взаимодействие, общество, символ и самость

Интеллектуальным контекстом для зарождения идей Джорджа Герберта Мида о природе отношений между сознанием и действием, о роли языка в возникновении общества и об интерактивной и рефлексивной природе "самости" (личности действующего) стала, прежде всего, "хтоническая" американская традиция прагматизма. Наряду с влиянием идей Ч. С. Пирса и У Джемса, особо значимым было воздействие многолетнего личного общения с Дж. Дьюи.

Из прагматизма Мид подчерпнул трактовку сознания и мышления как внутренней фазы действия, решающей задачу динамической "подстройки" действия к условиям окружения, а также идею непрерывной трансформации самого действующего индивида и "идеального плана" действия в процессе его практического осуществления — "задействования" в материальном и социальном мире [см.. 8, с. 36–118; 222]. Опосредованно, через круг эпистемологических и социально-философских идей прагматизма, Мид испытал также влияние классического утилитаризма и характерных для него представлений о "наслаждении" и "боли" как встроенных регуляторах поведения, позволяющих максимизировать доступную индивиду или коллективу "полезность" [8, с. 37; 299, p. 409–410]. Кроме того, значительную роль в развитии взглядов Мида на филогенез и онтогенез социального взаимодействия, языка и общества сыграли идеи дарвинизма. Наконец, мидовская концепция "социального бихевиоризма" и модель "стадий действия" складывались в многолетней и взаимопродуктивной полемике с радикальными версиями бихевиоризма, прежде всего с бихевиоризмом Дж. Б. Уотсона [299, p. 414–417][26].

Вклад Мида в концептуализацию социального действия как развернутого во времени процесса, протекающего в социаль-

ной группе, прежде всего связан с его принципиально новаторским для социологии пониманием роли *жестов* и *языка* в возникновении человеческого общества [см.: 305, p. 11–26]. Уже в животном мире обмен жестами, "разговор жестами" образует фундамент для возникновения коммуникации и социальной организации. Жест приобретает значение в силу своей способности "показывать другому организму последующее поведение данного организма" [212, p. 76]. Эта антименталистская концепция значения, "встраивающая" последнее в процесс социального взаимодействия, распространяется и на более совершенную систему координации совместной деятельности — на человеческий язык. От элементарной цепочки: жест одного из участвующих во взаимодействии животных (как незавершенная двигательная реакция) — ответ другого животного как стимул для первого — модификация, подстройка поведения первого и т. д.[27], до использования сложных последовательностей символов в вербальной коммуникации как обмене "голосовыми жестами", мы наблюдаем непрерывный эволюционный ряд одновременного становления, *коэволюции* языка, сознания и общества. Само индивидуальное сознание для Мида выступает как творческое начало, источник рефлексивной реконструкции эмпирических "индивидуальностей" социального мира — своей собственной и других людей, как "поле субъективности, которое [в этом процессе реконструкции] не является ни мною, ни другим, ни душой, ни телом; ...эмпирическое '*Я*' (self) принадлежит тому миру, реконструкция которого и является функцией этой фазы сознания" [214, p. 25–51; цит. по: 305, p. 26–27 n].

По мнению Мида, в эволюционной перспективе способность "притормаживать" открытую поведенческую реакцию, не доводя её до завершения, а также способность понимать возникающие в результате незавершенные реакции-жесты, то есть реагировать на них сходным с другими членами группы образом[28], послужили биологической предпосылкой возникновения и развития сознания и социальной организации в животном мире. Высшей формой последней стала "интерсубъективность" человеческой социальной группы [ibid.; 299, p. 436–439]. В этом процессе обмена "откликами" где кооперация обеспечивается элементарной способностью воспринимать начало действия партнера как сигнал для собственного "отклика", служащего, в

свою очередь, таким же сигналом для продолжения или модификации действия партнера [212, p. 144–145], и конституируется первичное осознание другого как независимого "социального объекта" и, позднее, сознание собственного "социального *Я*" (Me)[29] как объекта, на который ориентированы действия другого. Развитие ребенка воспроизводит основные стадии этого процесса становления "обобщенного другого" и "обобщенного *Me*": от стадии "играния" как принятия фрагментарных, неорганизованных ролей, представляющих собой устойчивые "цепочки" стимулов и откликов, до стадии соревновательной игры, состоящей из набора правил — сложноорганизованных и интегрированных ролевых комплексов, где занятие определенной позиции явно или неявно подразумевает знание всех остальных возможных ролевых позиций и, следовательно, индивидуальное "ролевое исполнение" возможно лишь как аспект коллективного и кооперативного "исполнения" а полноценная самость — как "вполне развитое *Я*, которое и содержит, и воссоздает общество" [308, p. 25]. Отсюда, заметим, следует и мидовская трактовка социальных институтов как общих и обобществленных (в дюркгеймовском смысле) феноменов, а именно "организованных форм групповой или социальной деятельности", представляющих собой "общий отклик со стороны всех членов сообщества на конкретную ситуацию" или символы, означивающие отдельные аспекты этой ситуации [212, p. 261]. Ключевую роль в становлении и закреплении таких "организованных форм" играет, как уже говорилось, язык, позволяющий символически сохранять и передавать общие реакции-отклики социальной группы. Использование языка превращает социальное взаимодействие во взаимодействие, опосредованное лингвистическими символами — "символическую интеракцию" (термин Г Блумера)[30]

Эволюционный и натуралистский аспекты мидовской теории социального взаимодействия и самости, а также его теорий сигнификации как процесса, происходящего в социальной группе, и значения как феномена коллективного употребления символов, зачастую затемняется в более поздних интерпретациях его концепции действия, восходящих преимущественно к блумеровской версии "символического интеракционизма"[31] Достаточно долго оставался недооцененным и творческий, креационистский аспект мидовской теории, воплощенный в его

прагматистской концепции действия как процесса, разворачивающегося во времени и пространстве практического, "телесного" воплощения целевой ориентации действующего, как процесса, обладающего собственной объективной динамикой и несводимого к субъективной интенции. Этот аспект был восстановлен и заново осмыслен в более поздних неопрагматистских теориях действия, иногда называемых также теориями практики [см.: 113; 140, 189, 190], которые описывают не столько то, что подразумевают или намереваются сделать акторы, а то, как они "заставляют случаться то, что они делают": "Вместо того, чтобы [описывать] что мы подразумеваем под нашими действиями, практика относится к тому, что происходит, когда мы действуем" [113, p. 84].

В отличие от постструктуралистских теорий практики (П. Бурдье), не являющихся предметом данного исследования, неопрагматистские теории остаются теориями *действия*, а не теориями структуры, однако в них пересматриваются классические представления об источниках детерминации действия (через подчеркивание "ситуационизма", или зависимости действия от конкретного контекста, в котором оно разворачивается) и о его эмерджентной природе, связанной с телесной природой самого действующего, физически "задействующего" и "исполняющего" действие в меняющихся обстоятельствах (подчеркивание "телесности" актора и "перформативности" действия) (см.: [190, p. 145–183], а также *с 183–190 наст. изд.*). Источником творческого и спонтанного характера действия могут быть не только особые ментальные способности актора и его преднамеренное "усилие воображения" (см., в частности, критический анализ веберовского понятия "харизмы" у Йоаса [190, p. 44–48]), а практические обстоятельства действия, задействующие присущее человеку практическое воображение и способность импровизировать и "играть наудачу"

> Иллюстрируя суть прагматистского подхода к действию, встраивающего социальное поведение в ситуацию, Коэн пишет: "Запечатленные в наших телах — или, точнее, встроенные в органические и мускульные реакции на сходные ситуации, которые мы переживали в прошлом, — 'записанные' обобщенные отклики (род физиологической памяти), которыми мы располагаем, запускаются элементами вновь случающейся прежней ситуации.

Мы исходно распознаем эти отклики посредством наших телесных ощущений, свидетельствующих о нашей готовности действовать в данной ситуации. Например, лектор чувствует физическое волнение, когда она поднимается для выступления перед аудиторией, или любитель оперы ощущает физическое возбуждение даже до того, как начнется исполнение его любимой арии. Каждая ситуация, которой владеют акторы, несет с собой собственный набор напряжений, чувствительностей, колебаний, возбуждений и т. п. Мы встречаем ситуацию, переживая посредством наших тел своего рода докогнитивные ожидания того, что должно случиться и как мы будем реагировать. Однако для Дьюи и Мида (а также для Йоаса) эти ожидания могут и не оправдаться. Выступающая может выйти для выступления, забыв свои заметки; любитель оперы может быть разочарован исполнением арии. Эти нарушенные ожидания открывают возможности для новых (и следовательно, творческих в широком смысле) реакций. Лектор может сымпровизировать свою лекцию; поклонник оперы — выступить с критическим разбором исполнения перед членами своей группы. Один из важных вкладов Йоаса в наше понимание Дьюи, Мида и теории прагматизма как таковой, заключается в том, что он показал, что их более широкая трактовка праксиса включает в себя и теорию того, что он обозначает как 'ситуативную креативность' " [113, p. 84–85].

В том специальном смысле, в котором Мид, вслед за Дьюи, использует термин "взаимодействие", присутствует динамический и эволюционный подтекст, сближающий взаимодействие с "настройкой", "подстройкой" и "адаптацией" [113, 84–85; 299, p. 433–436]. Речь здесь идет не о блумеровском "поведении лицом-к-лицу" а о предельно общем отношении "действующий — другие действующие — окружение действия", реализуемом на разных уровнях органической эволюции, о всё усложняющейся способности подстройки поведения вплоть до достижения скоординированного приспособления к участникам и обстоятельствам взаимодействия. Специфически же человеческой характеристикой взаимодействия для Мида выступает наличие "субъективной фазы" взаимодействия, увеличивающей гибкость поведения за счет использования свойственных человеку когнитивных способностей рассуждения, внутренней речи, воображения и т. д. И символы-жесты,

и вербальные символы улучшают, с его точки зрения, способность предвосхищения человеком (или, на более ранних стадиях эволюции, животным) реакции партнера по взаимодействию. Рутинное понимание смысла жестов или речевых высказываний и сводится к такой координации. Возможность же "отклониться" от рутины в случае неожиданного развития ситуации Мид, как уже говорилось, связывает именно со способностью нервной системы человека к отсрочке двигательной реакции и рефлексивному "внутреннему опробованию" различных паттернов ответа [212, p. 98–100]. При этом *I*-подсистема самости отвечает за возможность импровизации и творческий характер взаимодействия, а *Me*-подсистема — за рутинность и правильность откликов на символы, имеющие общепонятный для всех членов социальной группы смысл [192].

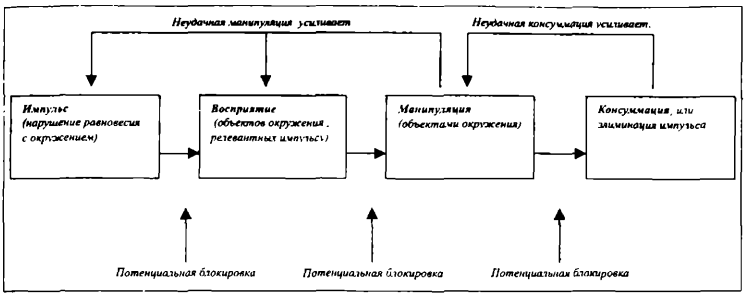
В опубликованной посмертно (как и другие книги Мида) "Философии акта" [213] представлена концептуальная схема, позволяющая описать целеориентированный, "мотивированный" характер человеческого действия через анализ его элементарной составляющей — единичного поступка-"акта" (подробный анализ этой схемы, на который мы здесь опираемся см.: [299, p. 458–465; а также 33, с. 213]). Особый характер человеческого поступка определяется ролью самости и сознания в его воплощении. Мид выделяет четыре причинно связанные и последовательно реализуемые стадии акта.

Первая стадия *импульса* как нарушение равновесия или напряжение между организмом и окружающей средой, при этом источники нарушений равновесия могут варьировать от органических циклически возобновляемых потребностей до межличностных напряжений, но способы удовлетворения импульса всегда отбираются в соответствии с различными аспектами целостной ситуации (культурными стандартами, ролевыми ожиданиями и т. д.).

Вторая стадия *перцепции* обеспечивает селективное опредмечивание импульса, отбор релевантных объектов и способов его удовлетворения с учетом ожиданий других членов группы, *Я*-образа, накопленного опыта прежних реакций и т. д. (так, голодный индус предположительно не будет рассматривать корову как подходящий объект для элиминации биологического импульса голода).

Рисунок 11

Концептуальная схема акта по Дж. Г. Миду*



* *Источник*: *Turner J. H, Beeghlee L., C. H. Powers.* The Emergence of Sociological Theory. Chicago (Ill.): The Dorsey Press, 1989. P 463.

На третьей стадии *манипуляции* человек может "проверить свои гипотезы или представления о том, как определенные отклики на объект могут элиминировать состояние неравновесия" [299, p. 460]; при этом присущая людям способность воображения иногда позволяет провести такую проверку и в "мысленном эксперименте", не переходя к "внешней" стадии наблюдаемого поведения (условием для такой внутренней проверки является, по Миду, блокада или отсрочка двигательного завершения акта, "включающая" внутреннюю речь и воображение), однако такие внутренние пробы также будут относиться к стадии манипуляции с объектом, а в качестве объекта нередко будет выступать *Я*-образ, оцениваемый с позиции другого индивида или группы.

Наконец, четвертой стадией является *консуммация*, завершение и оценка результатов поступка.

Эти стадии представляют собой род замкнутого контура с обратной связью, когда на любой из них возможна блокировка перехода к дальнейшему развертыванию деятельности. Такая блокировка может усиливать каждую из фаз, что, по мысли Мида, и является источником навязчивого или чрезмерно эмоционально "заряженного" поведения (см. *рис. 11*). В то же время, успешное завершение поступка равноценно его подкреплению и, в согласии с бихевиористской трактовкой научения, увеличивает вероятность его рутинного воспроизведения в

дальнейшем. Как отмечают Дж. Тёрнер, Л. Бигли и Ч. Пауэрс, мидовская схема элементарного действия несет очевидный отпечаток влияния современных ему идей бихевиоризма, психоанализа и, в определенной степени, гештальтпсихологии (идея поддержания гармонии в перцептуальном поле). Сама разнородность указанных влияний приводит к определенным противоречиям в трактовке соотношения "внутренней" и "внешней" фаз поведения, однако в целом "...взгляд Мида на мотивацию является определенно социологическим, подчеркивая [роль] взаимоотношений индивидов, а также их отношений к социальному, как и к физическому, окружениям. То, что побуждает акторов и определяет их поведение, это как раз отношение организма к своему окружению. И для осуществляющих действия людей, которые благодаря своему сознанию и самости способны жить и участвовать в обществе, это окружение является решающим образом социальным. Таким образом, люди начинают и направляют свои действия в попытке достичь интеграции с продолжающимся социальным процессом" [299, p. 464–465].

А. Шюц и возникновение феноменологической теории социального действия

Феноменология — философское направление, основы которого были заложены трудами Э. Гуссерля, — зачастую рассматривается как проект особой дисциплины, анализирующей фундамент философского и научного знания. Этот проект предполагает отказ от большинства предпосылок научно-теоретического и философского знания при принятии (предположительно) единственной предпосылки существования *и* возможности описания смыслопорождающего спонтанного потока "чистого сознания" Чистое сознание рассматривается как обнаруживающая себя чистая интенциональность, направленность на предмет (см. *прим. 6 данного раздела*), свободная не только от категоризаций науки, обыденного опыта, мифологии и т. д., но и от причинных (отвечающих на вопрос "почему") и функциональных (отвечающих на вопрос "зачем") связей между предметами, которые собственно порождают эти категоризации и само субъект-объектное разделение. Чистое сознание — это прежде всего осознание непосредственного смысла "явленных" созна-

нию предметов (интенциональных объектов); оно несводимо к предметности, но и не элиминируемо. Поток сознания и предметность — стороны единого процесса самораскрытия *феноменов*. Феноменология как строгая наука о феноменах проживаемого опыта, анализируя процесс восприятия как смыслопорождения поля чистого сознания, могла бы, по замыслу Гуссерля, открыть далее несводимую реальность "созревающего единства" сознания и предмета, которая по способу своего определения служит источником любых предпосылок или категоризаций, принимаемых социальной или естественной наукой, философией или повседневным знанием[32].

Возможность активизировать и направить рефлексию на процесс и предмет осознания прямо зависит от принятия особой установки сознания — *феноменологической установки*, которая принципиально отличается от *"естественной установки"* сознания как раз систематическим воздержанием от суждений о существовании или несуществовании интенционального предмета. Важно отметить, что такого рода рефлексию Гуссерль принципиально отличал от интроспекции, вчувствования или *любых других* психологических состояний и условий. Воздержание от суждений ("эпохе") является результатом специальной рефлексивной работы сознания, *феноменологической редукции* (последняя иногда рассматривается и как сам процесс такого воздержания от уже известных суждений и предположений, описывающих причинные и функциональные связи между сознанием и миром, их "взятие в скобки"). Предположительно достигаемая таким способом позиция "беспредпосылочного" наблюдения позволяет увидеть и описать, то есть *узнать*, вещи заново с помощью своего рода прямой постигающей интуиции (лозунг: "Назад, к самим предметам"). Иными словами, проект феноменологического исследования — это проект создания (или, точнее, описания) новой онтологии, онтологии "жизненного мира", открывающегося "проживаемому опыту" и служащего первоисточником категоризаций и схем традиционной философии и науки.

Насколько спорен и трудноосуществим этот проект поиска чистых данностей допредикативного знания можно обсуждать бесконечно, очевидно одно — он породил влиятельное, масштабное и чрезвычайно неоднородное "феноменологичес-

кое движение" затронувшее не только философию, но и эстетику, психологию, социологию. Исторически, феноменологическое движение объединило в себе множество направлений и школ, по-разному отвечающих на вопрос "Что такое феноменология?" В нашу задачу не входит анализ существующих здесь сходств и различий, разрывов и преемственностей. Достаточно лишь заметить, вслед за С. Вайткусом (на чьи авторитетные работы о взаимоотношениях феноменологической традиции и социологии мы будем в значительной мере опираться в дальнейшем изложении), что именно фигура Э. Гуссерля "установившего феноменологию в её наиболее общем и известном в настоящее время смысле" [306, p. 270], объединяет все эти разнородные тематические направления и концептуальные подходы[33].

Альфред Шюц, ученик Гуссерля, попытался развить некоторые идеи разработанной последним феноменологии сознания, которые позволили бы решить проблему *интерсубъективности* сознания — его способности наделять сознательным опытом других людей и реконструировать такого рода опыт как общий и доступный для других (лежащий "между" субъектами). Для Гуссерля ключом к решению этой проблемы была идея "трансцендентального *Я*", однако он же наметил и другую возможную программу изучения интерсубъективности через анализ связи между интерсубъективностью и вполне посюсторонней, повседневной реальностью "жизненного мира" как поля обыденного опыта. В поздней работе Гуссерля "Кризис европейских наук и трансцендентальная феноменология" (1936) именно существование интерсубъективного "жизненного мира" в качестве изначального феномена, который создает возможность и осознания "эго", и осознания "альтер", и прояснения идеи "трансцендентального *Я*", оказывается фундаментом всякого самопознания и познания мира. Исследование общего и разделяемого всеми людьми "жизненного мира", по мысли Гуссерля, может иметь и гуманистический смысл, поскольку открывает возможность привязки всё более абстрактных понятий науки к их предполагаемому первоисточнику, служащему также и первоисточником обыденных понятий, доступных обычным людям. (Гуссерль полагал, что именно растущая специализация и объективация научного мышления

стали источником социокультурного кризиса и растущей волны антисциентизма и антиинтеллектуализма [306, p. 277].)

Решению задачи "связывания" категорий мира повседневности и схем социальных наук и была посвящена первая книга Шюца 1932 года "Смысловое строение социального мира"[34] [266]. В этой книге Шюц представил первый очерк своей теории социального действия, точнее, дескриптивной социальной феноменологии действия как конститутивного элемента "жизненного мира", рассматриваемого в качестве исходно социального мира. В дальнейшем Шюц неоднократно уточнял и расширял исходные формулировки [см.: 268; 269; 270; 271], в том числе в полемике с Парсонсом по проблеме "перспективы" и системы релевантностей актора [290], а также под растущим влиянием американской традиции — прагматизма Джемса и Дьюи и символического интеракционизма, но исходным толчком и первоосновой для шюцевской концептуализации действия послужили концепция "жизненного мира" Гуссерля и теория социального действия Вебера.

Прежде чем вкратце рассмотреть шюцевский подход к социальному действию, стоит отметить важнейшую особенность используемого им метода. Он основан исключительно на *"естественной установке"* сознания, то есть как раз на той установке, за рамки которой и стремится выйти строго понимаемый феноменологический метод. Если феноменологическая установка, достигаемая "подвешиванием" веры в существование, а также в причинные и функциональные связи мира и сознания, должна открыть чистое поле сознания, то "естественная установка" позволяет открыть (или, точнее, раскрыть) только принимаемые на веру предположения и категории здравого смысла, чтобы в дальнейшем проанализировать их соотношение с категориями "научной социологии" Ценность такого предприятия тесно связана с принятием идеи "субъективно адекватной интерпретации" как цели научного объяснения действия [см.: 23, с. 21–26, 49–50]. Находясь внутри "естественной установки" наблюдатель видит лишь "предпосылочность" обыденного знания и, строго говоря, не может дистанцироваться от этих предпосылок. В лучшем случае, он может их описать в качестве предпосылок (а не в качестве *очевидных* феноменов). Реальность реконструируемого "соотносительно-

го естественного мировоззрения" оказывается расположенной *между* философскими и "традиционными социологическими" познавательными интересами и объяснительными возможностями [305, p. 77]. Каковы бы ни были преимущества такой позиции, возможность "обратного перевода" её результатов на интересующий нас язык социологической теории отнюдь не гарантирована, поскольку субъективная адекватность (с точки зрения действующего) отнюдь не всегда ведет к правильному объяснению[35]: множество человеческих поступков и даже их аутентичных "авторских" описаний лучше объясняется реальными обстоятельствами действия, объективными причинами и т. д. [23, с. 21–27, 55–56, 77–80; 27; а также *с. 275–276 наст. изд.*]. Принципиальная ограниченность сугубо дескриптивной феноменологии действия, целиком находящейся в сфере "естественной установки", может обнаруживаться и тем здравым смыслом повседневности, на предпосылки которого она предположительно опирается. (Например, большинство читающих эти строки, вероятно, обнаружат вполне рациональную и посюстороннюю политическую угрозу в следующем описании "проекта" воображаемого индивидуального действия с точки зрения действующего, предлагаемом новостной лентой: "[08.01; 23:11] Духовный лидер Тибета Далай Лама XIV Тенцзин Гятцо заявил, что во время своей следующей реинкарнации он не будет находиться на территории, подконтрольной Китаю. Он сделал такое заявление во вторник в Сарнате на севере Индии. По словам Далай Ламы, если в момент его смерти Тибет не будет свободным, он реинкарнируется в любой другой стране".) Нужно отметить, что Шюц осознавал и явным образом формулировал эту ограниченность "обыденной социологии" В частности, реинтерпретируя веберовское Verstehen как "особую форму опыта, в которой обыденное сознание получает знание о социально-культурном мире", а *не* как особый метод объяснения действия или форму эпистемологически привилегированного доступа к знанию о его источниках [см.. 64, с. 533; 267], он отмечает, что теоретические конструкты социолога ("конструкты второго уровня") "также должны включать в себя *ссылку* на субъективное значение действующего", а постулат о субъективной интерпретации действия "должен быть понят в том смысле, что все научные объяснения могут и в определен-

ном смысле должны *ссылаться* на субъективное значение действий людей, из которого берёт начало социальная реальность" [64, с. 538] (*курсив мой — И. Д.*). Возможность и желательность такой отсылки стала главным постулатом более поздних версий умеренного интерпретативного подхода (Э. Гидденс обозначил эту же идею как "двойную герменевтику"), тогда как более радикальные интерпретаторы позиции Шюца, преимущественно сторонники так называемой конструкционистской доктрины, довольно далеко отошли от неё [см.: 23, с. 53–58].

Вышеописанное радикальное методологическое решение, резко отделившее социальную феноменологию Шюца от проекта строгой феноменологии, как показывает С. Вайткус [305, p. 75–76; 306, p. 279–280], тесно связано с его убежденностью в неизбежности противоречий и солипсистского тупика в любом сугубо трансцендентальном рассмотрении проблемы интерсубъективности. Сам шюцевский проект "феноменологии естественной установки" как противостоящей и, парадоксальным образом, опирающейся на "трасцендентальный конститутивный феноменологический анализ", развивался во внутреннем диалоге с гуссерлевским проектом, и самим Шюцем в разные периоды оценивался неоднозначно. В переписке с другим учеником Гуссерля, разработавшим собственный подход к интерсубъективности социального мира, Ж. Гурвичем, Шюц, в частности, замечает по поводу гуссерлевской трактовки "жизненного мира" в книге "Кризис европейских наук и трансцендентальная феноменология": "Жизненный мир как общий мир, как историческая цивилизация, как специальная группа посвящённых современников-советчиков, как интерсубъективное сообщество, как общая почва, как продукт коллективной деятельности, как духовное приобретение (как выясняется по размышлении!): всё это такая беспорядочная куча, что [заниматься] этим ниже достоинства феноменологического метода" [166, p. 246: цит. по: 306, p. 279].

Шюц подходит к социальной феноменологии действия, анализируя три уровня собственной теории интерсубъективности [305, p. 78–79]:

уровень знания о "присутствии (Dasein) Другого", актуальной или потенциальной "достижимости" его *в простран-*

стве, центром которого является "телесность" эго, и *во временных коррелятах сознания* ("сейчас" для текущего потока сознания, "памяти" для воспроизводимой достижимости, "ожидания" — для потенциальной достижимости);

уровень знания о качественной определенности "бытия Другого" (So-sein), открывающегося как "соотносительное естественное мировоззрение" социальной группы, и делающего возможным содержательное знание членов группы друг о друге посредством их общей социальной и исторической укорененности в данной группе, данном обществе и т. д.;

знание конкретных мотивов действия Другого.

Именно на последнем аспекте структуры интерсубъективного мира мы здесь вкратце остановимся. Прежде всего, Шюц проводит различение *поведения* и *действия*, описывая первое как субъективно значимый опыт, не включающий в себя намерения. Действие же характеризуется им не через мотив или цель, описываемые как его субъективный смысл (как это было у Вебера), а через понятие "проекта", как "поведение ...основанное на заранее замысленном проекте" [271, p. 211]. В текущем потоке деятельности субъект не переживает в сознании смыслы действия, лишь "рефлексивный взгляд вычленяет прошедший прожитый опыт и конституирует его как осмысленный" [266, p. 71]. Таким образом вычлененный фрагмент развертывающейся деятельности становится дискретным "актом" Позднее Шюц пишет о двух принципиально различных типах мотивов действия. Непосредственно сознанию действующего исходно представлен проект будущего завершенного "акта"-результата (внешнего или внутреннего, выраженного в действии или в воздержании от него), который может быть обозначен как "*для-того-чтобы мотив*" (Как сказано об этом у самого Шюца: "Говоря метафорически, у меня должна быть какая-то идея строения до того, как я могу набрасывать чертежи" [270, p. 12].) Любой из таких проектов основан на опыте предшествующих действий, то есть на определенного рода типизирующем знании, хотя реализация проекта в действии может привести к изменению самого этого знания. Таким образом, проект действия не сводится к выбору способа действия, а само действие не является воспроизведением ("простым повторным исполнением") собственной типизированной схемы.

Другой тип мотивов действия — "*потому-что мотив*", являющийся подлинным мотивом ("мотивирующим сам проект действия"), не представлен в "будущем совершенном времени (modo futuri exacti)" изначального проекта. Он может быть осознан действующим лишь ретроспективно, по завершении действия: "Лишь обращаясь назад, к завершенному акту, либо к прошедшим начальным фазам ещё продолжающегося действия, или же однажды установленному проекту, который предвосхищает акт modo futuri exacti, действующий может ретроспективно ухватить потому-что мотив, который детерминировал его в том, что он сделал или проектировал сделать" [270, p. 12]. Таким образом, самопонимание предполагает понимание не только своих намерений, но и своей зависимости от уже произошедших и ещё длящихся событий.

Наличие мотива действия, как замечает Шюц, критикуя веберовское отождествление мотива и смысла действия, ещё ничего не говорит о его субъективном смысле: рефлексивный взгляд действующего может ретроспективно увидеть в качестве глубоко осмысленных и привычные, и аффективные действия [266, p. 19]. Поскольку у Шюца мотив и смысл действия выступают в качестве аналитически независимых категорий, веберовские условия для интерпретации действий другого оказываются трудновыполнимыми. В шюцевской трактовке интерсубъективное понимание действий другого требует их помещения, во-первых, в контекст причинной связи с предыдущими событиями, и, во-вторых, рассмотрения их в контексте интенций действующего, в том числе и направленных на неизвестных других. Сама возможность существования общества оказывается прямым следствием возможности интерсубъективного воссоздания указанных двух контекстов действия другого. Ключевую роль в итеративном процессе приписывания значения действиям другого играет язык. Общность языковых символизаций тем выше, чем значительнее предыдущий совместный опыт деятельности. Максимальные условия для интерсубъективного понимания смысла и мотива действия возникают внутри *мы-отношения*, формируемого повседневным "миром работы" Мы-отношение создает наиболее благоприятные условия для категоризации и схематизации опыта. Типизированные схемы, позволяющие реконструировать мотивы действий другого, постоянно создают-

ся и пересоздаются, уточняются в процессе классификации. Подведение нового способа действия под известную схему (например, подведение "утоления голода с помощью чудо-таблетки" под схему "утоления голода") меняет саму схему. Неизбежная разность в точках зрения и биографических ситуациях эго и альтер преодолевается при этом с помощью двух фундаментальных идеализаций: идеализации "взаимозаменяемости точек зрения" (оказавшись на месте альтер, эго увидит то же, что видит первый) и идеализации "конгруэнтности систем релевантности", под которой подразумевается то довольно простое правило, в согласии с которым, пока не доказано обратное, обе стороны мы-отношения будут предполагать, что их биографически детерминированные различия в перспективе (то есть в "позиции наблюдения") не имеют значения в текущей ситуации, и с точностью, "достаточной для практических целей", признаки объектов, выделяемые эго и альтер в качестве актуально или потенциально существенных, будут совпадать [270, p. 7]. Иными словами, критерием достижения интерсубъективности мы-отношения, по Шюцу, является ситуация, когда "для-того-чтобы мотивы" эго становятся "потому-что мотивами" для альтер.

Однако многообразие взаимодействий жизненного мира не сводимо к непосредственному взаимодействию. "Естественная феноменология" социального мира Шюца простирается за пределы синхронного во внутреннем времени и пространственно достижимого. Помимо способности понимать действия людей, составляющих наше непосредственное социальное окружение, действующие способны понимать высказывания и поступки и "современников", с которыми они до сего момента не встречались, и "предшественников", живших ранее, и "преемников", которые будут жить в будущем. Однако такое понимание имеет дело с типизированными личностями, в значительной мере основываясь на уже известных нам типизированных схемах действия. По мере движения от непосредственного социального окружения, "внутреннего ядра" жизненного мира, к его наиболее отдаленным в пространстве и времени областям, специфичность и точность приписывания мотивов действия будут уменьшаться, а обобщенность используемых объяснений увеличиваться. (Эта закономерность и объясняет ограничения на возможность научного

понимания действия обобщенными "понятиями второго порядка" которые должны быть каким-то образом соотнесены с "понятиями первого порядка", доступного не "наблюдателю"-ученому, а участнику взаимодействия.) Шюцевская теория релевантности и связанная с ней концепция "конечных областей значения" разрабатывавшаяся в том числе и в полемике с парсонсовской обобщенной схемой взаимодействия с "абстрактным Другим" [см.: 271; 290], включает в себя специальную концептуализацию и классификацию "областей значения" как порядков реальности, характеризуемых собственным когнитивным стилем, в том числе "специфическим эпохе", модусом сознания, "специфической формой социальности" и т. д. [см.: 33, с. 218–220; 305, p. 80–82]. Эта теория позволяет примерно обрисовать механизм ориентации действующего в выборе специфического "запаса знания" и когнитивной установки, который определяет биографически доступный ему горизонт интерсубъективного понимания. Однако этот набросок "социологической теории знания" остается лишь незаконченным проектом[36], поскольку Шюц не разрабатывал ни собственно социологической теории "персоны" действующего, ни сколько-нибудь систематической концепции способов хранения и задействования знания. Это открывает возможность и для заведомо неадекватных шюцевской теории интерпретаций знания как дискурсивного сознательного "представления", интенциональной конструкции и т. д. Как замечает Л. Г Ионин: "Его социология знания оказывается лишенной социологии" [32, с. 92]. Важно, однако, заметить, что исходный проект "феноменологии естественной установки", каковы бы ни были его достоинства и недостатки, отнюдь не предполагал заменить собой собственно научную социологию, ставя перед собой цель вернуть социологии её предполагаемую исследовательскую "первичную" реальность. Попытки интерпретировать социальную феноменологию в качестве "альтернативной социологии" зачастую использовали лишь отдельные элементы её концептуальных построений, "прививая" их к совсем иным объяснительным моделям.

П. Бергер и Т. Лукман: формирование конструкционистской версии интерпретативной программы

Одной из наиболее ранних попыток развития шюцевских идей в рамках интерпретативной программы, относящейся к середине 60-х годов XX века, стала "метатеория" Питера Бергера и Томаса Лукмана, представленная в их совместной работе "Социальное конструирование реальности" [7]. В целом, этот труд представляет собой своеобразное соединение исследовательских традиций "социологии знания" (К. Маннгейм, М. Шелер) и философской антропологии (А. Гелен, Х. Плесснер), с одной стороны, с некоторыми идеями социальной феноменологии — с другой, и наследует характерные черты обеих традиций. Детальный анализ этой достаточно спекулятивной и разветвлённой социально-философской конструкции не входит в наши исследовательские задачи, однако для нас важна одна оговорка. Она касается силы и слабости "социологии знания", унаследованных Бергером и Лукманом, и позволяет оценить роль, которую сыграла их книга в консолидации *конструкционистской программы исследования действия* (никогда, впрочем, до конца не реализованной, но составившей неявный "теоретический фон" для некоторых работ в прикладной социологической теории девиации и социального контроля, этничности, религии и т. д.). Преимуществом избранного Бергером и Лукманом подхода является специальное внимание к роли знания в конструировании социального действия и социального мира, однако это преимущество не может быть на деле реализовано в рамках воспринятой ими традиции социологии знания.

Самой поразительной особенностью классической социологии знания, восходящей от Маннгейма по крайней мере к Марксу, является недотеоретизированность самого понятия "знания": детальный анализ его социального распределения и институционального контекста воспроизводства, иерархий достоверности и приёмов легитимации и т. п. строится *вне* отчетливой концептуализации знания как такового, которая, в частности, позволила бы отличить знание от всего "иного" то есть от того, что ему сополагается или противостоит — от незнания, невежества и т. д. Побочным результатом такого положения дел является ситуация, когда любые когнитивные, докогнитивные

и прочие убеждения и верования, в том числе заведомо ложные, неизбежно рассматриваются в качестве "дотеоретических" "повседневных", "альтернативных" "вненаучных" или иных *форм знания*, а социальные процессы производства, передачи или получения знания могут быть описаны только "в других терминах" — метафорически или метонимически (например, с помощью категорий "значения" или "практики", также не получающих адекватной концептуализации, см. *с. 293–294 наст. изд.*)[37] Неудивительно, что в границах данной традиции преимущественный статус социологически объясняемого знания в результате получают те или иные *формы не-знания*, а проблема внесоциальной детерминации знания и его универсальных критериев оказывается неразрешимой или, вернее, заранее решаемой в пользу "социологизма" как проблематичного проекта анализа социальных условий приписывания истинностных значений убеждениям (этот проект не может быть реализован вне рамок более сильного эпистемологического проекта, позволяющего определить эти истинностные значения в каждом отдельном случае, а также сформулировать "несоциальные" критерии обоснованности для утверждений самой "социальной эпистемологии" [см.: 162])[38]. В частности, Бергер и Лукман отмечают, что: "*Социология знания должна заниматься всем тем, что считается 'знанием' в обществе*" [7, с. 30], специально оговаривая, что речь будет идти не о теоретическом мышлении, мировоззрениях или "идеях"[39], производимых специалистами, а об обыденном, повседневном "знании", представляющем собой "ткань" значений. (Однако они не определяют, где проходят границы этой "ткани", то есть что *ещё не* или *уже не* является таким знанием в кавычках и кто, помимо интеллектуалов, является его носителем.)

Социология знания, таким образом, "должна иметь дело с социальным конструированием реальности" [7, с. 31] — программа, вполне естественная в рамках дескриптивной "социальной феноменологии" описывающей данность "неявных теорий" здравого смысла (ментальных репрезентаций, "представлений о мире") в той мере, в какой она действительно *является* данностью сознания, однако ведущая к противоречивым и даже абсурдным результатам в случае другого истолкования — в духе "конститутивной" феноменологии, пре-

вращающей сам мир в "конструкцию" как совместную (социальную) материализацию субъективных представлений в ходе их "институциализации", "хабитуализации" и тому подобных социальных процессов, уравнивающих эпистемологический статус любых убеждений[40] Метафизику, на которую опирается последнее истолкование, Кант когда-то вполне обоснованно назвал "грезящим идеализмом"[41] Можно показать, что работа Бергера и Лукмана является систематическим балансированием на тонкой грани между первым (условно, "шюцевским") и вторым (не менее условно, "истматовским") истолкованиями этой идеи, балансированием, которое сами авторы обосновывают в качестве особого, *диалектического* метода. Большинство интерпретаций этой работы в рамках конструктивистской программы в социологии науки, социологии девиации, социологии социальных проблем и т. д. лежит далеко за очерченной гранью, в области социологической "материализации духов" [см.: 199]).

Итак, в работе Бергера и Лукмана рассматривается важная проблема "задействования" знания в производстве, воспроизводстве и изменении общества. Однако с той существенной оговоркой, что под знанием понимается далее не определяемое (когнитивное или докогнитивное, теоретическое или практическое, репрезентационное или процедурное) "содержание" убеждений, разделяемых с другими людьми "в привычной самоочевидной обыденности повседневной жизни" [7, с. 44]. Единственной дескриптивной классификацией "запасов знания", к которой прибегают авторы, остаётся шюцевское разделение типизирующих схем и рецептурного знания как практической компетентности, а также разделение приватных и анонимных компонентов запаса знания. Гипотетической "исходной ситуацией" возникновения устойчивых паттернов действия оказывается ситуация взаимодействия лицом-к-лицу, когда эго и альтер объединены совместно проживаемым настоящим и воспринимают субъективность друг друга как "эмпатически 'близкую' " [7, с. 53]. В этой ситуации схемы типизации другого могут быть изменены в результате прямого вмешательства с его стороны [7, с. 52–57], так что в конечном счете "две схемы типизации вступают в непрерывные переговоры в ситуации лицом-к-лицу" [7, с. 56]. Этот процесс коррекции взаимных ожиданий, конечно, близок к

структуре мидовской интеракции и может быть назван "переговорами" лишь в переносном смысле. Источник индивидуальных действий и лежащих в их основе схем типизации, по мнению Бергера и Лукмана, заключен в аутентичной человеческой сущности — "экспрессивности", "антропологической необходимости" биологического уровня, находящей внешнее выражение через "объективацию" Природа этой необходимости, явно восходящей к философской антропологии Маркса, в которой человеку приписывается истинная, "неотчужденная" активная природа, характеризуется Бергером и Лукманом крайне противоречиво: с одной стороны, они заявляют о невыводимости социального порядка из каких бы то ни было "биологических данных" [7, с. 88], с другой — мотивируют саму неизбежность экстернализации тем, что некие "...биологические факты выступают в качестве необходимых предпосылок создания социального порядка" [7, с. 89]. Объективированные продукты деятельности индивида служат для других некоторыми симптомами, "устойчивыми показателями субъективных процессов, присущих их создателям", то есть индикативными знаками [7, с. 61]. Передача "запасов знаний" вне рамок фундаментального взаимодействия лицом-к-лицу становится возможной посредством языка и других знаковых систем, однако в описании механизмов озн*а*чивания и передачи значений Бергер и Лукман придерживаются той же уклончивой теоретической тактики многократных быстрых переходов с уровня бихевиористской теории реципрокного научения и прагматистской концепции озн*а*чивания к уровням дескриптивной феноменологии или откровенно спекулятивной философской антропологии, уклоняясь от задачи обрисовать собственно социологическую теорию генезиса языка или его роли в передаче разного рода запасов знания[42].

Повторяющееся взаимодействие, по Бергеру и Лукману, ведет к "опривычиванию", *хабитуализации* поведенческого образца, основанной на (подтвержденной) реципрокности, взаимности ожиданий. Эта, в сущности бихевиористская, модель подкрепления паттерна, действует и вне ситуации социального взаимодействия ("Это [хабитуализация] касается деятельности как в социальной сфере, так и вне её. Даже изолированный индивид на вошедшем в поговорку пустынном острове делает свою

деятельность привычной" [7, с. 90]. Собственно "социализированное" действие – результат перехода от хабитуализации к *институциализации*. Под институциализацией Бергер и Лукман понимают любую "взаимную типизацию опривыченных действий" [с. 92]. Передача такой типизации любому третьему участнику ведёт к *объективации* социального мира, которая, в свою очередь, является предпосылкой для реификации — восприятия индивидом "готовых" типизаций и институтов общества в качестве извне навязанных и "отчужденных" [7, с. 146–151]. В качестве парадигматического примера объективации и социализации "готового" институционального образца Бергер и Лукман рассматривают передачу институциализированной типизации детям гипотетической пары, оставляя без ответа вопрос о том, как происходит этот процесс "передачи" вне семейных рамок [7, с. 97–100]. Как замечает М. Уотерс: "Предположительно, такая "передача" должна включать в себя коммуникацию и/или социализацию, но как это достигается для третьей стороны, не участвовавшей в конструировании исходной типизации, остаётся неясным" [308, p. 35]. Этот процесс объективации типизаций в исторически возникающих институтах суммируется в известной "диалектической" формуле: "*Общество — человеческий продукт. Общество — объективная реальность. Человек — социальный продукт*" [7, с. 102].

Последней ступенькой в переходе от действия к овеществленной реальности общества оказывается процесс *легитимации* — объяснения и обоснования специализированных "подуниверсумов значений" внутри системы знания и основанных на знании исторических институтов ("объективированных значений институциализированной деятельности" [7, с. 117]). Набросок теории легитимации, предлагаемый Бергером и Лукманом, несёт черты неоспоримого сходства с ценностной иерархией, построенной Парсонсом (см. *с. 128 наст. изд.*): легитимация обеспечивает и социальную интеграцию (индивидов), и системную интеграцию (институтов), при этом наивысший из четырех уровней легитимации[43] также имеет отчетливый метафизический или религиозный смысл (составляющие его символические универсумы включают в себя "институциональный порядок во всей его целостности" и "вообще не могут быть восприняты в повседневной жизни" [7, с. 157]). Конечным источником такой "кос-

мической" завесы легитимации, однако, вновь оказывается философско-антропологическая "природа человека", не объясняемая никакой социологической теорией: "Источники символического универсума коренятся в конституции человека. Если человек в обществе — конструктор мира, то это возможно благодаря его конституционно данной открытости миру, которая уже содержит конфликт между порядком и хаосом" [7, с. 170]. Однако всякий конфликт "выученных" традиций, по Бергеру и Лукману, демонстрирует инструментализм социального действия: нормативный характер символического универсума держится, в конечном счете, на принуждении ("определения реальности могут усиливаться с помощью полиции" [7, с. 195]) или конкуренции инструментальных интересов ("соперничающие определения реальности получают ...своё разрешение в сфере соперничающих социальных интересов" [7, с. 196]). Таким образом, даже символический универсум оказывается продуктом, "проекцией" человеческой субъективности. Как справедливо замечает Дж. Ритцер: "Бергер и Лукман предложили практически чисто субъективную характеристику социального мира... Они не смогли придать смысл обществу как объективной реальности; в результате, вся их диалектика теряет бо́льшую часть своей значимости" [256, p. 252–253]. Сильной стороной их проекта остаётся попытка проследить роль знания в индивидуальном и коллективном социальном действии.

ГЛАВА 6

СОВРЕМЕННЫЕ ИНТЕРПРЕТАТИВНЫЕ ТЕОРИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Действующий и ситуация действия в драматургической социологии И. Гофмана

Ирвинг Гофман занимал довольно последовательную антитеоретическую позицию. Предпочитая называть себя "антропологом", он не оставил работ, которые можно было бы безусловно отнести к интересующей нас области общей социологической теории. Его творчество вызывает множество споров и радикально различных оценок, зачастую связанных с эссеистическим и "популярным" стилем изложения, а также вполне осознанным нежеланием следовать канонам какой-либо из теоретических традиций в социологии, в том числе и канонам символического интеракционизма, к "девиантным" последователям которого его иногда (не без некоторых формальных оснований) причисляют [256, p. 216–223; 280; 313]. Бесспорным, однако, остаётся вклад Гофмана в открытие исследовательской реальности "порядка взаимодействия", противопоставлявшегося им общепринятой проблематике "социального порядка", а также в современные теоретические представления о природе социального контроля, нормальности и отклонения, о динамике идентичности и "достигаемой" природе индивидуального *Я* — "самости" действующего. Кроме того, Гофману принадлежат весьма глубокие критические замечания относительно статуса общепринятых представлений о целях и эффектах преднамеренного действия, а также о роли аудитории и ситуации действия в его динамическом исполнении (перформативность действия). Мы очень кратко остановимся именно на гофмановских соображениях, касающихся личности действующего (актора), а также природы и структуры ситуации действия, поскольку они имеют прямое отношение к общей теории интенционального социального действия.

Прежде всего, гофмановская трактовка действующего и ситуации действия резко расходится со стандартными для интерпретативной традиции идеями субъективного смысла действия и произвольного "определения ситуации" Это "антиконструктивистская" позиция. Во "Фрейм-анализе" (1974) он пишет по поводу расхожих истолкований томасовского "определения ситуации":

> Определение ситуации как реальной, конечно, имеет последствия. Однако они могут вносить и незначительный вклад в развитие событий; в некоторых случаях лишь слабое смущение проносится над сценой, выражая лёгкое беспокойство за тех, кто попытался определить ситуацию ошибочно. Не весь мир сцена, даже не весь театр вполне театр. (Организуете ли вы театр или авиационный завод, вам придётся искать места для парковки машин и для гардероба, и лучше бы это были реальные места, дающие, между прочим, реальную страховку от кражи.) По-видимому, некое "определение ситуации" должно быть найдено почти всегда, но те, кто находятся в данной ситуации *не создают* это определение, даже при том, что об обществе, к которому они принадлежат, можно сказать, что оно делает это. Обычно всё, что делают участники, это правильно оценивают, какой должна была бы быть для них ситуация, и действуют в соответствии с этим. Правда, мы лично обсуждаем аспекты всех тех установлений, в рамках которых живём, но часто, как только договоренности достигнуты, мы продолжаем механически, как если бы дело было решено давным-давно. Встречаются и такие случаи, когда нужно ждать почти до конца событий, прежде чем поймёшь, что же происходит, а также случаи нашей собственной деятельности, в которых приходится на существенное время отложить решение о том, каким должно быть утверждение о том, что мы [собственно] делаем. Но, конечно, к этому не сводятся принципы [социальной] организации. Социальная жизнь и без того достаточно сомнительна и нелепа, чтобы желать её дальнейшего продвижения в сторону нереального [161, p. 1–2; цит. по: 280, p. 122–123].

Гофмановский "порядок взаимодействия" регулируется логикой сценического исполнения, весьма точно описываемого *драматургической метафорой*[44]. Роли и драматургическая

фабула взаимодействия в целом "заданы" (во всяком случае, доступный действующим выбор морально-нормативно и культурно ограничен), однако уровень исполнения может варьировать в самых широких пределах. В "житейских исполнениях" ключевыми функциональными элементами являются *акторы-исполнители* (актёры) и *команды* акторов (труппы), а также *аудитории* (публика), при этом "порядок взаимодействия" допускает последовательную смену функций отдельных индивидов. ("Что бы ни порождало человеческую жажду социальных контактов и компанейства, результат этого, похоже, выражается в двух функциональных формах: потребности в аудитории, перед которой можно испытать лучшие проявления своего социального *Я*, и потребности в собратьях по команде, с кем можно войти в отношения интимного сговора и закулисного совместного расслабления... Хотя две вышеупомянутые функции, которые могут исполнить для нас другие, обычно разделены, ...несомненно бывают моменты, когда обе функции почти одновременно исполняются одними и теми же другими" [18, с. 248–249].) Вместе с тем любые "житейские исполнения" имеют дело с объективно заданной, исторически сложившейся (контингентной) данностью объективных материальных условий действия и разворачиваются внутри заданных нормативных "рамок взаимодействия" — культурных и структурных институциональных контекстов (первый из этих контекстов задан символической иерархией целей и способов действия, второй — иерархией социальных статусов, отражающей экономическое и политическое неравенство).

Отдельное социальное взаимодействие может анализироваться как сценическое исполнение, если определены драматургические задачи индивидуальных исполнителей. В целом, драматургическая задача социального исполнения, как и в случае театрального исполнения, может быть обобщённо описана как *произведение впечатления*. Впечатления не только "остаются у аудитории", но и "производятся" в результате умелых и согласованных усилий исполнителей и их команд. Одним из важнейших драматургических эффектов является "сообщаемое представление о самом себе" [18, с. 287] — проецируемый индивидом "образ *Я*" Этот "образ *Я*" составляет, в свою очередь, важнейшую часть "*Я* как драматургического эффекта".

Сама личность действующего рассматривается Гофманом не как "онтологическая данность" и автономный источник интенционального действия, а как эмерджентный результат взаимодействия описанных структурных компонентов коммуникации (актора, команды, аудитории, нормативного и материального "окружения действия"). Тем самым, Гофман в данном пункте развивает и, в определенной мере, радикализует позицию Дж. Г Мида, полагая что инсценированное *Я* как эффект исполнения "...не есть нечто органическое, имеющее точное местоположение. Таким образом, анализируя *Я*, мы отвлекаемся от его обладателя, от персоны, которая посредством него больше всего выигрывает или проигрывает, поскольку она и её тело всего лишь предоставляют крючок вешалки (*peg*), на который будет на какое-то время повешено нечто, сфабрикованное совместными усилиями. И средства для производства и поддержания *Я* не находятся внутри крючка; фактически, эти средства зачастую закреплены в социальных установлениях" [157, p. 252–253]. Социальное *Я* может, таким образом, существенно отличаться от психобиологического *Я* как источника побуждений и конечного "реципиента" выигрышей и потерь (их диалектика напоминает отношение *Me* и *I* у Мида): "Как природные человеческие существа мы, по-видимому, сотворены порывистыми, импульсивными особями, чьи настроения и энергетические заряды поминутно меняются. Но как исполнители характерных ролей, принятых для представления перед аудиторией, мы не должны допускать резких перемен и капризов" [18, с. 89]. Вместе с тем наши индивидуальные исполнительские качества зависят от импульсивного и энергизирующего *Я* (имеющего отчетливый "фрейдистский привкус"): "Они психобиологичны по своей природе, и всё же, по-видимому, формируются в тесном взаимодействии с [ситуативно и структурно детерминированными] постановочными возможностями разных исполнений" [18, с. 301].

Однако экспрессивные, драматургические задачи повседневных исполнений почти никогда не являются некими реализациями замыслов или произвольных и субъективных "ролевых проектов" Драматургическая основа исполнения ("сценарный замысел" как определение ситуации исполнения), а также материальный и символический реквизит житейских

спектаклей ситуативно, структурно и культурно детерминированы. Именно относительно такого определения исполнительской ситуации и способов реализации "замысла" и можно говорить об удачных или неудачных, предсказуемых или полных импровизаций, морально корректных или аморальных (ложных и откровенно манипуляторских) исполнениях. Получаемые в ходе исполнений впечатления — это прежде всего "источник информации о неочевидных фактах", необходимой для поддержания эффективного непосредственного взаимодействия и кооперации, а не проецируемое вовне ментальное "one wo/man show" Семантический план содержания в данном случае определяется нормативным горизонтом и объективным структурным контекстом взаимодействия[45], тогда как план выражения (то есть само исполнение) может быть инструментален не только с точки зрения общего, разделяемого всеми участниками определения ситуации взаимодействия, но и с точки зрения интересов отдельного исполнителя, не всегда совпадающих с "замыслом". "Человек склонен обращаться с другими присутствующими на основе впечатления, которое они создают о своём прошлом и будущем во время взаимодействия. Именно в такие моменты коммуникационные акты переходят в моральные поступки. Впечатления, которые производят другие, чаще всего истолковываются как неявные притязания и обещания, а любые притязания и обещания тяготеют к высказываниям морального характера" [18, с. 296]. Возникающая здесь диалектика нормативности социального взаимодействия и инструментализма индивидуальных исполнений суммируется Гофманом слéдующим образом: "Так как... нормы весьма многочисленны, многообразны и всепроникающи, то индивиды, выступающие как исполнители, гораздо в бóльшей мере, чем мы думаем, субъективно и объективно остаются в сфере моральных отношений. Но как исполнителей-функционеров людей интересует не моральная проблема реализации упомянутых норм в жизни, а по сути аморальная проблема создания убедительного впечатления, будто эти нормы реализуются" [18, с. 298].

Таким образом, гофмановский драматургический анализ преднамеренных и рефлексивных аспектов взаимодействия основан на структуралистской трактовке его оснований и ис-

токов (биологических, материальных, культурно-исторических и т. д.). Этот структуралистский, холистский аспект в анализе социального взаимодействия и социальных институтов усиливался от ранних работ Гофмана к поздним — от "Представления себя другим" (1959) через "Ролевую дистанцию" (1961) и "Стигму" (1963) к "Фрейм-анализу" (1974) [см.: 36; 110; 256, p. 216–223; 309]), однако в целом гофмановские концепции действующего как исполнителя и ситуации непосредственного взаимодействия как драматургического исполнения никогда не были представлены в виде систематической теории действия. Влияние этих концепций на продолжающиеся дискуссии о природе социального действия, тем не менее, очевидно. В частности неоспоримо влияние, оказанное на неопрагматистские теории действия и теорию структурации Э. Гидденса (*см. далее*), гофмановским анализом перформативного и импровизационного процесса "управления впечатлением" Последний трактуется в "Представлении себя другим в повседневной жизни" как умелое предотвращение и исправление возникающих в ходе повседневных исполнений "инцидентов" — срывов и нарушений, ликвидируемых исполнителями и их командами, зачастую благодаря тактичной поддержке аудитории. В частности, Гофман анализирует средства и методы "управления впечатлением", позволяющие стабилизировать "проецируемый" образ *Я* в условиях помех и нарушений ("изображение не должно скакать вверх-вниз"), относя к ним драматургическую осмотрительность (контроль места, времени, аудитории); драматургическую лояльность, верность исполнителей и команд ("шоу должно продолжаться"); драматургическую дисциплину (поддержание достаточной ролевой дистанции, позволяющей контролировать собственное исполнение, не обнаруживая перед аудиторией "страх сцены").

Х. Гарфинкель и этнометодология

Основатель этнометодологического движения, Харольд Гарфинкель, занимал столь же "антитеоретическую" (или "проэмпирическую") позицию, что и И. Гофман, однако созданная им область непосредственно адресуется к самой сердцевине теории целенаправленного действия — проблеме интерпретации рационального смысла (значения) действия, характеризу-

ющей отдельное действие как таковое, то есть дающей его истинное и адекватное описание. При этом предлагаемый этнометодологией набросок решения этой проблемы, именуемой также проблемой идентификации действия (см. *с. 276 наст. изд.*), строго говоря, находится посредине между двумя обозначенными в начале раздела подходами — характеристикой действия через отсылку к его сознательной интенции и субъективным убеждениям относительно разумного способа реализации этой интенции (то есть через "точку зрения действующего") и выявлением смысла действия посредством анализа объективных интересов действующего и практических возможностей их реализации в складывающейся ситуации.

Наиболее очевидные интеллектуальные влияния на Гарфинкеля оказали Мид, Парсонс и Шюц, что отчасти объясняет то обстоятельство, что он заинтересовался веберовской проблематикой смысла действия, отбросив, однако, интерпретацию смысла как субъективного — сознательной интенции (критиковавшуюся, как мы отмечали, и Парсонсом, и Шюцем), и заменив интенцию перформативным, реципрокно связанным с разворачивающимся контекстом действия и "переговорным" значением-употреблением.

Основным расхождением с Парсонсом (научным руководителем Гарфинкеля во время учёбы в Гарварде) стало критическое переосмысление разрыва между нормативной и когнитивно-рациональной моделями детерминации действия, превращавшего парсонсовскую волюнтаристскую теорию в теорию действий, осуществляемых "рассудительными придурками", реализующими нормативные давления культуры посредством выбора из ограниченного числа ориентаций действия. Вся предшествующая теория социального действия воспринималась Гарфинкелем как необоснованно разделяющая идеализированное рационально-научное ("внешнее") описание действия социологом, с одной стороны, и доступное самому действующему преимущественно нерациональное или ограниченно рациональное описание — с другой [177, p. 22–27]. Поэтому проблема социального порядка превратилась для самого Гарфинкеля в "проблему когнитивного порядка" [p. 77–78], формулируемую с опорой на шюцевскую трактовку обыденного знания и его роли в конституировании интерсубъек-

тивного социального мира. Однако решение этой проблемы Гарфинкель и другие этнометодологи принципиально ищут не в масштабной теории социального действия и социального мира, а в эмпирическом изучении контекстуальной реальности повседневных взаимодействий.

Социальное действие в этнометодологическом подходе — это прежде всего разворачивающееся, "задействуемое" поведенческое взаимоотношение, имеющее по меньшей мере двоих участников. Образцом (парадигмой) взаимодействия служит обмен репликами в разговоре — произнесение и понимание очередной реплики определяется ходом разговора и тем практическим контекстом, в котором этот разговор происходит. Формальные свойства разговорной последовательности реплик (смена очередности говорения, наличие вводных и финальных реплик, а также "пар смежности", подобных паре "вопрос — ответ") служат используемыми, но часто неосознаваемыми (и в этом смысле "неявными") процедурными правилами, обеспечивающими когнитивный порядок, который, в свою очередь, создает предпосылки разумного институционального порядка. Рациональность здесь — не продукт усвоения действующим социальных норм и культурно закрепленных образцов, а хрупкий и достигаемый исключительно "снизу", на уровне социального взаимодействия результат непрекращающихся и зачастую неосознаваемых теоретических и практических усилий обычных людей. Более того, Гарфинкель не считает существенным анализ переживаемого субъективного опыта как такового — экзистенциальных мыслей и эмоций (А. Коэн обозначает эту позицию как "эмбарго на сознание" [113, p. 90]). Источником основанного на знании социального порядка в первую очередь является не то, что действующие осознают, а то, что они делают.

Своеобразие этнометодологической перспективы может быть лучше понято в сравнении и противопоставлении с так называемой этнографией науки (К. Кнорр-Цетина, С. Вулгар, Б. Латур и др.), восходящей к бергеровской и лукмановской версии "социологии знания": если в первом случае каждый действующий отчасти учёный (и "на 95 процентов присяжный заседатель, прежде чем даже близко подойдёт к суду" [150, p. 110]), то во втором — каждый учёный на 99 процентов обычный человек, легитимирующий свои претензии на статус и влияние с

помощью социально фабрикуемых и принимаемых "по договоренности" якобы научных высказываний. В отличие от этнографии науки, этнометодология — это *изучение обоснованной и повседневно применяемой методологии обыденного знания*, то есть совокупности средств и приёмов создания и поддержания рациональности, порядка и согласованности в поступках и высказываниях людей. Сам термин "этнометодология" сродни терминам "этномедицина" (народная медицина), "этноботаника" (обыденные знания о растениях и их свойствах) и т. п.

С точки зрения принимаемой этнометодологией модели объяснения действия она представляет собой своего рода "внутреннюю оппозицию" веберианской интерпретативной традиции. Если последняя преимущественно рассматривает интеллигибельный характер социального действия как данность, а Verstehen — как метод исследования социального, то для этнометодологов и первое, и второе составляют собственно предмет исследования. Возможность понимания смысла взаимодействия и нормативная упорядоченность социальных ситуаций — это вновь и вновь воспроизводимые "достижения" участников, совместно пытающихся придать регулярный и предсказуемый характер множеству ненаправленных взаимодействий и коммуникаций. Эта совместная деятельность рефлексивного объяснения и основанного на таком объяснении проективного упорядочения взаимодействия носит, по выражению Гарфинкеля, "умелый" и в высшей степени специализированный характер. Декларируемая цель этнометодологии — не объяснение или понимание действий людей в разнообразных социальных ситуациях, а детальное "прослеживание" последовательности интеракций (вербальных и невербальных) и выявление тех методов ("этнометодов"), которые участники взаимодействия используют для придания смысла, регулярности и "правильного" характера всему происходящему. Такое "прослеживание" особенно удобно осуществлять в тех случаях, когда взаимодействие становится проблематичным, коммуникация постоянно нарушается, и в силу случайных причин либо намеренного вмешательства наблюдателей "достижение" интеллигибельного и регулярного протекания разговора или совместной деятельности оказывается под угрозой. В практике повседневного взаимодействия такие нарушения могут анализироваться и с помощью специальных экспери-

ментов-провокаций, мастером которых был сам Гарфинкель, и с помощью детальной фиксации обычных разговоров с их последовательными упорядочениями реплик, "турбулентностями" и неожиданными неловкостями, а также специальными приёмами преодоления последних — подход, получивший развитие в преимущественно британской традиции конверсационного анализа [см.. 26, с. 35–38; 177, Ch. 8; 263; 264].

Таким образом, в этнометодологической модели объяснения постулируется, что действующие рефлексивно используют свои обширные "запасы знаний" о ситуации и обстоятельствах взаимодействия, чтобы обеспечить возможность осмысленной интерпретации как собственных поступков, так и поступков других. Соответственно, социальный порядок, "социальная организованность повседневных практик" возникает лишь ситуативно, как результат описанных элементарных взаимодействий (и, возникнув, служит важным ресурсом для "народных" методов объяснения, придания смысла действиям и т. п.).

Отсюда следует, что нормы объективности, рациональности или фактичности полностью зависят от конкретного контекста, привязаны к той случайной ситуации, в которой их удалось "достичь" (они индексичны, как указательные местоимения, значение и грамматические признаки которых полностью определяются конкретным контекстом употребления). Даже в фиксированном контексте демонстрация объективности или рациональности зависит от терпимости действующих к неопределенному и иррациональному: социальная жизнь возможна лишь потому, что люди готовы переносить неопределенность и делать вид, что все ясно в отсутствие всякой ясности (принцип "и так далее"). Как невозможна общая теория контекста (то есть меняющихся конкретных обстоятельств), так, по мнению этнометодологов, невозможна и общая теория рационального действия, объективного суждения и т. п.

Объясняя постулируемую "антропологическую странность" для исследователей-этнометодологов именно тех рациональных свойств практической деятельности, которые воспринимаются обычными участниками в качестве непроблематичных и универсальных, Гарфинкель пишет о "достигаемых" объективности, фактичности и объяснимости взаимодействия: "И то, что неизвестным образом это достижение является общим местом,

это есть предмет нашего интереса, внушительное явление, ибо неизвестным образом оно заключается, во-первых, в использовании участниками согласованных повседневных активностей как методов для признания и демонстрации возможности изолировать, типичности, единообразия, потенциальной возможности повторения, связной видимости, согласованности, эквивалентности, заменяемости, направленности, [возможности] безличного описания, плановости — словом, рациональных свойств индексичных выражений и действий; и, во-вторых, в анализируемости действий-в-контексте, при том что не только не существует никакого понятия контекста-вообще, но и каждое без исключения использование [слова] «контекст» индексично по самой своей сути" [150, p. 10].

Этнометодология довольно успешно "справляется" с проблемами интенциональности, соотношения норм и намерений и пр., остающимися неразрешенными в других интерпретативных моделях объяснения действия. Причина заключается в том, что этнометодологи рассматривают эти проблемы как формальные свойства деятельности (а не отдельных действующих), как методы, используемые ситуативно, "оппортунистически", ради достижения социальной организации. Впрочем, последняя сама является лишь совокупностью таких устойчивых методов.

Специальные эксперименты-"провокации" используемые этнометодологами (как и разработанные в этой же традиции процедуры детального анализа вербального взаимодействия, разговора) заставляют участников демонстрировать множество специальных приемов сглаживания, нормализации "возмущений", введения дополнительных предположений, которые позволяют при необходимости проинтерпретировать даже явно безумные поступки как осмысленные. (Так, например, студент, попавший на прием к "консультанту по личным проблемам", который на самом деле отвечает на все вопросы абсолютно случайной последовательностью "да" и "нет", умудряется дать осмысленную интерпретацию явно нелепым советам [150, Ch. 3].)

При этом этнометодолог не принимает никаких предположений относительно "определения ситуации" действующим и не стремится смотреть на происходящее "глазами участника", сохраняя полную "этнометодологическую индифферентность" (Х. Сакс). Его главная цель — сделать очевидными те рефлек-

сивные рамки, использование которых позволяет участникам придать происходящему свойство "объяснимости"

В критике этнометодологии подчеркивается, что она как раз и совершает попытку создания "общей теории контекста", требуя привязки каждого теоретического описания к уникальным и случайным чертам конкретно наблюдаемой ситуации, тогда как и участники, и этнометодологи имеют довольно общее представление о том, чего надлежит "достичь" — правильности, объяснимости и т. п. [см.: 23, с. 58–60]. Этнометодологический императив "полного описания ситуации", наиболее полно воплощенный в исследовательской программе конверсационного анализа (Х. Сакс, Э. Щеглофф, Дж. Херитидж и др.), демонстрирует несколько наивную веру в возможности действующих, которым в большинстве случаев едва ли удается достичь тотальной "объяснимости" Большая часть последствий межличностного или межгруппового взаимодействия оказывается, на деле, непредвиденной и непредсказуемой для его участников. Кроме того, этнометодологи игнорируют возможность существования иных, не связанных со "смыслопорождением", особенностей ситуации и, следовательно, других факторов (скажем, классовых интересов или статусных различий), объясняющих происходящее.

Теория структурации Э. Гидденса: синтетическая модель актора

Теория структурации Энтони Гидденса представляет собой попытку синтеза теории социальной структуры, трактуемой как двуединство нормативной структуры "правил" и структуры возможностей-"ресурсов"[46], и теории деятельности, понимаемой преимущественно как теория действующего, агента действия. Теория структурации, по замыслу автора, должна преодолеть присущие социальной теории "дуализмы" субъекта и объекта, а также социальной структуры и интенциональной деятельности. Гидденсовская теория "парадигматической", аналитически вычленяемой социальной структуры, реализуемой в реальном пространстве-времени через "синтагматические" отношения и интеракции социальной системы — очевидная попытка сохранить преимущества и преодолеть недостатки функционалистских и структуралистских теорий общества.

У самого Гидденса можно прочесть об этом следующее: "Значение функционализма в социальных науках велико... Я думаю, важно сохранить привлекательные черты функционализма в этом отношении [продуктивности для эмпирического исследования], придерживаясь, однако, той позиции, что концептуальное влияние функционализма было в большой мере пагубным. Функционализм ярко подчеркнул значимость непреднамеренных последствий действия, особенно когда эти последствия имеют место регулярно и, следовательно, вовлечены в воспроизводство институциализированных аспектов социальных систем. Функционалисты были совершенно правы в таком подчеркивании. Однако вполне возможно изучать непреднамеренные последствия без использования функционалистских концептов[47] Более того, определение того, что является непреднамеренным в последствиях действия, может быть более адекватно схвачено эмпирически только при идентификации интенциональных аспектов действия, что опять же означает оперирование более изощренной интерпретацией деятельности, чем та, которой в норме придерживаются имеющие склонность к функционалистским предпосылкам" [154, p. xxxi]. Как будет показано ниже, существенной частью "более изощренной" интерпретации деятельности оказывается её отнесение к тому, что "делается", а не к тому, каковы были интенции действующего.

Для Гидденса модель действующего, или агента деятельности (как предпочитает говорить он сам) — лишь необходимое дополнение к "ядру" теории структурации, поскольку именно агент преднамеренно или непреднамеренно "задействует" структурированные социальные практики. Анализ успешности этой попытки синтеза структуралистской, функционалистской и интерпретативной перспектив метатеоретизирования в целом находится за рамками нашей темы (такой анализ см.: [37]), однако мы остановимся на тех ключевых понятиях теории структурации, которые помогут прояснить соотношение между разработанной Гидденсом постструктуралисткой теорией практики и его же интенционалистской "стратификационной моделью деятеля" Кроме того далее, в разделе III (см. *с. 293–304 наст. изд.*) будет дополнительно представлен анализ некоторых принципиальных недостатков социологических теорий практики, в том

числе тех постструктуралистских теорий (подобных теории культурной стратификации П. Бурдье), которые не содержат, в отличие от теории структурации, никакой самостоятельной концептуализации социального действия[48], однако принимают постулат о детерминации социального действия имплицитными, нерефликсируемыми ("фоновыми") и надындивидуальными "практиками" как символическими порядками и диспозитивами действия.

"Стратификационная модель агента", в развёрнутой форме описанная впервые в книге 1984 года [154], представляет собой попытку вмонтировать в теорию социальной системы дескриптивно-феноменологическую и интерпретативную точку зрения на актора как "проводника" изменений, привносимых структурированной человеческой деятельностью в наблюдаемый мир. Не столь явная, однако всё же формулируемая Гидденсом другая значимая цель заключается в попытке обойти трудности, с которыми столкнулись разрабатывавшие теорию действия философы, "пролившие много чернил в попытках проанализировать природу интенциональной активности" [154, p. 11]. Теоретическая стратегия, используемая для такого обхода, состоит из совокупности отдельных, совместно неприменимых "ходов" и заключается в том, чтобы поочередно подчёркивать:

- структуропорождающую роль непреднамеренных последствий действия, воспроизводящих системные условия для его возобновления в широких пространственно-временных рамках ("функционалистский ход");
  структуралистскую аналогию между отношением "язык — речевая компетенция говорящих — речь" и отношением "нормативная структура «правил» — практическая или дискурсивно-теоретическая осведомлённость акторов — повседневная социальная практика" ("структуралистский ход");
  способность акторов отслеживать, осуществлять контроль за протеканием деятельности и взаимодействия, или, как выражается Гидденс, вести "рефлексивный мониторинг" соответствия между результатами и проектом действия, причём такой мониторинг (во избежание "философских" проблем, связанных с интенциональностью и рациональ-

ностью) осуществляется гидденсовским агентом, хотя и преднамеренно, но как будто не вполне осознанно и между делом: "...акторы — также рутинно и большей частью без особого шума — поддерживают непрерывное 'теоретическое понимание' оснований собственной активности..." [154, p. 5]. При этом "понимание" описывается (в отличие от "структуралистского хода") с помощью слабой аналогии с речевой компетенцией говорящих[49], как практический "запас знания" достаточный для поддержания взаимодействия, то есть в духе этнометодологического "достигаемого порядка" и гофмановского "порядка взаимодействия" ("феноменологический ход").

Отметим, что постулируемое в последнем шаге теоретической стратегии Гидденса практическое понимание не предполагает, что действующий всегда может адекватно описать основания для собственного действия или просто рационализировать его дискурсивно. Практическая компетенция здесь сводится, в духе Гарфинкеля, к обыденному ожиданию агентом способности объяснить своё поведение со стороны других участников взаимодействия, если в этом возникнет необходимость [154, p. 6]. Описанная способность рассматривается также как "главный критерий компетентности, прилагаемый к повседневному поведению" [ibid.], и поскольку "какое-то объяснение" существует всегда, этот критерий в принципе всегда удовлетворяется (даже если обыденное объяснение поведения в конкретном случае сводится к декларируемому отказу вести себя в соответствии с чьими бы то ни было ожиданиями). Разумеется, такой критерий практической компетенции не позволяет говорить о нормативном характере воссоздаваемых через индивидуальную деятельность структурных паттернов.

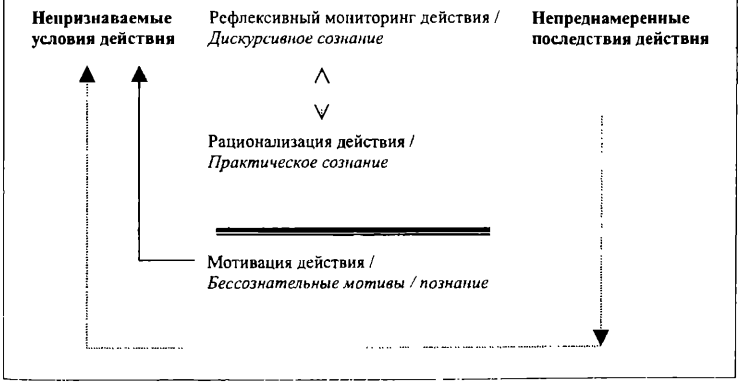
Вышеописанная теоретическая стратегия преодоления дуализмов в теории структурации, таким образом, оказывается в большей степени риторической и синкретической[50], нежели синтетической: подлинные концептуальные противоречия между структурным, системно-функциональным и деятельностным уровнями описания преодолеваются "с помощью союза 'и' " [308, p. 53; см. также: 180]: структура является ограничивающей *и* дающей возможность; действующие — осведомлёнными *и* подчи-

няющимися бессознательным мотивам; институты — основанными на опривыченных рутинах *и* открытыми изменениям и т. п.

Однако собственно модель действующего, предлагаемая Гидденсом (*см. рис. 12*), основана на оригинальном переосмыслении фрейдовской модели личности и действительно может быть названа синтетической (а не синкретической). Как и во фрейдовской модели, каждая страта модели соответствует модусу сознания: на самом глубинном уровне мотивации действия — находится область бессознательного; на промежуточном — рационализации действия — находится область практического сознания; на предсознательном — неартикулируемое процедурное и фактическое знание о социальном мире, на фоне которого актуально разворачивается действие. Нарушения плавного течения "запущенного" поведения или коммуникативные "разрывы" и необходимость в объяснении взаимодействия, описанные Гарфинкелем, могут вести к переходу от предсознательного практического понимания к дискурсивному и артикулированному. Последнее имеет место на уровне рефлексивного мониторинга действия. Барьер между практичес-

Рисунок 12

Стратификационная модель агента по Э. Гидденсу (аспекты действия / уровни личности)*



* *Источник*: *Giddens A.* The Constitution of Society: Outline of the Theory of Structuration. Berkeley: University of California Press, 1984. P 5, 7.

ким и дискурсивным сознанием подвижен и зависит от социализации и обучения агента, однако барьер между уровнями бессознательных мотивов/репрезентаций и дискурсивного сознания весьма прочен и описывается Гидденсом с помощью прямой отсылки к психоаналитической категории вытеснения. Таким образом, в фундаменте дескриптивно-феноменологической модели действующего находится структуралистская, точнее психоаналитическая, модель бессознательной мотивации [см.: 25, с. 66–68]. К тому же уровню бессознательного (именуемому также базовой системой безопасности) могут быть отнесены непризнаваемые условия и непреднамеренные последствия действия.

В вопросе о психоаналитических "инстанциях психического" позиция Гидденса отличается некоторой запутанностью. Он не отделяет их отчётливо от уровней осознания, лишь отмечая, что "фрейдовское различение *эго* и *ид* не слишком приспособлено к анализу практического сознания", а термин эго лучше заменить местоимением *Я*" [154, p. 7]. Интересна, однако, та роль, которая отводится в динамике дискурсивного, рефлексивного уровня сознания овладению прямыми и объектными падежами местоимений первого и второго лица, возникающему в результате социальных взаимодействий лицом-к-лицу, социальных встреч (гофмановский термин), позволяющих агенту позиционировать (располагать в пространстве-времени) себя и партнера по взаимодействию [154, p. 41–92]. В целом, успокоительная устойчивость позиционирования, "размещения" индивида служит в концепции Гидденса конечным объяснением устойчивости рутин-"фреймов" взаимодействия (ещё один гофмановский термин), которая лежит в основе собственно структурации как воспроизводства абстрактных систем из "регуляризованных социальных практик, поддерживаемых разбросанными во времени-пространстве встречами" [154, p. 83]. Источником этой стабильности структурных паттернов являются не рациональные или иррациональные мотивы действия[51] а работа скрытой от сознания *системы онтологической безопасности*. (Как мы увидим чуть ниже, бессознательно желаемые индивидом безопасность, доверие и такт оказываются для Гидденса и конечным объяснениями причин социального неравенства — решение, превосходящее по своей смелости изна-

чальный фрейдовский проект объяснения существования социокультурных институтов как, впрочем, и существования порождаемых ими противоречий и "недовольства культурой" выполняемой этими институтами работой по сублимации влечений.)

> Позиционирование приводит нас к тому, что я буду называть контекстуальностями взаимодействия, и позволяет прямо проговорить, в чём заключается значение работ Гофмана для теории структурации. Всякое социальное взаимодействие размещено в определённых условиях — размещено в пространстве и времени. Оно может быть понято как прерывистые, и всё же рутинизированные случаи встреч, постепенно растворяющихся во времени и пространстве, однако постоянно реконституируемых внутри различных областей времени—пространства. Регулярные или рутинные черты встреч, как во времени, так и в пространстве, представляют интитуциализированные черты социальных систем. Рутина основана на традиции, обычае или привычке, но большая ошибка полагать, что эти феномены не нуждаются в объяснении, что они являются просто повторяющимися формами поведения, осуществляемыми "бездумно". Наоборот, как Гофман (вместе с этнометодологией) позволил показать, рутинизированный характер большей части социальной активности — это нечто, над чем нужно непрерывно "работать" тем, кто поддерживает его в своём ежедневном поведении. Один из наиболее поразительных пробелов в трудах Гофмана — отсутствие объяснения мотивации. В предшествующих параграфах я стремился исправить это, предположив, что доверие и такт, как базовые свойства, которые участники привносят во встречи, могут быть интерпретированы в терминах отношения между базовой системой безопасности, поддержанием (в praxis'e) ощущения онтологической безопасности и рутинной природой социального воспроизводства, умело организуемого агентами [154, p. 86].

Базовая система безопасности — понятие, восходящее к широко известной фрейдовской концепции стадий психосексуального развития личности, получившей дальнейшее развитие в теории психосоциальных стадий развития Э. Эриксона[52] Теория Эриксона дополняет фрейдовскую теорию более детальной и "социализированной" теорией так называемых ла-

тентной и генитальной стадий. Гидденс, однако, относительно детально описывает лишь исходы трёх ранних (оральной, анальной и фаллической) стадий развития влечений, результатами которых становятся такие черты *Я*, как базовое чувство доверия (или недоверия, в случае негативного исхода), автономия (либо стыд и неуверенность в себе), а также активность и инициативность (либо чувство вины по поводу намерений и инициатив) [154, p. 51–60]. Описание развития личностных черт действующего, предположительно обеспечивающих "мотивированный интерес" для поддержания привычных способов деятельности [154, p. 60–64], носит фрагментарный характер и не содержит никаких оговорок относительно того, какие последствия для мотивации и рутинизации деятельности имеют негативные исходы, фиксации и регрессии. При этом Гидденс специально оговаривает, что использование им идей Эриксона носит "преднамеренно ограниченный характер", поскольку он рассматривает в качестве "наименее интересных областей эриксоновской работы именно те, которые, вероятно, наиболее прославили её — имеющие отношение к формированию эго-идентичности, а также к важности стадий личностного развития, которые покрывают подростковый возраст и выходят за его пределы" [154, p. 59].

В действительности, однако, дело обстоит не совсем так: активно используемое Гидденсом далее понятие идентичности фактически становится для него "местодержателем" такой базовой категории социальной теории как "социальная роль" [см.: 154, p. 83–92]. Здесь действует та же теоретическая стратегия: переименовав роль в психологизированную идентичность, он создаёт иллюзию решённости (в психологии) именно тех концептуальных задач, на которые, внутри социологической традиции, термин "роль" и указывает: задач объяснения устойчивых паттернов координации между положением индивида в системе социальных интеракций — социальным статусом, именуемым Гидденсом социальным позиционированием, ролью как специфическим аспектом статуса, определяющим ролевые ожидания и предписания (у Гидденса специфическим аспектом социальной позиции оказывается, соответственно, идентичность), — и возможными санкциями за отклонения от ожидаемого и предписанного. Мотивировкой для всех этих

замен и переименований является то, что и интеракционистские (Гофман), и функционалистские (Парсонс) решения проблемы объяснения ролевой специфичности поведения сохраняют " 'заданный' характер ролей, тем самым служа выражению дуализма действия и структуры, характерного для столь многих областей социальной теории" [154, p. 84; а также 153, p. 117]. Однако именно эта "заданность" ролей при всей вариативности ролевых исполнений (вкупе с универсальной, открытой даже самым "социологически-наивным" участникам взаимодействия возможностью определять, какое из бесконечно изменчивых, несовершенных, каждый раз привязанных к контексту ролевых исполнений является или не является правильным, нормативным) собственно и представляет собой преднамеренно абстрагированный и нуждающийся в содержательном объяснении аспект ролевого взаимодействия, и это объяснение не может быть сведено к переименованию и простой отсылке в область психологической теории становления эго-идентичности. Это тем более верно, что в действительности последняя сама основана на отсылке к социологическому понятию роли: Эриксон полагает, что позитивным исходом подросткового периода психосоциального развития является как раз возникновение *чувства Я-идентичности*, основанного на интегрированном восприятии и оценке многообразия собственного ролевого поведения и соответствующего тому, как воспринимают и оценивают индивида другие, а негативным результатом — *диффузия ролей*, которая проявляется в ощущении неловкости в разных ролях, "искусственности" норм взаимодействия, и приводит на более поздних стадиях к неустойчивости в выборе групп членства, к сложностям при выборе профессиональной карьеры и т. д. Гидденс же, как отмечалось выше, не рассматривает ни психологические результаты более поздних (и более творчески-инновативных) стадий развития по Эриксону, ни возможные последствия диффузии ролей для способности индивида поддерживать те хранящиеся в виде "следов памяти" рутины взаимодействия, которые и выступают для теории структурации конечной основой социального порядка (поэтому неудивительно, что анализ ситуаций социальных изменений и личностного кризиса сводится Гидденсом именно к анализу восстановления/сохранения рутинного компонента

повседневного взаимодействия [см.: 154, p. 87; 155, p. 39–47]).

Такой исключительный интерес к достигаемой (в норме) эго-идентичности имеет, кажется, и ещё одну, менее очевидную причину: как уже говорилось, именно сохранение идентичности выступает у Гидденса в качестве мотивации воспроизведения и/или восстановления "рутинных практик" (отсутствующей, по его справедливому замечанию, в теоретических построениях Гофмана и этнометодологов). В основе этой мотивации лежит стремление к сохранению чувства онтологической безопасности, "генерализованной мотивационной приверженности к интеграции привычных практик во времени и пространстве" [154, p. 64]. Идентичность, при таком подходе, выступает в качестве единственного "стабилизатора" значений и норм взаимодействия, то есть в качестве основанного на навыке и привычке концептуального заменителя роли, лишенного собственно нормативно-ценностного измерения. Эта замена, однако, не позволяет объяснить главное в сохранении привычности и единообразия структурированных практик (заменяющих в теории структурации "глубинные структуры" социального). Этим "недотеоретизированным" главным является нормативный характер практик (всегда можно привыкнуть к чему-то другому, но акторы проявляют избирательную неуступчивость в смене только некоторых, "принципиальных" аспектов привычного) и связь доступных акторам правил и ресурсов, предположительно составляющих эти практики, с их статусно-ролевыми характеристиками (конечно, можно сказать, что доступные ресурсы определяют возможные для данного индивида процедурные и моральные правила, но это не объясняет причин неравного доступа к ресурсам).

Сходным образом предпринимаемая Гидденсом попытка замены социальных *норм* правилами, толкуемыми в духе П. Уинча (хотя и с неясными отсылками к генеративной лингвистике Н. Хомского[53]), не позволяет теории структурации объяснить именно тот аспект правил, которым определяется их "правильность": основной задачей структуралистского объяснения, вопреки многократно повторяемому Гидденсом мнению, является не объяснение того, почему люди привычно следуют правилам, даже не формулируя их, "неявно" вне рамок "дискурсивного знания", а объяснение того, как возможно безоши-

бочное определение правильности (синтаксической, морфологической и т. п.) новых, непривычных и никогда не встречавшихся прежде высказываний и "исполнений" (подробнее о неадекватной интерпретации витгенштейновской теории значения в социальных теориях практики см. *с. 300–303 наст. изд.*, а также [23, с. 49–53])[54]

Роли и нормы — важнейшие концептуальные (и дефинитивные) элементы *институционального контекста действия*, поэтому любая теория, пытающаяся заменить их "арациональными" привычками, индивидуальными паттернами подкреплений, рутинами и т. д. сталкивается с проблемой невозможности объяснить собственно нормативное измерение индивидуального и коллективного действия. Отсюда понятны основания для распространенной критики, которой подвергается теория структурации за невозможность описать и объяснить, в частности, выбор фиксированных ролей и ролевых ожиданий в условиях множественности статусно-ролевых иерархий, существование относительно автономных сетей политической, идеологической, военной и экономической власти и т. д. [см.: 92; 180; 297, p. 12–15; 308, p. 52–54]. Как пишет А. Коэн, теория структурации, объясняя *и* приверженность к рутинному, *и* социальные изменения бессознательным стремлением действующего справиться с тревогой в угрожающих чувству эго-идентичности ситуациях (источником которых служат непризнаваемые условия или непредвиденные последствия действия), становится уязвимой для упреков в "...отсутствие нормативного основания внутри социального праксиса для видения общинной солидарности, демократического компромисса или любого другого нормативного, общественного идеала. Его теория праксиса не предполагает никакого содержательного видения желательных или, если уж на то пошло, нежелательных человеческого поведения и социальных отношений" [113, p. 97].

Неопределенность в ответе на вопрос о том, что, собственно, является рациональным, теоретически или практически, в поступках людей[55], обусловливает, таким образом, довольно существенные ограничения в объяснительных возможностях теории структурации. Она же приводит к тому, что стратификационная модель действующего, являющаяся, при всех своих

ограничениях, одной из самых чётких, в рамках социологической традиции, концептуализаций представлений о личности как источнике интенционального действия, дополняется довольно нечёткой трактовкой самой целенаправленной деятельности. Пытаясь, вслед за Шюцем, расширить представление о целенаправленной, "осведомлённой" человеческой активности за рамки последовательности аристотелевских практических силлогизмов ("актов"), Гидденс далеко выходит за пределы того минимального определения действия, которое позволяет в принципе отличить последнее от физического события или спонтанной двигательной активности (см. *с. 87 наст. изд.*). В запальчивой, но с очевидностью основанной на неточном прочтении полемике с теми концепциями действия, которые были сформулированы в рамках аналитической философии, Гидденс приходит сначала к отрицанию того неоспоримого (по определению) положения, что действием может быть лишь такая последовательность событий, которая хотя бы под некоторыми описаниями является интенциональной: "Но даже та точка зрения, что для того, чтобы событие считалось отдельным случаем деятельности (agency), оно должно быть интенциональным только под тем или другим описанием, неверна. Она смешивает обозначение деятельности с описаниями поступков; и она ошибочно принимает проводимый индивидом непрерывный мониторинг действия за определение этого действия как такового" [154, p. 9]. Далее, отталкиваясь от мысли о том, что деятельность связана не с интенциями, которыми руководствуются люди, что-то делая, но "в первую очередь с их способностями делать эти вещи" оказывать влияние или вызывать эффект, он определяет деятельность "агента" как то, что "...касается событий, для которых индивид является совершителем в том смысле, что индивид мог бы на любой фазе данной поведенческой последовательности поступать иначе. Что бы ни произошло, не произошло бы, не вмешайся данный индивид" [ibid.]. Поскольку отрицание логической необходимости какого-то интенционального описания исключает возможность рассматривать вмешательство в смысле "воления", такая концепция "силы действия" как участия может быть легко распространена и на стрекозу, и на кирпич. Конечно, Гидденс не проводит последовательно столь радикальный отказ от интенци-

ональности как логически необходимого условия идентификации действия (в противном случае вместо проблемы интенциональности действия ему бы пришлось столкнуться с ещё менее разрешимой проблемой определения того, кого или что следовало бы считать индивидом, заслуживающим звания "агента"). В действительности, однако, вся эта дискуссия лишь предваряет введение стандартной проблематики социальной структуры как непреднамеренного последствия и окружения интенциональных действий [154, p. 10–28], о роли которой в возникновении синкретической концепции "дуальности структуры" говорилось выше. Разумеется, попытка преодолеть сложности совмещения описания действия с точки зрения субъективной интенции с его же описанием с точки зрения его "внешних" причинных детерминаций и не совпадающих с намерениями последствий исключительно посредством столь простого переопределения понятия деятельности не может быть успешной: интенция не менее существенна, чем объективная возможность "делать различие" Но основная ценность этой попытки не в предлагаемом решении, а в самой постановке задачи. Фактически, Гидденс суммирует восходящий к Веберу теоретический спор о природе и источниках социального действия самой ясной, на сегодняшний день, формулировкой приниципиальной невозможности сведения последнего к субъективной интенции, а также демонстрирует необходимость и плодотворность выхода за границы интерпретативной традиции.

Реляционная социология М. Эмирбайера и попытка неопрагматистского синтеза в теории действия

В 90-е годы XX века фокус теоретических дискуссий о природе, источниках детерминации и направленности социального действия сместился в сторону бо́льшего внимания к таким характеристикам действия, как:

интерактивность (или реляционность)действия, то есть встроенность деятельности индивида в контекст отношений "атомарного" актора с другими акторами;

перформативность, практическая воплощенность в постоянно меняющихся контекстах, то есть распределенное во времени и динамически подстраивающееся к текущим изменением ситуации "задействование";

спонтанность и "ситуационная креативность", основанные на процессуальном характере "задействования", то есть на рефлексивности актора и возможности обратной связи в ходе исполнений (см. *с. 139–140 наст. изд.*).

Последняя характеристика представляет собой фундаментальную особенность человеческой деятельности — сочетание выученных, повторяющихся, рутинных элементов с элементами принципиально новыми, вновь "открываемыми" (зачастую случайно) в ходе действия и творчески реорганизующими не только средства, но и цель действия, а иногда и ориентацию актора по отношению к ситуации действия.

Эти три характеристики особенно детально разрабатывались, как мы видели, в социологических теориях Дж. Г Мида, А. Шюца, ранней версии теории социального действия Т. Парсонса и, позднее, в работах И. Гофмана и этнометодологов. Кроме того, революционный вклад в понимание механизмов возникновения нового в поведении — механизмов, основанных на контингентных стечениях обстоятельств, на ситуативном "размещении" действующего (в том числе, на ставших внешним окружением действия последствиях собственных поступков), — внесла исследовательская программа социального бихевиоризма (подробнее см. *подраздел Б, с. 229–242 наст. изд.*).

Одной из первых попыток включить характеристики интерактивности, перформативности и спонтанности/креативности в основания общей теории действия стала работа "Действие и его окружения" 1988 года Дж. Александера [72], в которой он попытался очертить контуры многомерной теории, синтезирующей нормативное и инструментальное измерения действия на микро- и макроуровне индивидуальных и коллективных "окружений действия". Александер предложил описывать уровни и типы действия посредством двух аналитических измерений: интерпретации, распадающейся на типизацию и изобретение, и стратегизации. Эти измерения позволяют характеризовать основанные на привычке, новаторские и оценивающе-стратегизирующие аспекты разворачивающегося в коллективных "окружениях" то есть интерактивного по своей исходной природе, действия.

Значительным шагом в дальнейшей концептуализации динамических и адаптивных свойств действия как взаимодей-

ствия, всегда разворачивающегося внутри взаимоотношений актора с другими акторами, стали уже упоминавшиеся работы современного немецкого теоретика Х. Йоаса [189; 190], в которых дано актуальное прочтение прагматистской теории действия Мида и описана фундаментальная и незаслуженно игнорировавшаяся роль спонтанности/креативности социального действия в классической и современной социальной теории (см. *с. 140 наст. изд.*).

Эти новые теоретические интересы пока не привели к радикальному переосмыслению и перестройке концептуального аппарата теории социального действия, однако стали знаком определенной переориентации и смены господствующих представлений в данной области. Охарактеризовать эту смену представлений можно, проанализировав контуры "реляционной прагматики", разрабатываемой М. Эмирбайером с соавторами [138; 139; 140]. Эта попытка, как обоснованно полагает А. Коэн, представляет собой, как минимум, "...новую стадию теоретической зрелости" для реляционной точки зрения [113, p. 99], описывающей действие не столько со стороны его субъективного содержания, сколько с точки зрения интерсубъективного контекста отношений, в который "вписано" единичное действие, то есть с точки зрения, отчасти возрождающей зиммелевские "формы взаимодействия"

В очерке "реляционной прагматики", написанном совместно с Э. Мише [140], Эмирбайер, явно опираясь на александеровскую аналитическую триаду "типизация — изобретение — стратегизация", предлагает рассматривать действие в триединстве воплощенных во времени "аспектов деятельности":

итерации (формируемых прошлым опытом "привычных" и повторяющихся элементов деятельности);

проективности (ориентированной на будущее способности действующего представлять себе возможные альтернативы);

практической оценки (связанной с настоящим способности актора "контекстуализировать прошлые привычки и будущие проекты" применительно к сложившимся и вновь возникающим особенностям ситуации действия) [140, p. 962–963].

В результате, деятельность определяется Эмирбайером и Мише как "*конструируемое во времени вовлечение акторами*

различных структурных окружений — темпорально-реляционных контекстов действия, которые через взаимодействие привычки, воображения и суждения воспроизводят, а также трансформируют структуры интерактивной реакции на те проблемы, [которые] ставятся изменяющимися историческими ситуациями" [140, p. 970]. (Под структурными контекстами здесь, а также в работе [138], понимаются, вслед за Сорокиным, Парсонсом и Александером, культурные, социально-структурные контексты и, наконец, психологический контекст психических структур акторов.) Это определение подразумевает возможность аналитического выделения в каждом реальном действии перечисленных конститутивных элементов (или измерений), характеризующих преобладающую темпоральную ориентацию конкретных форм действия — итеративности, проективности и практической оценки.

Локализуя конститутивные элементы действия (именуемые также "трехзвучием" или "осевой триадой деятельности") не только внутри собственной аналитической схемы, но и в рамках социологической традиции в целом, Эмирбайер и Мише характеризуют итеративный элемент как наиболее разработанный, а практически-оценочный как "поразительно недотеоретизированный социологическими мыслителями" [140, p. 971].

В качестве историко-социологических источников концептуализации итеративного компонента деятельности авторы указывают на прагматизм Дж. Дьюи, взгляды Аристотеля и Фомы Аквинского, типизации А. Шюца, а также современные "теории практики" как синонима "предконцепций, схем, рутин, паттернов и т. д." (см. *с. 290 наст. изд.*)[56]. Говоря о недостатках этих предварительных концептуализаций итеративного компонента деятельности, Эмирбайер и Мише особо отмечают, что они избрали для наиболее фундаментального — рутинного и опривыченного — уровня деятельности специальный термин "итеративный", поскольку существующие попытки его теоретического описания неудовлетворительны из-за того, что "фокусируются скорее на повторяющихся паттернах действия как таковых, чем на том, какими именно способами социальные акторы реляционно вовлекаются в эти заранее существующие паттерны и схемы" [140, p. 975]. (Самая детальная, на сегодняшний день, теория такого "вовлечения" — би-

хевиористская теория операционального научения, не только не анализируется авторами сколько-нибудь серьёзно, но и косвенно критикуется за "редукционизм".) Что же касается "недотеоретизированного" практически-оценочного компонента, то здесь ключевыми источниками оказываются практический силлогизм Аристотеля, некоторые элементы кантовского учения о "практическом суждении", теория коммуникативного действия Ю. Хабермаса, а также "многие феминистские теории" морального и практического суждения [140, p. 994–997]. Проективный компонент представлен, в историко-социологической ретроспективе, широким спектром социальных теорий — от Аристотеля через Канта, Просвещение и немецких романтиков до экзистенциализма, феноменологии и прагматизма.

Поскольку формальная модель управления с обратной связью, реализуемая в любой теории целеориентированного поведения, неизбежно включает, помимо спецификации целевого, текущего и конечного состояний, еще и указания на механизмы непосредственной связи между этими состояниями [см.: 229] (так, оценка предыдущего результата или корректировка последующего действия включают в себя сравнение с критериальным целевым состоянием и т. д.), то авторы "триадической" схемы интенционального действия также оговаривают, что каждый из описанных ими конститутивных компонентов "трезвучия деятельности" включает в себя "обертоны" двух других состояний (так, например, в итерации в качестве "обертона" настоящего присутствует маневрирование как приспособление прошлых навыков к текущей ситуации, а в качестве "обертона" будущего — поддержание ожиданий, основанное на шюцевском интерсубъективном доверии).

Полученная в результате аналитическая схема, полностью представленная *на рис. 13*, безусловно не является объяснительной теорией социального действия. Это, скорее, полезный каталог тех свойств деятельности, которые должны быть каким-то образом содержательно объяснены (или "исключены" в качестве артефактов) всякой будущей интегративной теорией. Ни одно из свойств деятельности в данном случае не проблематизируется, то есть не противопоставляется другим (например, интенциональность и возможность причинного описания, *см.*

Рисунок 13

Аналитическая схема "осевой триады" деятельности М. Эмирбайера и Э. Мише

ПРОЕКТИВНОСТЬ
Первичный локус деятельности в проективном измерении:
гипотетизация опыта
Процессы-компоненты:
• нарративное конструирование;
• символическая рекомпозиция;
• гипотетическое разрешение (проблемы)
"Обертоны":
прошлого – идентификация;
настоящего – экспериментирование

ПРАКТИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА
Первичный локус деятельности в практически-оценочном измерении:
контекстуализация социального опыта
Процессы-компоненты:
• проблематизация;
• решение;
• исполнение
"Обертоны":
прошлого – характеристика (данной ситуации в свете прошлого опыта);
будущего – размышления о возможных траекториях будущего действия

ИТЕРАЦИЯ
Первичный локус деятельности в итеративном измерении:
схематизация
Процессы-компоненты:
• избирательное внимание;
• распознавание типов;
• размещение по категориям
"Обертоны":
настоящего – манёвр;
будущего – ожидания

далее). Правда, создатели "реляционной прагматики" и сами склонны рассматривать её лишь как широкую перспективу для "более богатого и динамичного понимания способностей акто-

ров к опосредованию структурных контекстов, в которых разворачивается действие" Новизна предлагаемой точки зрения, как они полагают, в попытке теоретически рассматривать человеческий опыт в темпоральном измерении: "Акторы всегда живут одновременно в прошлом, будущем и настоящем, приспосабливая различные темпоральности своего эмпирического существования друг к другу (и к своим эмпирическим обстоятельствам) при помощи более или менее основанных на воображении или рефлексивных способов" [140, p. 1012]. Насколько плодотворно такое расширение "тайных возможностей" действующего, покажет теоретическая разработка намеченной перспективы. Очевидно, однако, что критическим недостатком предложенной аналитической схемы социального действия является полное отсутствие собственно нормативного измерения действия на всех уровнях его описания. Впрочем, авторы отчасти признают и эту проблему: "В этом эссе мы не представили нормативную теорию, которая действительно различает 'лучшие' и 'худшие' агентские процессы, 'более или менее морально стоящие' проекты" [ibid.]. Правда, в дальнейшем, по их мнению, эта проблема может быть снята через введение в представленную схему *норм* и *ценностей* как "побочных продуктов совместных обязательств акторов в неоднозначных и содержащих вызов обстоятельствах, ...возникающих когда индивид переживает рассогласование между множественными нормативными приверженностями", разрешаемое на мидовском "форуме интересов" [140, p. 1012–1013]. Если этот план будет реализован, теория социального действия, по всей видимости, вернется к своим утилитаристским истокам.

"Реляционный" характер неопрагматистских теорий действия в целом (в том числе теорий обмена и "сетевых" теорий, о которых речь пойдёт *в разделе III наст. изд.*) позволяет преодолеть ряд формальных и содержательных проблем рационального объяснения действия, поскольку в этих теориях постулируется фундаментальность социальных отношений, так что индивидуальное действие превращается в предельный случай, или даже эпифеномен социального отношения. Однако, как замечает А. Коэн: "Предполагать, что социальная жизнь состоит из социальных отношений — значит игнорировать тот факт, что все социальные акторы проводят изрядную часть

своего времени в одиночестве, погруженные в свой собственный поток мыслей и чувств. Да, любой знакомый с шюцевской феноменологией признает, что акторы могут использовать своё одиночество для размышлений о своих отношениях с другими. Однако одиночество — почти всегда удобный случай для личной интерпретации, добавляющей слой индивидуального значения к ситуациям, скриптам, случайным происшествиям и импровизациям, имеющим место, когда внимание актора приковано к другим в межличностном взаимодействии, посредством электронных медиа или поглощающей деятельности чтения книги или письма" [113, p. 103]. Обобщая, он пишет: "Реляционные теории отодвигают в сторону фундаментальные проблемы действия и практики, предполагая, что социальные отношения — это базовые строительные блоки социального мира. Однако гибкость, которую обретают эти теории благодаря способности заимствовать эклектичные озарения из разнородных теорий социального поведения, должна быть сопоставлена с некоторыми проблемами, которые теоретики социальных отношений не могут с легкостью разрешить без того, чтобы не погрузиться в некоторые проблемы действия и поведения глубже, чем современные исследователи социальных отношений хотели бы" [113, p. 102].

Примечания

"О душе" 434a 5–20, "Никомахова этика" 1146b 35–1147a 10 [4; 5]. Об аналогии между формулировкой теоретического силлогизма и осуществлением практического рационального суждения см.. "Никомахова этика" 1147a 20–30. Принимаемая здесь интерпретация аристотелевских взглядов в значительной мере опирается на трактовку А. Макинтайра [208]. Сходным образом трактует практическую рациональность у Аристотеля и А. Меле [215, Ch. 1, 2].

То есть так называемая слабость воли, невоздержность, неспособность от обоснованного суждения о наилучшем или должном способе действия перейти к самому действию. Отметим, что проблема "слабости воли" сохранила свою остроту и в спорах об адекватности рационалистских и, шире, интенционалистских объяснений действия в конце XX века. См., в частности, классическую статью: *Davidson D.* How is Weakness of the Will Possible? [125].

Аристотель. Никомахова этика. 1140a 24–1140b 25.

Аристотель. Никомахова этика 1146b 35–1147a 30.

Эта морально-интеллектуальная эквилибристика со временем при-

обрела завершенную форму последовательного антирационализма в христианском учении о преимущественном блаженстве "нищих духом"

Эти различия восходят к концептуальной "ловушке" встроенной в исходный проект Ф. Брентано, предложившего в "Psychologie vom empirischen Standpunkt" (1874) понятие интенциональности в качестве критерия для различения 1) "ментального" или "психического" как "направленного-на-объект" и 2) реально существующего мира "физических феноменов"-объектов, а затем постулировавшего и безотносительность интенционального объекта любому реальному положению дел в мире физических феноменов, и приоритет объекта (какого?) в индивидуации интенционального акта.

О новейших интерпретативных теориях действия, исходящих из такой "субъективистской" трактовки интенциональности см. *с. 154–159 наст. изд.*, а также [23].

Укажем также, что идея несоизмеримости интенционального, точнее даже волюнтаристского, и причинного описания деятельности сыграла ключевую роль не только в философии и науке Нового времени, но и в неэллинистической античной традиции — традиции иудаизма, превратившись со временем в основополагающую философскую и этическую доктрину каббалистического учения. Представляется возможным показать в дальнейшем, что только последовательно волюнтаристская теория действия, в которой проблему интерпретации невозможно даже сформулировать, избегает парадоксов интенциональности, тогда как субъективистские интерпретативные теории, помещая источник деятельности внутрь того, что Б. Ф. Скиннер именовал "кожаным мешком" и сталкиваясь в результате с названными парадоксами, приходят к эпистемологическому релятивизму или даже солипсизму [см.: 127].

А. Коэн предлагает в чем-то сходное различение: "Чтобы достичь каких-то обобщений, касающихся действия, теоретик в любом случае должен предположить, что действие никогда не является вполне случайным, то есть сказать, что при соответствующем желании мы сможем обнаружить социологически значимые паттерны действия. Теоретическая уловка заключается в том, чтобы локализовать источник паттернов, которые мы хотим найти. При рассмотрении современных теорий действия с некоторой [аналитической] дистанции, обнаруживается, что они в типичном случае локализуют источник социологически значимых паттернов действия в одном из двух измерений социального поведения. Некоторые теоретики утверждают, что действие лучше всего понимается в терминах его субъективного (экзистенциального или феноменологического) значения для вовлеченных в действие актора или акторов. Другие теоретики локализуют источник значимых паттернов в способе,

каким действие запускается, исполняется или производится. Чтобы держать это различение в поле зрения, я буду обозначать субъективные теории как теории действия, тогда как перформативные теории будут обозначаться как теории практики" [113, p. 74]. При таком различении, однако, за пределами рассмотрения оказывается проблема объективно идентифицируемых целей (интересов) практически рационального действия, относительно которых только и могут быть определены способы исполнения (так, влезание на крышу оказывается исполнением "доставания унесенной ветром шляпы" либо же "ведения метеонаблюдений" и даже "флирта с соседкой") либо определена эквивалентность различных "исполнений" относительно их целевой ориентации ("оплатить покупку чеком" или "заплатить наличными"). В силу этого обстоятельства за пределами анализа у Коэна оказываются теории действия как рационального выбора и теория рациональной практики П. Бурдье (последнюю, впрочем, мы также не будем здесь анализировать, поскольку она не является теорией индивидуального действия в вышеобозначенном смысле, адресуясь к структуралистской и надындивидуальной концепции практики), зато в разряд теорий практики попадают теория структурации Э. Гидденса и реляционная концепция М. Эмирбайера и его соавторов.

[10] Конечно, связь между социологической теорией Вебера и правоведческой традицией не ограничивается параллелизмом между веберовскими "Основными понятиями" и иеринговской "Целью в праве" Помимо сравнительно изученных интеллектуальных влияний — например, неокантианской философии права Р. Штаммлера или работ Р Зома по истории церкви и каноническому праву, повлиявших на веберовскую концепцию "харизмы" [303, p. 7–8, 95–100, 110–116, 122], — здесь наличествуют также влияния малоизученные и недооцененные. Так, применительно к интересующей нас здесь проблеме объяснения социального действия дальнейшего изучения заслуживают "легалистские" корни довольно необычного, с точки зрения социальной теории, веберовского понятия "адекватного каузального сведения" ("адекватной причины"), имеющего вполне понятный смысл в законах о возмещении ущерба, где это понятие (как и синонимичные — "непосредственной причины" и "фактической причины") играет важную роль в ограничении возможной ответственности за ущерб. Тесно связано с "адекватной причиной" и понятие "объективной возможности", также часто используемое Вебером [см.. 9, с. 464–486: 22, с. 157–175], которое ограничивает правовую причинность и ответственность в гражданском праве случаями значимой объективной вероятности влияния действия обвиняемого на рассматриваемый судом результат. Последнее понятие было введено в 1886 году физиологом Л. фон Кри-

сом и отстаивалось им в полемике с Г Радбрухом [187; 303, p. 187, n. 5, 6]. Эти понятия, специально вводившиеся теоретиками права для решения проблемы приписывания правовой ответственности и распределения рисков между субъектами гражданского права, изначально не были предназначены для целей собственно причинного объяснения человеческих действий и вызванных действиями событий, поэтому взвешенная оценка успешности предпринятой Вебером попытки внедрить понятия германского гражданского права в социологическую теорию представляет собой особую задачу, выполнимую лишь при условии тщательной реконструкции "правового контекста" веберовской мысли.

Однако это не решает главной проблемы неразделимости описания и объяснения смысла действия: любые вероятностные выводы о, скажем, мести или полученном приказе как мотивах "прицеливания из ружья" могут оказаться ложными не из-за упоминаемой Вебером недостаточной статистической базы доступных для сравнительного анализа однородных случаев, а просто, потому что "это не ружье и он(а) не прицеливается" Таким образом, трудность зачастую заключается не в объясняющем истолковании актуального мотива, а в истинном описании способа действия.

Здесь мы будем употреблять "нерациональное" и "иррациональное" в качестве синонимов.

Рациональность, объективная и субъективная, в действительности является нормативно-логическим понятием, на котором с необходимостью основаны любые модели объяснения интенционального действия [см.: 23, с. 29–33]. В этом смысле убежденность Вебера в возможности разграничения "чисто дескриптивной" модели субъективно рационального действия, поддающейся эмпирической верификации, и нормативных теорий действия, которыми оперируют логика или этика, имела под собой недостаточные основания.

[14] Видимо поэтому Вебер считает нужным в том же абзаце заметить: "Впрочем, абсолютная целерациональность действия тоже в сущности лишь пограничный случай" [9, с. 630]. Другой пример веберовской уклончивой и парадоксальной манеры рассуждения о границе межу рациональным и нерациональным — сопоставление рубки дров "за плату, либо для своих хозяйственных нужд, либо отдыхая от других дел (рациональное действие)" с тем же действием, обусловленным "стремлением снять возбуждение (иррациональное действие)" [9, с. 608], то есть астеническая эмоциональная окраска "отдыха от других дел" сохраняет рациональность, а стеническая "разрядка возбуждения" — отменяет её. Этот пример наводит на мысль о том, что самым надёжным признаком рациональности, помимо более-менее сознательного размышления, является специфическое отсутствие эмоций, окрашивающих субъек-

тивный смысл действия. Если бы это предположение могло быть подтверждено, то статус привилегированной рациональности получили бы прежде всего люди, страдающие шизофренией, поскольку для этого заболевания в высшей степени характерна специфическая а-эмоциональность в восприятии именно значимых отношений и событий, так называемая эмоциональная холодность.

[15] На этом примере невозможности конечного обоснования необходимости логического вывода средствами логики П. Уинч, вслед за М. Оукшоттом, строит собственное опровержение возможности процедурного описания норм практической рациональности и "рационалистической концепции" человеческой деятельности [312, с. 41–42].

[16] Здесь мы находим удивительную аналогию с эпистемологическим "принципом благожелательности" Д. Дэвидсона, постулирующим неизбежное единство обоснованных истинных убеждений и базовых норм рациональности, которое гарантирует саму возможность коммуникации и интерпретации "чужих" значений [см.. 27].

Именно так вменяется (с определенной вероятностью, конечно) *правовая ответственность* не желающему сознаться подсудимому в случае достаточных косвенных доказательств умысла и объективной заинтересованности в результатах противоправного деяния.

[18] И здесь Вебер, определив различие между осмысленной социальной ориентацией и "влиянием", в характерной манере сразу же проблематизирует значимость и последовательность самого этого различения для социологии: "Причина недостаточной четкости границ объясняется в данном, как и в других случаях, тем, что ориентация на поведение других и смысл собственного действия далеко не всегда могут быть однозначно установлены или даже *осознаны*, а ещё реже — осознаны полностью. Уже по одному этому далеко не всегда можно уверенно разграничить простое 'влияние' и осмысленную 'ориентацию' Однако концептуально их разделять необходимо, хотя чисто 'реактивное' подражание имеет *по крайней мере* такое же социологическое *значение*, как 'социальное поведение' в собственном смысле слова. Социология занимается отнюдь не одним 'социальным действием', но оно являет собой (во всяком случае, для той социологии, которой мы здесь занимаемся) её центральную проблему, *конститутивную* для неё как для науки. Впрочем, тем самым мы отнюдь не утверждаем, что эта проблема вообще важнее других" [9, с. 627].

[19] В этом смысле деньги как универсальное средство обмена и потенциальный эквивалент любой "полезности" действительно представляют собой некий "эталон" рациональной цели, однако нам представляется всё же неверной тенденция ряда авторитетных коммен-

таторов Вебера использовать термины "своекорыстное", "расчетливое" и т. п. для описания типичного целерационального действия [113, p. 79; 308, p. 18–19] (прежде всего, по причинам, упоминавшимся в разделе I настоящей книги при обсуждении различий между "объективизмом" и "инструментализмом" в социологической теории). Проиллюстрировать же неудачность такой сугубо "утилитаристской" трактовки целерациональности можно, обратившись к найденному Р Брубейкером примеру хирурга, размышляющего, стоит ли сказать пациенту, перенесшему почечную трансплантацию, о первых признаках отторжения донорской почки и высокой вероятности скорой повторной операции для удаления трансплантанта. Пациент страдает послеоперационной депрессией и плохие новости могут усугубить его психологическое и физическое состояние. Брубейкер считает, что если хирург верит в безусловную ценность правдивости и скажет правду пациенту, его действие будет *ценностно-рациональным*; если же он примет во внимание позитивные последствия временного сокрытия правды и солжет пациенту, чтобы предотвратить опасное ухудшение, то его поступок будет *целерациональным* [104, p. 51–52]. Однако важно заметить, что в этом примере выбор между прямым и отсроченным сообщением правды — это скорее выбор между *ценностью* правдивости в отношениях с пациентом и *ценностью* спасения жизни пациента. Первая из целей-ценностей может быть достигнута, при данных условиях, немедленно (но ценой второй), вторая — с некоторой отсрочкой и ценой "девальвации" первой. Чтобы понять, что разница здесь не в природе ценностей, а в условиях действия (в условиях "задачи"), достаточно слегка изменить приведенный пример: предположим, что немедленное сообщение правды приведет к мгновенному обмороку у пациента и последующей длительной амнезии, так что сообщение правды как таковое, нацеленное на её безусловное осознание другой стороной, возможно лишь после стабилизации состояния пациента (то есть чтобы сообщить правду, надо "считаться с последствиями"); напротив, спасение жизни требует формального получения согласия на повторную операцию с предоставлением релевантной информации, даже если пациент немедленно забудет сказанное в результате обморока и амнезии, то есть хирургу потребуется пойти на риск длительного психического расстройства и операции на фоне ухудшившегося состояния ради абсолютной ценности спасения жизни.

[20] Примерный список таких форм, проанализированных в зиммелевских работах см.: [299, p. 254].

Если воспользоваться приводимым А. Коэном примером, отчужденный от плодов своего труда рабочий на фабрике выполняет поставленную перед ним задачу, чтобы получить заработную плату. Одна-

ко так дело обстоит только при анализе действий рабочего с позиции нанимателя-капиталиста, рассматривающего деньги как автономную ценность. С точки зрения марксиста, сама конечная ценность денег может быть определена лишь с помощью прослеживания во "внефабричном" контексте всей последовательности действий, в которой деньги реализуют свою потребительную стоимость (рабочий использует эти деньги для повышения благосостояния семьи, для финансирования профсоюза и т. д.) [113, p. 80].

Эти две крайности натуралистских теорий действия (которым в сегодняшней теории примерно соответствуют теория рационального выбора и социобиология) Парсонс и обозначил известным термином "утилитаристская дилемма": 1) либо выбор целей детерминируется ненормативными элементами ситуации ("автоматически", через биологические механизмы, или с участием объективно детерминированных внутренних репрезентаций-"знаний" о ситуации), что превращает *сами цели* в "элементы ситуации", то есть в *условия* действия, нарушая логическую схему описания событий как целенаправленных "действий", 2) либо выбор действующим цели действия рассматривается как независимый фактор (экзогенная переменная), что предполагает индетерминизм самого выбора, "свободу безразличия": "В действительности невозможную позицию, поскольку не может быть никакого выбора между случайными целями" [243, vol. 1, p. 64].

Отметим, что, с точки зрения этого критика (философа М. Блека), переформулировка основных постулатов Парсонса с помощью "простого английского языка" часто обнажает их тривиальный либо основанный на тавтологии характер.

Обобщенные средства обмена, порождаемые внутри каждой из подсистем (власть, деньги и престиж/влияние), играют важную роль в их взаимной трансформации, однако детальный анализ роли этих средств в эволюции социальной системы выходит за рамки данного раздела.

Четвертой системой действия является биологический организм, представляющий собой низший уровень в иерархии контроля.

М. Уотерс также полагает, что, общаясь с Р. Парком в период работы в Чикагском университете, Мид мог познакомиться с идеями Г Зиммеля [308, p. 23]. Это предположение требует дальнейших доказательств, однако не лишена правдоподобия и гипотеза Л. Козера о том, что Мид мог лично посещать лекции Зиммеля во время своей аспирантской поездки в Германию в 1889 году. Там же Мид впервые познакомился с грандиозной системой В. Вундта, повлиявшей на его концепцию возникновения языка и коммуникаций в группе, а также его представления об интерактивной природе и эволюции жестов [120, p. 333–355].

Например, агрессивное оскаливание как незавершенная агрессия первого — бегство второго — преследование или переадресованная агрессия первого и т. д.

[28] Способность жеста-символа вызывать в "эго" ту же реакцию, что и в "альтер" Мид рассматривает в качестве эволюционного фундамента процессов означивания и становления языка, поскольку эта способность обеспечивает возможность предсказания реакции другого (на основе собственной реакции) — основное условие координации усилий и кооперации.

[29] Перевод косвенного падежа английского местоимения первого лица единственного числа — *Me* — составляет основную трудность для нахождения русских эквивалентов мидовским терминам, описывающим подсистемы "самости" — целостного человеческого *Я* (*Self*), в котором выделяется креативное "*Я*" (*I*) и рецептивное и рефлексивное ("зеркальное" в терминологии Ч. Х. Кули) "меня/мне" (*Me*). Вслед за другими авторами, мы сохраним английские обозначения двух подсистем [см.: 33, с. 212].

[30] Заметим, однако, что в блумеровской "личной версии" концепции взаимодействия Мида интерпретация символов-жестов и собственно языковых высказываний становится произвольной и договорной, то есть оторванной от "условий истинности" символизаций: а именно, действительных намерений действующих или условий действия. В результате, значение приобретает характерный "ментальный" ореол и превращается в принимаемое произвольно "определение", которое подлежит интерпретации ("...особый характер [символического взаимодействия] заключается в том, что человеческие существа интерпретируют или "определяют" действия друг друга вместо того, чтобы просто реагировать на действия друг друга" [97, p. 359] — как если бы возможно было "просто реагировать" на действия. Здесь интерпретативная концепция значения резко расходится с мидовской, которую можно обозначить как умеренно-бихевиористскую.

Дж. Скотт полагает, что игнорирование этих аспектов мидовского наследия оправдывается тем, что именно через работы Блумера Мид повлиял на социологическую теорию [274, p. 117, n. 3], однако очевидно, что это не вполне так. Теория *Я* как интерактивного "драматургического эффекта" (И. Гофман), неопрагматистские теории действия (Х. Йоас, М. Эмирбайер) — примеры рецепции мидовских идей, не опосредованных "конструкционистскими" идеями Блумера.

Вопрос о действительном статусе такой реальности в данном исследовании не обсуждается.

Обсуждение проблем теории познания выходит за рамки данной работы, однако заметим, что другой общей идеей феноменологи-

ческой традиции была идея (отчасти навязчивая) "понять понимание с помощью понимания" — открыть общее основание и источник познания как такового и тем самым проложить "королевскую дорогу" от несомненного и непосредственного опыта сознания к любому возможному знанию. Эта идея, видимо, нереализуемая в силу несводимости (по крайней мере, онтологической) знания к сознанию, порождает и очевидный теоретико-множественный парадокс: понимание как таковое тоже должно быть понято, то есть множество всего "понятого" должно быть членом самого себя.

[34] Название этой книги "Der Sinnhafte Aufbau der sozialen Welt" перекликается (и отчасти противостоит) названию вышедшей несколько ранее и сыгравшей большую роль в окончательном оформлении философии Венского кружка книги Р Карнапа "Логическое строение мира" (1928), в которой с позиций крайнего феноменализма доказывается невозможность синтетических априорных суждений и тавтологический характер любых истин неэмпирических наук.

[35] Обратное, видимо, неверно: достаточно полное научное объяснение может объяснить и неверную, но субъективно адекватную "естественную феноменологию" действия (примером чему могут служить теория рационализации в психоанализе, концепция отчуждения в марксизме и т. п.).

Интересную попытку систематизации и расширения шюцевской теории релевантности предпринимает С. Вайткус [305, p. 94–102].

Описание передачи собственно знаний как истинных и обоснованных убеждений, потребовало бы их содержательного, а не "социологического", отграничения именно как обоснованных, имеющих "доказательную базу" или практически подтвержденных и т. д., то есть как отличных от заведомо ложных, необоснованных и иных убеждений (предрассудков, "идеологий" и т. п.).

[38] Иными словами, описываемой конструктивистской традиции чужда довольно тривиальная, но верная идея, что статус, правдоподобие, легитимность и, наконец, смысл чего-то высказанного или "принимаемого на веру" в немалой степени зависит и от того, *что*, собственно, сказано.

Иронические кавычки позволяют предположить, что речь идет не о неких дорефлексивных интуициях, а об идеях как пропозициях.

[40] Проблематичность "материализации" заведомо ложных идей-конструкций может быть легко продемонстрирована даже на уровне здравого смысла (попробуйте зажечь спичку в бескислородной среде, твердо придерживаясь убеждения в существовании флогистона), поскольку объяснение действий, основанных на ошибочных "идеях" или не-знании неизбежно отсылает нас к "действительному положению дел", то есть к истинным и обоснованным убеждениям. Ложные идеи о природе горения отчасти объясняют намере-

ния "поджигателя", но не позволяют понять: 1) действительное протекание ("перформативность") и 2) исход действия того, кто зажигает спичку, а также 3) причины, психологические и социальные, по которым *его* идеи оказались недостаточно обоснованными. Однако эта "повседневная теория знания", к сожалению, легко забывается при любых попытках дать "антиэпистемологический", вульгарно-социологический анализ социального производства знания.

В "Пролегоменах" читаем: "Если действительно негодный идеализм — превращать вещи (а не явления) в простые представления, то каким же именем назвать тот идеализм, который, наоборот, делает простые представления вещами? Я полагаю, его можно назвать *грезящим* идеализмом в отличие от первого, который может называться *мечтательным*, и оба они должны быть отвращены моим так называемым трансцендентальным или, лучше, *критическим* идеализмом" (*Кант И.* Пролегомены / Предисл. и ред. А. Сараджева. М.—Л.: ОГИЗ, 1934, с. 164).

Сравните, например: "Конечно, в основе языка лежит *присущая человеческому организму способность к словесным выражениям*, но о языке начинают говорить лишь в том случае, когда возможно отделение словесных выражений от непосредственного здесь-и-сейчас субъективных структур.. Язык возникает в ситуации лицом-к-лицу, но может быть и удалён от неё... Корни отделенности языка — в способности передавать сообщения, которые непосредственно не выражают субъективности здесь-и-сейчас... В ситуации лицом-к-лицу язык обладает присущим ему качеством взаимности, отличающим его от других знаковых систем. Непрерывное создание словесных знаков в беседе [?] может сопровождаться непрерывными субъективными намерениями говорящих. Я говорю, *как думаю*, так же делает и мой партнер по беседе... Язык предоставляет мне *готовую возможность* объективации моего возрастающего опыта... Язык формирует лингвистически обозначенные [?] семантические поля и смысловые зоны. Словарь, грамматика и синтаксис способствуют организации этих семантических полей" [7, с. 64–71] (*курсив и вопросительные знаки мои — И. Д.*). Остается лишь найти адекватную лингвистическую, психологическую или социологическую теорию, которая объяснила бы, как, собственно, возможна эта волшебная работа языка на благо общества.

[43] Это, соответственно: значения-определения; объясняющие "теоретические утверждения в зачаточной форме"; явные теории, легитимирующие институты в терминах "дифференцированной системы знания"; "символические универсумы"

[44] В целом же, по мысли Гофмана, социальные установления должны также анализироваться по меньшей мере в четырёх других перс-

пективах, пересекающихся с драматургической (пятой). Это: *техническая перспектива* "практической рациональности", вне которой невозможно понять внешние (объективные) критерии оценки эффективности исполнений; *политическая перспектива*, позволяющая увидеть *цели* исполнений, направленных, инструментально или "в конечном счёте", на реализацию собственного постановочного "сценария"; *структурная перспектива*, отражающая влияние "вертикальных и горизонтальных статусных подразделений" на процесс исполнения, которое проявляется в согласованных усилиях по поддержанию образа статусной группировки; и наконец, *культурная перспектива,* устанавливающая нормативные рамки, в том числе одобряемые данной культурой конечные цели и допустимые средства исполнений, осуществляемых в пределах определенного социального установления [17, с. 284–287].

Ср., в частности: "Конечно, это общеизвестно, что разные социальные группировки по-разному выражают в своём поведении такие атрибуты, как возраст, пол, местность происхождения и проживания, классовый статус, и что каждый раз влияние этих простых качеств опосредствуется и конкретизируется сложной отличительной культурной конфигурацией принятых образцов поведения. *Быть* лицом данной категории значит не просто обладать требуемыми качествами из числа вышеназванных, но и соблюдать определенные нормы поведения и внешнего вида, которые дополнительно к этим качествам предъявляет человеку его социальная группа... Статус, положение в обществе, социальное место — это не материальная вещь, которой надо овладеть и выставить напоказ. По сути это схема соответствующего занимаемой позиции поведения — последовательного, идеализированного и чётко выраженного. Это нечто, что должно быть реализовано, независимо от лёгкости или неуклюжести, осознанности или бессознательности, лживости или честности исполнения" [17, с. 110].

[46] То есть в целом в духе мертоновской теории социальной структуры, дополненной некоторыми структуралистскими и постструктуралистскими концепциями генеративной лингвистики, марксизма и психоанализа.

Поскольку предыдущая фраза собственно и описывает функционалистскую модель причинного объяснения латентных функций социального действия [23, с. 41–45], широко применяемую самим Гидденсом во всех его работах, то рекомендация обходиться без её использования, видимо, может трактоваться как совет не ссылаться на самих функционалистских теоретиков — впечатление, усиливаемое и казуистическим обсуждением малосущественных различий между мертоновскими "непредвиденными" и гидденсовскими "непреднамеренными" последствиями действия [154, p. 37–38, n. 9].

[48] Здесь можно согласиться с оценкой А. Коэна: "П. Бурдье разделяет озабоченность Гидденса проблемой [соотношения] структуры/деятельности. Однако вместо гидденсовской диалектики контроля Бурдье, по всей видимости, постулирует фактическую неизбежность отношений культурного господства и угнетения, выражаемых в практиках символического насилия, которое оставляет угнетенным лишь немного эффективных способов реакции. Хотя Бурдье много писал по концептуальным темам, он никогда не формулировал свою концепцию действия в манере, которую можно было бы сопоставить с тем, как Гидденс развивает свой взгляд на праксис в теории структурации. Однако предрасположеннность Бурдье преувеличивать эффективность культурного доминирования, как мне кажется, покоится на двух непризнаваемых явно тезисах: постулате о том, что все люди жаждут признания со стороны других, напоминающем некоторые аргументы из гегелевской "Феноменологии духа", к которому присовокупляется ощущение повсеместного присутствия борьбы за признание в любой форме праксиса. Это ощущение предполагает в качестве своего основания волю к символическому господству (или статусному доминированию, в веберовских терминах), аналогичную ницшеанской "воле-к-власти" Это прочтение... делает Бурдье ближе к Фуко, чем к Гидденсу, и предлагает возможное объяснение отсутствия у него чего-либо подобного гидденсовской диалектике контроля" [116, p. 106, n. 11].

[49] Сильная аналогия с речевой компетенцией требовала бы введения идеи нормативности тех или иных рутин и структурных паттернов как аналога грамматичности, грамматических категорий языка. В лингвистике грамматические категории детерминируют, по точному определению Р О. Якобсона, что должно в данном языке сообщаться обязательно и безотносительно к контексту высказывания и речевым намерениям субъекта, то есть не может не сообщаться в силу структуры грамматических значений (род, число, локализация по отношению к говорящему и т. д.). Однако Гидденс на данном шаге стремится свести структуру к деятельности и, следовательно, избегает любых сильных аналогий в пользу инструментального и основанного на привычке характера правил и институтов ("...нормы фигурируют как "фактические" границы социальной жизни, по отношению к которым возможно множество манипулятивных установок" [154, p. 4]).

Дж. Ритцер применяет к теории структурации термин "чрезвычайно эклектическая" [256, p.429], что представляется вполне справедливым, поскольку оценка научной теории как синтетической и целостной обычно зависит от её доказанной способности давать ответы на множество различных вопросов, исходя из совокупности внутренне непротиворечивых посылок, а не исходя из возможнос-

ти постоянных "диалектических" переходов между взаимоисключающими предположениями, как в данном случае.

Запоминающимся рефреном рассуждений Гидденса является психоаналитически нагруженная присказка о том, что не всякий телесный акт в потоке деятельности имеет мотивацию.

См.. Childhood and Society, 1950 (русс. пер.: Эриксон Э. Детство и общество. Спб., 1996). Другое направление психоанализа, к которому эпизодически обращается Гидденс – "межличностная теория психиатрии" Г Салливена [294]. Однако и здесь Гидденс, подобно хорошей домохозяйке, берёт из салливеновской теории то, что ему "нужно", произвольно разрывая или перетолковывая концептуальные связи. Чтобы воссоздать в общих чертах утраченный теоретический контекст, отметим, что Салливен создал теорию развития *Я* (self) как рефлексивного *Я* (близкого мидовскому *Me*). Рефлексивное *Я* по происхождению социально и представляет собой более или менее интегрированный когнитивный "*Я*-образ" Его интроецированные, подчерпнутые из оценок окружающих, позитивные компоненты ("good me") связаны с переживанием чувства безопасности, негативные ("bad me") — с переживанием угрозы утраты безопасности, а отрицаемые и проецируемые вовне ("not me") — с чувством острой тревоги. Возникшая на этой основе идея диссоциированного "*Я*-образа", основанного на амбивалентных оценках, получаемых от матери в раннем детстве, — одна из лучших клинических теорий шизофрении. Гидденс, однако, использует терминологию Салливена преимущественно вне концептуального контекста, истолковывая понятие рефлексивности *Я* в духе феноменологической традиции и, в более поздней работе [155], экзистенциального психоанализа.

Связь теории структурации и генеративной лингвистики Хомского носит очень опосредованный характер. В работах Гидденса, содержащих наиболее артикулированное изложение теории структурации [см.: 154], не только отсутствуют прямые ссылки на работы Хомского или сколько-нибудь ясное изложение его ключевых идей, но и присутствуют не вполне понятные указания относительно проблем, порождаемых подходом Хомского, которые "едва ли находят ответ" в "Мышлении и речи" Л. Выготского. Последняя книга также интерпретируется довольно необычно — как демонстрация тесной связи между локомоторными навыками владения телом и овладением синтаксисом [154, p. 58–59], хотя речь в ней идет именно о соотношении асинхронных процессов развития мышления и речи, причём одним из важных результатов исследования оказывается тот факт, что в развитии ребёнка грамматика и синтаксис "идут впереди его логики" [12, гл. 7], не говоря уж о практическом сознании, упоминаемом в этом контексте Гидденсом.

[54] Для иллюстрации здесь можно использовать широко известную фразу про "глокую куздру", придуманную Л. В. Щербой: "Глокая куздра штеко будланула бокра и куздрячит бокренка" (цит. по: [3, с. 103]). Любой говорящий по-русски легко определит эту бессмысленную фразу как синтаксически правильную, сможет сформулировать к ней правильные или неправильные, с точки зрения синтаксиса и морфологии (но не семантики), вопросы и т. д. Такой же "абсурдной" правильностью в некоторых аспектах обладает и множество неправильных, с любой другой точки зрения, интеракций, что успешно продемонстрировал, в частности, И. Гофман (даже в палате для душевнобольных существуют некоторые критерии нормальности поведения).

Паллиативом рациональности у Гидденса выступает "осведомленность", основанный преимущественно на неявном знании характер взаимодействия: "...Осведомленность основана в меньшей мере на дискурсивном, чем на практическом сознании. Человеческие агенты всегда знают, что они делают на уровне дискурсивного сознания, под каким-то описанием. Однако то, что они делают, может быть вполне незнакомым под другим описанием...". Помимо внутренних противоречий и парадоксальных параллелей с гидденсовской критикой определения интенционального действия (см. *далее в основном тексте*), здесь стоит обратить внимание и на расширительную трактовку знания, в принципе не различающую эпистемологический статус утверждений: "Я преследую" и "Меня преследуют" даже в устах параноика. В своих существенных чертах это "знание" совпадает со "знанием" конструкционистской теории Бергера и Лукмана (при ещё большем подчеркивании его недискурсивной и неявной первоприроды), то есть не связано с какими-то возможностями определения его обоснованности, истинности и т. д.

[56] Стоит заметить, что определяя, что следует понимать под "теориями практики", авторы отсылают к обзорной статье антрополога Ш. Ортнера по антропологическим теориям и к действительно значимой работе С. Тёрнера, где определенные вышеописанным образом "теории практики" подвергаются радикальной критике.

Б. ТЕОРИИ ПРАКТИЧЕСКОЙ РАЦИОНАЛЬНОСТИ

Рассматриваемые в данном подразделе натуралистские (утилитаристские) теории "объективной", практической рациональности объясняют интенциональное действие в терминах объективно идентифицируемых целей-интересов индивидуального актора и способов (паттернов) практического исполнения, задаваемых внешней по отношению к актору ситуацией действия. Термин "натуралистские" указывает на связь этих теорий с натуралистской моделью объяснения в социологии (см. *с. 70–72 наст. изд.*, а также [23, с. 28–38], которая принимает тезис о глубинном единстве целей, общей теоретической логики и методов естественных наук и наук о человеке. Кроме того, натурализм, следуя в целом философской доктрине логического позитивизма, стремится к объяснению социального мира и действий людей посредством дедуктивно-номологической модели объяснения, или модели охватывающего закона.

ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ВВЕДЕНИЕ: ТРИ ТРАКТОВКИ РАЦИОНАЛЬНОСТИ И ТЕОРИИ СОЦИАЛЬНОГО ДЕЙСТВИЯ

Модель практической, или в более привычных социологам терминах инструментальной рациональности[1], служит метатеоретическим фундаментом всех концепций "экономического человека" в социальных науках. Поэтому экономика как частная дисциплина, систематически разрабатывающая такого рода концепции в течение последних полутора веков, представляет особый интерес для такого анализа. Причины этого интереса точно сформулированы А. Розенбергом: "Принимая принцип рациональности, экономисты традиционно посматривали в сторону возможного обобщения этого принципа для объяснения всей человеческой деятельности, при всем том, что сами они

использовали его исключительно для объяснения весьма небольшого диапазона человеческих действий и их совокупностей. Именно в этом смысле экономическая теория может трактоваться как самая базисная теория в социальных науках, так как ее декларируемая цель заключается в том, чтобы начать исследование с номологического предположения относительно человеческого поведения (то есть с приниципа рациональности — *И. Д.*), которое само по себе является неэкономическим и, таким образом, не только дает в конечном счете неэкономическое объяснение экономических явлений, но также очерчивает перспективу обобщенного объяснения всех прочих социальных явлений, в которых выражает себя активная деятельность человека. К сожалению, хотя экономика и кажется достойной особо фундаментального места среди социальных наук за выраженность своих эмпирицистских и редукционистских наклонностей, в другом отношении она оказывается наименее фундаментальной и наименее систематически разработанной. Ибо хотя она изобилует обобщениями, выведенными из постулируемого ею закона человеческого действия (практического силлогизма — *И. Д.*), она напрочь лишена единичных каузальных утверждений, которые обладали бы сколько-нибудь сопоставимым с прочими социальными науками эмпирическим и обсервационным обеспечением... и характеризуется значительно меньшей согласованностью взглядов исследователей относительно объяснения единичных фактов, чем, например, наименее общая из социальных наук — история" [258, p. 54].

Анализ основных преимуществ и недостатков концепции "экономического человека" составляет, таким образом, весьма удобную отправную точку для рассмотрения и обобщения моделей практической (инструментальной) рациональности, лежащих в основании социологических теорий рационального выбора и обмена. Однако прежде чем перейти к такому анализу и обобщению, нам необходимо уточнить само понятие практической рациональности и его соотношение с интерпретативными теориями целенаправленной деятельности.

Представления о том, чего же требует от нас практическая рациональность, то есть каковы *содержательные* нормативные стандарты рационального поведения, отличались впечатляющим разнообразием задолго до возникновения социологичес-

ких теорий действия (уже Аристотель признавал, что следование правилам логики является лишь необходимым, но не достаточным условием приписывания рациональности человеческим поступкам). Самая грубая и приблизительная классификация этих представлений позволяет выделить по меньшей мере три радикально различные трактовки [см.. 208, p. 2–11]:

- в первой трактовке быть практически рациональным означает действовать так, чтобы, выбирая наилучший способ действий из нескольких альтернативных, максимизировать свою прибыль и минимизировать убытки (для чего, конечно, действующему следует знать, в чем заключается его интерес и как он может быть измерен);
  вторая трактовка предполагает, что говорить об объективно рациональном, разумном поведении можно лишь тогда, когда поведение ориентировано на подлинное и предельное благо (эта трактовка отнюдь не является монополией метафизических теорий морали — достаточно указать на ключевую роль идеи "предельных ценностей" в нормативном функционализме Т. Парсонса);
  третья трактовка практической рациональности утверждает, что рационален тот, кто действует, сообразуясь с теми нормативными ограничениями, которые он согласился бы принять в качестве разумных, если бы рассуждал беспристрастно и не рассматривал собственные интересы как привилегированные (этой трактовке, в частности, следуют теория коммуникативного действия Ю. Хабермаса и многие либералистские теории рациональности и справедливости конца XX века, принимающие принцип "рефлективного равновесия" [см.: 52][2], она также близка дюркгеймовской идее "органической солидарности"[3]).

Три описанные трактовки практической рациональности обнаруживают своеобразное "избирательное сродство" с отдельными моделями объяснения социального мира и социального действия, популярными в теоретической социологии сегодня. Возможные здесь сопоставления типов рациональности и моделей действия носят, конечно, непрямой характер. Как уже говорилось, теории целенаправленной деятельности, анализировавшиеся в части А раздела II, представляют собой преимущественно индивидуалистские/субъективистские либо хо-

листские/субъективистские (Парсонс) концепции, в той или иной степени принимающие "нормативистское допущение" Натуралистские (или утилитаристские, в терминологии Парсонса и Дж. Александера) теории действия не только стремятся к объективной характеристике целей и способов действия, то есть следуют *первой* из описанных трактовок практической рациональности, но и зачастую стремятся объяснить само существование надындивидуальных норм и институтов интересами, ресурсами и/или навыками индивидуальных агентов действия. Иными словами, это индивидуалистские, объективистские и преимущественно инструменталистские теории.

Итак, в части Б настоящего раздела будут рассмотрены теории практической рациональности, объясняющие поступки людей в терминах желаний-интересов и обоснованных убеждений либо, пользуясь специальным словарем теории рационального выбора, в терминах предпочтений и информации. Это теории, которые принимают вышеприведенную первую трактовку практической рациональности как максимизации индивидуального интереса и ориентируются на эмпирическое исследование общих закономерностей человеческого поведения. Обобщенная характеристика этих теорий, как отмечает М. Уотерс, сводится к ряду "родовых" признаков, к которым, помимо предполагаемого теориями практической рациональности стремления акторов к максимизации объективно идентифицируемого индивидуального интереса, относятся также:

- постулируемое теориями данного типа стремление индивидуальных действующих увеличить собственный контроль над предложением социальных благ и, соответственно, уменьшить индивидуальную потребность (спрос) на них;
  характеристика социального взаимодействия как последовательности сделок, переговоров-"торгов" или соревновательных игр, направленных на вышеописанное увеличение контроля над социальными благами, что открывает возможность использования контроля над их предложением для принуждения или приобретения власти над другими участниками взаимодействия;
  представление о возникновении стабильных паттернов обмена и взаимодействия, основанных на устойчивых интересах — процесс, в свою очередь ведущий к возникнове-

нию социальных норм или квазинорм (имеющих инструментальный характер), нарушение которых может восприниматься как нарушение морального порядка;

методологический индивидуализм, характерный для всех теорий социального действия (включая и рассмотренные выше теории деятельности) [308, p. 57–58].

Важно, однако, не переоценивать существующие различия между социологическими теориями целенаправленной деятельности и инструментальной рациональности. Как уже говорилось, это прежде всего телеологические теории, соответствующие метатеоретической объяснительной модели рационального социального действия [см.: 23, с. 29–34] и восходящие, в той или иной мере, к аристотелевскому "практическому силлогизму" и веберовской программе исследования социального действия[4] Неудивительно, что многие сторонники последних версий утилитаризма, прежде всего теоретики рационального выбора (постулирующие не только рациональность действий, но и рациональность действующих), предпочитают возводить свою теоретическую родословную не столько к "экономическому империализму", сколько к веберовской инструментальной рациональности [см.: 67, p. 223; 230])[5] Связь последней с теоретической политэкономией и моделью "экономического человека" несомненна, однако именно философский утилитаризм и экономическая формализация идеи максимизации полезности повлияли и на взгляды Вебера в этом вопросе, и на формирование современной теории рационального выбора.

ГЛАВА 7

КЛАССИЧЕСКИЕ ТЕОРИИ ПРАКТИЧЕСКОЙ (ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЙ) РАЦИОНАЛЬНОСТИ

От утилитаризма к теории полезности

Современные представления о практической (инструментальной) рациональности и экономическом поведении более всего обязаны идеям философского утилитаризма И. Бентама и Дж. С. Милля[6], а также теориям классической политэкономии. Вклад утилитаризма заключался прежде всего в создании адекватного дескриптивного понятия для обозначения индивидуального, преимущественно материального, интереса, мотивирующего поступки людей. Этот интерес был обозначен как "полезность" и интерпретирован как свойство объектов удовлетворять желания индивидов.

Концепция полезности выгодно отличалась от заведомо нормативного словаря метафизических теорий морали, изобиловавшего субстантивистскими понятиями "блага", "справедливости", "добродетели" и "порока", а также доктринами, описывавшими диалектические отношения между этими понятиями. Разумеется, метафизические теории морали, как и социально-философские теории, также описывали индивидуальное и общественное поведение людей через стремление к благу вообще либо к конкретным благам, а равно и через свойственные людям добродетели и пороки. Однако возникавшие здесь споры (например, споры о том, являются ли общественные блага следствием индивидуальных пороков, или же дело обстоит как раз наоборот), если и допускали использование фактических аргументов, то все же требовали предварительного разрешения вопроса о самоочевидных и необходимых моральных принципах, на основании которых могла быть задана эмпирическая интерпретация вышеназванных нормативных понятий ("благо", "право", "добродетель" и т. п.). Вопрос же о

14 – 1295

моральных принципах оставался метафизическим, то есть не поддающимся редукции к наблюдаемым свойствам индивидуумов и, в указанном смысле, неразрешимым.

Понятие полезности такой "физикалистской редукции", на первый взгляд (как станет ясно из дальнейшего, взгляд в основном ошибочный), поддавалось. Во всяком случае, утилитаризм предложил убедительную натуралистскую трактовку социального действия, основанную на представлении о том, что люди имеют индивидуализированные объективные интересы, которые первичны по отношению к универсальным ценностям справедливости, общего блага и т. п., а также по отношению к нематериальным интересам, например, социальным, интеллектуальным интересам, личностной самореализации и т. п. Конечно, за утилитаристским "интересом" стояло "желание" аристотелевского практического силлогизма, однако оно объективировалось как способность конкретного предмета удовлетворять потребность индивида.

При таком подходе отношение людей друг к другу и к социальному миру в целом определялось, если воспользоваться лаконичной юмовской формулировкой, "эгоизмом и ограниченным великодушием", а также недостаточностью внешних ресурсов, способных удовлетворять желания людей [см.: 65]. Под эгоизмом понималось стремление максимизировать собственную удовлетворенность, свойственное каждому действующему. Свойственное "экономическому человеку" стремление к наиболее полному удовлетворению собственных желаний могло вести в обмену ресурсами между индивидами, давая начало отношениям взаимного контроля, торга, кооперации и т. д. Эта простейшая модель подвергалась многократным ревизиям и усложнениям, однако ее ядро оставалось (и остается) практически неизменным. Все макросоциальные взаимодействия в этой модели сводятся к рационализированным отношениям обмена и торга между индивидами. Рациональность индивидуального поведения оценивается как соотношение полезности результатов действия и затрат на его осуществление. Иными словами, для наследовавших утилитаризму социологических теорий инструментальной рациональности базисной формой социального действия является индивидуальное потребительское поведение.

Классическая экономическая теория сделала следующий шаг в разработке модели инструментальной рациональности, очертив возможность перехода от разнообразия желаний как индивидуальных диспозиций агентов действия к единообразию полезности как способности отдельной вещи удовлетворять какую-либо потребность. Систематизировавший политэкономическую доктрину Альфред Маршалл в "Принципах экономики" (1890) обрисовал гипотетическую спираль развития социальных отношений — от примитивных желаний, порожденных элементарными потребностями первобытных людей, к кооперации и обмену, которые обеспечивают производство новых благ и возникновение соответствующих новых желаний. В принципе, развитие производства и обмена вело к увеличению суммарной доступной полезности и, в переводе на язык потенциально удовлетворяемых желаний, к росту совокупного счастья человечества. Полезность в описываемой концепции выступала в качестве единой субъективной шкалы, позволявшей соразмерять затраты и выигрыши социального действия, а также оценивать эквивалентность обмена и эффективность производства. Единственная трудность, возникавшая перед классической экономикой на этом пути, заключалась в отсутствии простого способа измерения полезности. Так как сама идея полезности как неспецифической (то есть не связанной с определенной сенсорной модальностью или специфической мотивацией) психологической шкалы — непрерывной, имеющей нижний и, возможно, верхний пороги и метрической — была почерпнута экономистами из ненаучной "народной психологии" (см. *с. 284–287 наст. изд.*), совершенно естественной была и попытка ввести некоторые более строгие базисные психологические допущения, касающиеся рационального поведения, максимизирующего индивидуальную удовлетворенность. Три такие допущения были сделаны в конце XIX века представителями маржиналистской экономики (К. Менгер, У Джевонс, Л. Вальрас и др.), причем одно из них было просто спорным с точки зрения психологической науки той эпохи, а другое носило совершенно необоснованный характер.

Первое из допущений заключалось в том, что в ситуации выбора между различными альтернативами, агенты руководствуются истинными убеждениями относительно последствий

выбора цели и способа действий, то есть располагают "полной информацией" Согласно второму допущению, агенты (или сознательные субъекты действия) способны ранжировать альтернативы в зависимости от их предпочтительности, которая, в свою очередь, определяется оценкой ожидаемой полезности. При этом предполагалось, что полезность — это кардинальная величина, своеобразная "единая валюта" разнообразных желаний (то есть некая производная мера "желательности желаний"). Третье допущение имело статус общего закона и утверждало, что реальное действие агента будет определяться желанием максимизировать полезность и информацией (обоснованными убеждениями) относительно того, что определенный выбор из данной совокупности альтернатив в сложившихся обстоятельствах и приведет к ожидаемой максимизации[7]

Первое допущение ("полной информации") было, безусловно, не эмпирическим обобщением, а идеализацией, граничным условием для модели "экономического человека" Конечно, оно выглядело не слишком реалистичным, но главная его слабость заключалась в том, что оно превращало любые предсказания относительно действительно совершаемых выборов в нефальсифицируемые утверждения, так как возможные эмпирические демонстрации отклонений от закона максимизации полезности могли быть "списаны" на счет этой идеализации. То есть во всех случаях, когда агент не совершал предсказанных действий, максимизирующих его полезность, исследователь мог утверждать, что причина заключается не в ложности "закона инструментальной рациональности" (третьего допущения), а в заведомо нереалистичном характере первого допущения, иными словами в неполноте или ложности информации (верований и убеждений действующего)[8] Второе допущение обладало частичным правдоподобием, так как взрослые образованные люди обладают почти неограниченной способностью упорядочивать даже разнородные наборы объектов по их предпочтительности, однако выявляемые в эксперименте предпочтения весьма редко обнаруживают свойства транзитивности, аддитивности и т. п., необходимые для построения линейной шкалы одномерного признака. В большинстве случаев шкалы предпочтений являются производными, то есть нелинейными композициями нескольких критериальных шкал. (Последние, в свою

очередь, могут быть как шкалами монотонно возрастающего признака, так и шкалами с "оптимальной точкой".) Однако другая часть второго допущения — предположение о том, что упорядочение разнородных объектов по шкале предпочтений отражает их упорядочение по субъективно воспринимаемой полезности, — являлось не каким-то граничным условием, подобным условию "полной информации", а содержательным утверждением, описывавшим предполагаемую психологическую закономерность[9]

Проблема заключалась в том, что современная маржиналистской экономике психологическая наука попросту не располагала никакими фактами, обосновывающими столь смелое обобщение. По сути, описываемая закономерность постулировала существование психологического механизма, обеспечивающего возможность такого упорядочивания — "искусственного анализатора", если воспользоваться термином психофизиологии, — способного переводить различную специфическую мотивацию в "единую валюту" неспецифической удовлетворенности, то есть субъективной полезности. Однако данные нейрофизиологии и психофизиологии скорее свидетельствовали об обратном: а именно, об отсутствии такого единого, неспецифического "центра положительного подкрепления" Психология и физиология конца XIX — начала XX века располагали разнообразными доказательствами того, что даже базисная мотивация поведения (пищевая, питьевая, сексуальная) обладает довольно высокой модальной специфичностью и, как показали несколько более поздние нейрофизиологические исследования, имеет отдельные представительства в анатомически выделенных областях мозга. (Справедливости ради, нужно отметить, что некоторые теории нашего времени в этой области допускают существование неспецифического "центра положительного подкрепления" в латеральных областях гипоталамуса, однако этот центр является частью механизма эмоций, а не собственно мотивационных механизмов, и его роль связана с обеспечением возможности временной редукции специфических влечений и "отсрочки вознаграждения" [см.: 41; 234]). Данные психологии свидетельствовали о том, что увеличение доступного удовлетворения для одного типа мотивации не ведет к "замещению" Попросту говоря, возможность неограниченного удовлетворения пищевой,

например, потребности, обычно не ведет к росту общей удовлетворенности и, соответственно, к снижению питьевой или какой-либо еще мотивации. Следовательно, ожидаемая полезность объектов обладает "мотивационной специфичностью" и чрезвычайно низкой кроссмодальной сопоставимостью. Существование единого механизма восприятия и оценки субъективной полезности было, таким образом, весьма спорным открытием экономистов в области психологии. И это открытие оказалось не последним.

Для того чтобы сконструировать кардинальную шкалу полезности, маржиналистская экономическая теория ввела еще одно психологическое предположение (обусловившее, кстати, название этой школы). Это предположение заключалось в том, что полезность некоего предмета потребления является монотонно убывающей функцией его количества ("закон убывания предельной полезности"). Отсюда можно было вывести, что в случае линейного роста цены товара или услуги его удельная полезность будет убывать пропорционально росту цены. Таким образом, совокупный спрос на такой товар (или услугу) также может быть описан как монотонно убывающая функция цены. Выведенная из перечисленных психологических гипотез теоретическая кривая спроса как функции цены демонстрировала высокую степень соответствия кривым, обобщающим эмпирические данные о процессах ценообразования, что и маржиналистами, и их критиками воспринималось как блестящее доказательство исходных предположений. По-видимому, более "экономные" объяснения устойчивой обратной связи цены и спроса, не основанные на опосредующих психологических переменных наподобие полезности (например, объяснения, исходящие из "принципа бартера" — обмена денег как ограниченного ресурса на неограниченно возрастающее количество единиц товара), воспринимались большинством исследователей как слишком формальные и психологически непривлекательные[10] Притом гипотетические законы психологии, фигурировавшие в качестве предпосылок закона убывающей полезности, в действительности носили отнюдь не произвольный характер.

Еще в XVII веке выдающийся швейцарский математик Я. Бернулли сформулировал "закон убывающего прироста богатства", утверждавший, что субъективно ощущаемая величи-

на денежной прибавки к уже имеющемуся у индивида состоянию будет, для данной абсолютной величины прибавки, тем меньше, чем больше размер уже накопленного состояния. Первооткрыватели психофизического закона П. Бугер и Э. Вебер (30-е годы XIX века) переформулировали эту закономерность для субъективных шкал ощущения, доказав, что для субъективных шкал освещенности, высоты звука и т. п. отношение предельного, едва заметного приращения стимула к его исходной величине (отношение, называемое дифференциальным порогом) является постоянной величиной. Г Фехнер, сформулировавший в "Элементах психофизики" (1860) логарифмический закон субъективной величины ощущений, должен был ввести еще одно предположение — что сама величина маржинального, едва заметного различия субъективных ощущений (дифференциальный порог) является константой. Именно эта константа (едва заметное приращение ощущений), являвшаяся единицей субъективных сенсорных шкал, и стала идеалом и прообразом "предельной полезности" как субъективной шкалы удовлетворенности. Однако все психофизические шкалы были производными от объективных метрических шкал измерения физических стимулов (веса, физической высоты звука и т. д.), тогда как полезность такой объективной "шкалы стимула" не имела, так как разнородные предметы потребления (шапки, пальто, яблоки и т. п.) не могли быть сопоставлены на единой количественной шкале независимо от контекста (какова объективная ценность шнурков без ботинок или горчицы без сосисок?), доступности заменителей и величины текущих потребностей, если, конечно, не принять за такую шкалу цену предметов в деньгах, однако цены должны были, согласно закону предельной полезности, выводится из последнего, а не служить основанием для его выведения. Кроме того, деньги являлись особым "товаром", соотношение субъективной ценности которых с их абсолютным количеством как раз и сформулировал Бернулли.

Именно поэтому экономистам не удалось найти эмпирического подтверждения факту существования кардинальной шкалы полезности, подобного тем многочисленным подтверждениям, которые получили психофизические законы Вебера и Фехнера. (Интересно отметить, что экономисты и не пыта-

лись проверить правдоподобие своих "психологических предпосылок" столь естественным для эмпирической науки опытным путем. Единственным исследователем, проводившим экспериментальное изучение закона максимизации полезности в первой трети XX века был великий психолог Л. Л. Терстоун, однако он исходил уже из концепции "ординальной полезности".)

Трудности, с которыми столкнулась исходная версия концепции "экономического человека" и идея кардинальной шкалы полезности привели экономистов и социологов конца XIX — первой половины XX века и прежде всего, В. Парето, объединявшего две эти профессиональные роли, к принятию более умеренной идеи ординально измеряемой полезности и первичной формулировке собственно теории рационального выбора.

Первая из названных идей была сформулирована Парето в качестве противовеса инструментальной и чрезмерно материалистской трактовке полезности у Маршалла[11]

Взгляды В. Парето

Для Вильфредо Парето, как и для Маршалла, эвристический смысл понятия полезности заключается в открываемой им возможности операционализации рационального выбора как исчисления сопоставимого (межличностно либо для одной личности в разные моменты времени) индивидуального преимущества, достигаемого в результате какого-то поступка. Причем такое преимущество может носить не только материальный, но и моральный характер, и, следовательно, помимо "экономической полезности" следует говорить о "моральной полезности", например, возможной полезности регулярной молитвы для достижения вечного спасения ("пари Паскаля"[12]). Кроме того, понятие полезности как общей меры удовлетворенности всей совокупности побуждений ("осадков") индивида носит очень субъективный характер и должно быть дополнено более объективным понятием "офелимности" (*от греч.* ophelimon), характеризующим пригодность, "прибыльность" некоего обращающегося на конкурентном рынке предмета, "актива", для удовлетворения какого-либо желания или потребности человека [см.: 240, p. 99–102]. Офелимность достигает максимума в том

случае, когда индивид получает максимум удовлетворения от приобретенного на рынке набора товаров (как и в случае предельной полезности, из теории алгебраических функций можно тривиально вывести, что максимум совокупной офелимности набора "активов" будет достигаться при равенстве предельных офелимностей всех входящих в набор товаров).

Разумеется, моральные и материальные полезности и офелимности (различие между которыми было забыто последующими поколениями экономистов и социологов) не могут быть сведены к единой причине и измерены в одной абсолютной шкале, в чем однако нет необходимости, если использовать для формулировки уравнений экономического равновесия и соответствующей теории цены не гипотетические способности "экономического человека", а сугубо аксиоматические свойства кривых безразличия (непрерывность, выпуклость и т. д.), позволяющие также задать ординальные отношения предпочтения для различных благ. Именно этот путь избрали Парето, а затем Дж. Хикс и остальные "неоклассики" Однако полученные таким способом модели формирования цены и равновесия представляют собой уже не эмпирически обоснованные теории максимизирующего "экономического человека" (и социального действия как рационального выбора), а абстрактную "ценностную логику", то есть логическое ("тавтологическое") исчисление объективно возможных ценностных исходов, "выигрышей" и "проигрышей" математической теории игр. Парсонс удачно суммирует описанную линию развития теоретического мышления Парето:

> Он дальше всех в своем поколении продвинулся в разработке математической формулировки системы экономического равновесия как целого... Более того, Парето понял и акцентировал абстрактность экономической теории. Он считал, что она имеет дело с типовыми действиями, являющимися логическими по отношению к процессам обеспечения средств для удовлетворения желаний. Сами же желания и предельные препятствия для их удовлетворения должны рассматриваться экономической наукой как данные. Сверх всего, Парето показал, что, используя кривые безразличия, можно сформулировать все уравнения экономического равновесия, не обращаясь к понятию полезности, освободив, таким образом, экономическую

теорию от последних признаков зависимости от психологического гедонизма. Он также ушел от ортодоксальных взглядов [классической политэкономии], построив полную теоретическую схему не только на обычных предположениях конкуренции, но также на предположениях монополии и коллективизма. Он совершенно определенно не думал, что экономическая теория сама по себе способна дать полное объяснение сложных социальных событий. Остро осознавая наличие неразрешимых для экономики конкретных проблем, он ощущал выраженную потребность в более широкой науке, дополняющей экономику, и таким образом обратился к социологии [246, p. 105–106].

Последовательное применение модели рационального действия к объяснению социального взаимодействия и кооперации очевидным образом требовало сведения последних к индивидуальным выборам социальных акторов. При таком подходе всякая форма добровольной коллективности или общественная политика как таковая должны были хотя бы отчасти моделироваться по образцу экономического равновесия, основываясь либо на своего рода контракте ("общественном выборе"), либо на непреднамеренно достигаемой координации индивидуальных интересов, напоминающей "невидимую руку" рыночной конкуренции, но уж во всяком случае не на внешней детерминации силами "принуждения и обмана"

Именно с вышеприведенными соображениями и связано проводимое Парето уже на уровне коллективного действия резкое разграничение максимизации "офелимности для общества" как совокупности индивидов и максимизации "общественной офелимности" как интегральной характеристики общества. Последняя, по мнению Парето, невозможна в принципе, так как офелимности различных людей несопоставимы, а представление о внеличных "общественных целях" лишено смысла (однако, полагает Парето, можно говорить об утилитаристской "общественной полезности" когда, например, правительство обменивает "убыток" для заключаемого в тюрьму преступника на "выигрыш" в безопасности всех остальных членов общества). Любое отдельное изменение в социальной политике должно рассматриваться именно с точки зрения максимизации "офелимности для общества" как набора индивидуальных офелимнос-

тей (или полезностей). Описанный подход требует такого критерия оценки достигнутого общественного благосостояния, который, в отличие от утилитаристского "суммарного общего счастья" (то есть простого линейного индекса), в котором увеличение благополучия большинства может оплачиваться и "слезинкой ребенка", был бы чувствителен к изменениям в удовлетворенности каждого из членов общества (или группы).

Чтобы ввести такой критерий, необходимо развести два типа элементарных социальных изменений — "движений", которые можно операционализировать как переходы от одного распределения благ или соответствующих офелимностей между членами общества или группы к другому распределению:

> Движения первого типа, P, таковы, что будучи выгодны одним индивидам, они с необходимостью вредны для других. Движения второго типа, Q, таковы, что они служат во благо, или в ущерб, всем индивидам без исключения [241, § 871].

(Движения второго типа, Q, принято именовать Парето-доминантными.)

На выделении движений второго типа и основан предложенный Парето критерий максимизации "офелимности для общества":

> Когда сообщество находится в точке Q[13], очевидно, что с экономической точки зрения целесообразно не останавливаться в этой точке, а двигаться дальше от неё до тех пор, пока движение от неё выгодно для всех. Когда, однако, достигнута точка P, откуда дальнейшее такое движение невозможно, необходимо, думая остановиться ли в достигнутой точке, обратиться к соображениям, чуждым экономике, то есть решать на этических основаниях, на основаниях социальной полезности и чего-либо еще, кого из индивидов вознаградить и кем пожертвовать. Описанная точка играет в данной ситуации роль, аналогичную точке, в которой достигается максимум индивидуальной офелимности и в которой, соответственно, индивидуум останавливается. На основании этой аналогии ее можно обозначить как *точку максимальной офелимности ДЛЯ сообщества* [241, § 872].

Хотя весьма существенное различение офелимности и полезности в дальнейшем, к сожалению, игнорировалось абсолютным большинством экономистов, социологов и политологов,

предложенный Парето критерий максимальной офелимности для общества, несколько ослабленный и обозначаемый ныне как *Парето-оптимальность*, стал самой влиятельной попыткой единой содержательной трактовки двух довольно абстрактных идей — общественного блага и экономического равновесия, содержавшихся в трудах классиков теоретической экономики (прежде всего, в работах Вальраса и Джевонса). В современной трактовке, Парето-доминантность определяет некоторую ситуацию A в обществе как предпочтительную (доминатную) по отношению к ситуации B в том и только том случае, если каждый член общества в ситуации A оказывается в положении, не худшем, чем в ситуации B, и по крайней мере один человек оказывается в лучшем положении. Парето-оптимальность, как критерий общественного блага, используемый при выборе социальной или экономической политики, это такое состояние общества, для которого отсутствует другое Парето-доминантное состояние, переход к которому мог бы улучшить хоть чью-то ситуацию, не ухудшив при этом положение кого-либо из остальных членов общества. Если трактовать индивидуальную функцию полезности, отражающую положение отдельного члена общества, как ординальное упорядочение предпочтений (или "выявленных предпочтений", следуя П. Самуэльсону), оптимальным будет такое положение дел, которое все члены общества сочтут более предпочтительным либо не худшим (отношение слабого предпочтения), чем предшествующее положение дел. Следует заметить, однако, что Парето-оптимальность сама по себе является довольно неоднозначным оценочным критерием. Во-первых, для любого субоптимального состояния общественных предпочтений (или соответствующего распределения первичных благ) можно указать потенциально бесконечное множество оптимумов, многие из которых будут выглядеть весьма сомнительно с точки зрения любых других критериев. (Например, состояние, учитывающее индивидуальные предпочтения Гитлера или Пол Пота, при прочих равных, будет доминировать над состоянием, их игнорирующим.) Во-вторых, из предложенного Парето принципа невозможно вывести имманентный ему критерий для сравнения различных оптимумов между собой и, следовательно, нахождения единственного "наилучшего" значения функции общественного благосостояния.

Парето-оптимальность — идея, которая легла в основание теории социального выбора, а также того важнейшего направления нормативной политэкономической теории, которую принято называть "экономикой благосостояния", или теорией общественных благ. Значимость этой идеи связана с ее привлекательной особенностью, осознанной уже Парето и другими основателями неоклассической теории. Будучи безусловно нормативным понятием, Парето-оптимальность имеет явные признаки дескриптивности, "естественного" происхождения. Действительно, как и в случае ценового равновесия спроса и предложения, описанного классической политэкономией, Парето-оптимальность обладает некоторыми признаками встроенного уравновешивающего механизма, так как любое индивидуальное "движение" от Парето-оптимальности неизбежно ведет к общему субоптимальному состоянию, то есть уменьшению значения по меньшей мере некоторых из взаимозависимых индивидуальных функций полезности. Зависимость совокупного "блага для общества" от индивидуальных функций полезности, то есть, в принятой Парето ординальной трактовке полезности, от индивидуальных упорядочений предпочтений, позволяет предположить, что Парето-оптимальность как критерий *коллективной рациональности* совпадает с некоторой точкой равновесия индивидуально-рациональных (в смысле максимизации индивидуальной функции полезности) "движений", что могло бы мотивировать отдельных членов общества поддерживать сложившееся равновесие "общественной полезности", дабы не подвергать риску собственную функцию полезности.

Последнее рассуждение, как стало ясно несколькими десятилетиями позднее, в общем случае неверно (см. *с. 250 наст. изд.*), однако оно в той или иной форме поддерживало неизменно острый интерес экономистов и политологов к нахождению совокупности дополняющих Парето-оптимальность оценочных принципов, которые позволили бы выносить объективно обоснованные и даже обязывающие суждения относительно рациональности, разумности общественных решений, публичной политики или экономических институтов, апеллируя при этом исключительно к неограниченному своекорыстию отдельных членов общества, то есть к "их собственным интересам" Де-

тальный анализ причин такого устойчивого интереса к критериям практической рациональности со стороны обществоведов, ориентированных на прикладной анализ социальных проблем, выходит за рамки данной работы, поэтому мы ограничимся несколькими выразительными цитатами из статьи Б. Бэрри и Р. Хардина, описывающей причины и последствия злоупотребления "экономической" концепцией рациональности в общественных науках:

> Едва ли будет преувеличением сказать, что рациональность в качестве предельного критерия для оценки верований и поступков заместила собой и истину, и мораль. Даже если мы отваживаемся использовать такие термины, как "истинный", либо такие слова из словаря морали, как "справедливый", мы обязаны понимать их каким-то таким способом, который позволяет вывести их из более фундаментального понятия рациональности... [Современная философия либерализма] утверждает, что суть либерализма заключается в отказе от поддержки социальными и политическими институтами одного образа жизни в ущерб любому другому. Хотя каждый индивид может иметь частную точку зрения на относительную ценность разных образов жизни, это должно оставаться вне пределов любого обсуждения правил, которым следует придать обязывающий статус в обществе. Эта идея немедленно ставит нас перед проблемой: если невозможна апелляция к ценности некоторого образа жизни, который мог бы поддерживаться и оберегаться совокупностью институтов, то к чему апеллировать? Если предположить, что неограниченное следование различным образам жизни (или, на деле, неограниченное следование одному образу жизни со стороны различных индивидов) приведет к конфликту, то должны существовать некоторые авторитетные правила, позволяющие предотвратить взаимную фрустрацию. Но на каком основании следует поддерживать сами эти правила? Ответ, возникающий с очевидностью, снова подразумевает обращение к понятию рациональности. Ибо только понятие, настолько лишенное содержательного наполнения, дает надежду на желаемую нейтральность... Конечно, одно дело сказать это, и совсем другое — построить убедительную аргументацию в пользу того, что рациональные индивиды должны согласиться принять определенную совокупность правил, и при этом принять их как в некотором смысле наилучшее, что они могут вывести из своих непримиримых то-

чек зрения. Будет неуместным спрашивать здесь, насколько наши философы преуспели в предложении таких принципов. Что интересует нас здесь, так это опять же чудовищное количество работы, к совершению которой принуждают понятие рациональности [85, p. 368, 370–371].

Представления Парето о детерминантах индивидуального и коллективного поведения связаны с его концепциями чувств (сентиментов), осадков и производных (дериваций). Осадки представляют собой внешние поведенческие проявления базовых чувств и инстинктов как ценностных ориентаций, то есть отношение между ними может быть примерно описано как отношение "неявная ценность — поведенческий симптом" (подробнее о сути этих понятий, определяемых Парето не вполне чётко, см., например: [15, с. 197–201; 299, p. 379–381]).

Поскольку чувства проявляются посредством осадков, Парето считает возможным классифицировать их вместе, то есть для краткости во многих случаях подразумевать под осадками и чувства, ими манифестируемые [239, sect. 1690]. Им выделено шесть основных классов осадков, описывающих и "встроенные" биологические программы поведения, и собственно фундаментальные нормативные ориентации (инстинкт комбинаций; настойчивость в сохранении агрегатов; активность как потребность в проявлении своих чувств посредством внешней деятельности; социальность как потребность принятия со стороны других и принадлежности; единство индивида, проявляемое в материальных интересах, желании статуса и самотождественности; сексуальный осадок) [239, sects. 888–899]. Причем выявленность тех или иных осадков в конкретном обществе, в конкретный исторический период свидетельствует о состоянии коллективных чувств, способствующих их проявлению, легитимирующих эти проявления и т. д. Осадки, таким образом, во-первых, выступают в качестве шести аналитических "измерений действия", и, во-вторых, позволяют классифицировать различные состояния человеческих групп и обществ через соотнесение с этими фундаментальными "измерениями"-ориентациями действия [299, p. 380–381].

Согласно Парето, смена преобладающих ориентаций — один из множества описанных им социальных, политических и экономических циклов. В ходе этого цикла периоды жёстких

нормативных ограничений и низкой терпимости (когда индивидам вменяются в вину даже непреднамеренные последствия действий) ведут к рациональной критике верований и норм, которая расшатывает нормативный контроль, увеличивает терпимость даже к преднамеренным отклонениям и неоднозначность в интерпретации норм. Последняя, в свою очередь, усиливаясь до предела, ведет к отказу от "рациональной проблематизации" традиций и нормативных ориентаций и в пределе к преобладанию в массах "слепой веры" и консервативного следования нормам, после чего возрастающая жесткость и ригидность норм вновь ведет к рациональной критике и либерализации и, следовательно, к повторению цикла [см.: 239, sect. 1265–1383, 2513; 299, p. 386–390, 402–403].

Что же касается производных (дериваций), то они представляют из себя своего рода "надстройку", состоящую из "обыденных теорий" или мифов, объясняющих, узаконивающих или даже маскирующих (если воспользоваться психологической терминологией — "рационализирующих") поведенческие осадки и лежащие в их основе чувства. Соотношение этих (субъективно-рациональных, в веберовском смысле) рационализаций с подлинными объяснениями, базирующимися на научном методе, называемом Парето логико-экспериментальным, напоминает отношение бэконовских "идолов разума" к научному знанию. (Подробнее о видах дериваций и их отношении к логико-экспериментальному пониманию действий см.: [15, с. 200–201].) Таким образом, деривации, по Парето, могут служить для социолога симптомами неявных интересов, которые они обслуживают, или господствующих ценностных стандартов, на которые опираются обоснования и легитимации осадков [299, p. 381–382]. Колебания между стремлением действующих к соответствию дериваций реальности и стремлением к их максимальной эффективности с точки зрения их инструментально понимаемой "социальной полезности" ведут, по мнению Парето, к "наблюдаемым в течение стольких многих веков постоянно повторяющимся колебаниям маятника: между скептицизмом и верой, материализмом и идеализмом, логико-экспериментальной наукой и метафизикой" [239, sect. 1680–1681].

ГЛАВА 8

"МОДЕРНИСТСКИЕ" ТЕОРИИ ПРАКТИЧЕСКОЙ РАЦИОНАЛЬНОСТИ

Зарождение социологических теорий рационального выбора и общественного выбора

Теория общественного (социального) выбора — это попытка расширения описанной выше утилитаристской модели рационального выбора на область коллективного целеполагания. Очевидно, что правдоподобное объяснение осмысленного действия в терминах целей-предпочтений и верований относительно доступных способов действия утрачивает сугубо умозрительный характер лишь тогда, когда его удается успешно применить для исследования "надлежащей проблематики" социальных наук — процессов возникновения социального порядка, а также существования устойчивых форм взаимодействия и координации коллективного действия (от первичных групп до безличных институтов принятия коллективных решений).

Предложенную неоклассической экономикой модель "рационального максимизатора", дополненную описанными выше идеями агрегирования индивидуальных предпочтений и оптимизации полученной функции общественного благосостояния, следовало, как минимум, дополнить теорией, описывающей механизм отображения индивидуально-рациональных целей действия в цели добровольного коллективного действия или в цели общественной политики, поддерживаемой через институты политического участия. Иными словами, социологическая концептуализация этой модели должна была найти социологически правдоподобный ответ на старый Гоббсов вопрос о том, как возможно общество, состоящее из эгоистичных (инструменталистских) индивидуальных акторов.

Целью теории общественного выбора, начало разработки которой можно условно датировать началом 50-х годов

15 – 1295

XX века[14], стал "...анализ условий, при которых можно найти некий механизм, или правило, позволяющий коллективной организации (правительству, социальным учреждениям, профсоюзу, фирме) приходить к решениям, которые тем или иным способом отражают решения, желаемые ее членами. Следовательно, теория общественного выбора выступает в качестве нормативной теории выборов и законодательных решений. В более широкой интерпретации, она рассматривает тот характерный для любого нормативного суждения о межличностных отношениях аспект, который основан, в той или иной мере, на удовлетворении индивидуальных потребностей" [82, p. 252–253]. Основной вопрос, на который отвечает теория общественного выбора, можно сформулировать так: каким образом коллективные действия и социальные организации (как коллективные интенциональные проекты) осуществляют согласование индивидуальных интересов участников (при этом индивидуальные акторы рассматриваются как различающиеся "наборы предпочтений").

Очевидно, что нормативный характер теории общественного выбора восходит к нормативному характеру самого понятия практической рациональности, подразумевающего идентификацию смысла действия в терминах цели как желаемого, должного или предпочтительного положения вещей. Поэтому кажется не лишенным смысла предположение о том, что исходные трудности рационального объяснения индивидуального действия (упоминавшиеся в *подразделе А* применительно к теориям целенаправленной деятельности и подробно анализируемые далее, *в разделе III*), в частности, проблемы объективного приписывания целевых состояний, множественности интенциональных описаний, неопределенности сугубо формального критерия рациональности целей действия и т. п., должны обнаружить себя и в моделях коллективного оценивания, принятия решения и действия, осуществляемого рациональными индивидами, каждый из которых преследует собственные интересы. Это предположение с избытком подтверждается впервые изложенной в работе К. Эрроу [81] *теоремой о невозможности* такого выбора (интерпретируемого как функция общественного благосостояния, коллективный интерес или совместно принимаемое решение), а затем дополненной и уточненной для различных модификаций исходных условий и различных предположений о ха-

рактере индивидуальных "вкладов" в коллективное решение. Теорема утверждает невозможность выбора, соответствующего содержательным критериями совместного интереса или коллективного принятия решений, во всех случаях, когда принимаются минимальные условия рабного и неограниченного внешними условиями отображения индивидуальных функций полезности, то есть индивидуальных упорядочений предпочтений.

Эрроу представил формальную модель общественного выбора как построения единственного совместного упорядочения предпочтений R, основанного на n индивидуальных упорядочениях предпочтений (R_i, R_y... R_n). Собственно теорема невозможности утверждает, что не существует такой функции общественного благосостояния f, преобразующей индивидуальные упорядочения в общественный выбор[15], $R = f(R_1, R_2, \ldots R_n)$, которая удовлетворяла бы таким минимальным условиям, как:

- *Парето-оптимальность*, когда для пары альтернатив x, y из множества выборов X все индивиды предпочитают x относительно y, общество также предпочтет x относительно y;
  неограниченная область: искомая функция выбора должна быть определена на всем множестве логически возможных комбинаций индивидуальных упорядочений альтернатив из множества всех альтернатив X. В действительности, разумеется, члены конечной группы выбирают далеко не все возможные упорядочения, однако и для небольшого числа исходных упорядочений невозможно избежать цикличности (несовместности) коллективного упорядочения;
  независимость иррелевантных альтернатив: если множество подлежащих упорядочению (релевантных) возможных альтернатив X является подмножеством какого-то множества $X+$, то при неизменности всех индивидуальных парных сравнений на X получаемое коллективное упорядочение должно остаться неизменным даже при изменении других индивидуальных упорядочений на $X+$. Это условие, хотя и довольно сложно для понимания, также не противоречит интуиции: если выбор осуществляется исключительно между Ивановым и Сидоровым, сравнительные достоинства Петрова не имеют отношения к выбору;
  отсутствие диктатора: не существует такого индивида, чьи индивидуальные предпочтения полностью определя-

15*

ют общественный выбор для любой пары альтернатив.

Эрроу показал, что при наличии хотя бы трех альтернатив (x, y, z) и не менее двух выбирающих индивидов функция общественного благосостояния может быть только диктаторской. Ослабление различных условий или даже допущение кардинальности шкалы предпочтений[16] ведут лишь к расширению исходной интерпретации теоремы[17] Очевидно, что условия неограниченной области и отсутствия диктатора, которые играют решающую роль в "парадоксе Эрроу", обеспечивают сугубо эндогенный, "имманентный" характер детерминации предполагаемого правила или механизма общественного выбора и являются обобщением формального критерия практической рациональности, наследуя от последнего свойство неопределенности. Возникающие здесь трудности становятся еще более очевидными при использовании приема "обратной проекции" механизмов общественного выбора на решения, принимаемые отдельной личностью. В этом случае одни и те же альтернативы могут получать различные ранги предпочтений в различных временных, ситуативных или ценностных контекстах, а одна и та же ситуация выбора может оцениваться с соответствующих различных точек зрения: "Мои эгоистические, альтруистические, моральные и социальные *Я* могут по-разному ранжировать альтернативы, что делает необходимым какой-то механизм агрегирования. В этой ситуации некоторые особенности стандартной теории социального выбора приобретают несколько иной облик. Например, наличие диктатора может казаться чем-то, не вызывающим возражений. Возможно, нам захочется сказать, что структура моральных предпочтений должна побеждать во всех случаях. Чувствуя все же, что такой исход далеко не всегда наблюдается в реальности, мы, возможно, переформулируем вопрос в виде задачи нахождения второго наилучшего решения: если какая-то степень внутриличностной демократии неизбежна, как она должна быть устроена? Другим внутриличностным расширением являются межвременные решения" [134, p. 5–6]. В отсутствие каких-либо содержательных критериев рациональности или детерминант действия, "экзогенных" по отношению к общественному или индивидуальному формально-рациональному механизму или правилу выбора, принимающему всякое соотношение целей как данность, беспристрастный и информированный выбор между пред-

почтениями разных индивидов либо даже разных фрагментов наших "*Я*" не может быть реализован (если, конечно, не предположить, что наши эмпирические личности не являются частями социального или биологического сверхорганизма, что, однако, отсылает нас к моделям действия, далеким от идей рационального выбора). Теорема Эрроу, при надлежащей интерпретации, не отрицает саму возможность социального или коллективного выбора рационального способа действия, тем более перед лицом эмпирического многообразия обязывающих социальных или коллективных решений правовой, политической или иной природы; она лишь демонстрирует, что такие решения не могли бы приниматься (в прямом и переносном смысле) и сохранять свой обязывающий характер исключительно посредством мобилизации случайным образом варьирующих (ср. условие неограниченной области) и не зависящих от "иррелевантных", то есть нормативных, ограничений индивидуальных интересов. И если для политологов и экономистов ключевым вопросом здесь оказывается вопрос о том, какими должны быть содержательные соображения и обоснованные критерии принятия коллективных решений, играющие роль "безличных диктаторов" (или, вернее, арбитров) и позволяющие избежать противоречий инструментально-рационального социального выбора[18], то для социологов преимущественный интерес представляет вопрос о том, какие отличные от интересов и полезности "факторы *X*" (термин Дж. Элстера [131]) могли бы объяснить явления кооперации, следования коллективным нормам, поддержания устойчивых паттернов взаимодействия и т. п., не поддающиеся редукции к сумме индивидуальных рациональных выборов. Иными словами, главную трудность для теоретиков социального выбора представляет описание и объяснение именно нормативного аспекта индивидуального и коллективного действия.

Практическая рациональность без интенционального выбора: от бихевиоризма к необихевиористским теориям обмена (Б. Скиннер, Дж. Хоманс, П. Блау, Р. Эмерсон)

Бихевиоризм зародился в конце XIX века как одна из "классических школ" психологии. Американский психолог Э. Торндайк первым стал исследовать процессы научения у животных. Для этого он использовал строгий экспериментальный

план с независимой переменной (подкрепление — отсутствие подкрепления) и специальное устройство — "проблемный ящик" позволявшее изолировать воздействие внешнего стимула и однозначно фиксировать и подкреплять успешные реакции животных. Торндайк пришел к выводу, что животные обучаются методом "проб и ошибок", то есть основой систематического и целенаправленного (относительно внешнего, заданного психологом-наблюдателем критерия) изменения поведения являются случайные действия. Отбор целесообразных реакций происходит благодаря их подкреплению, то есть успешная реакция имеет большую вероятность последующего воспроизведения ("закон эффекта"); кроме того, если при одновременном воздействии раздражителей один вызывает реакцию, то другие также приобретают способность вызывать ту же реакцию ("закон ассоциативного сдвига"). Описанные механизмы изменения поведения в существенных чертах воспроизводили дарвиновскую эволюционную парадигму, но уже на индивидуальном (онтогенетическом) уровне.

Учение И. Павлова об условных рефлексах и предложенные им аппаратные методы изучения поведения также стали существенной частью того интеллектуального контекста, в котором формировалась исследовательская программа бихевиоризма.

Основные методологические принципы бихевиоризма были сформулированы Дж. Б. Уотсоном (10-е годы XX века) применительно к психологии:

- психология должна изучать и объяснять поведение как совокупность наблюдаемых реакций, детерминированных стимулами внешней среды;
  использование объективного метода и объяснительных моделей естественных наук требует радикального отказа от менталистской терминологии и от поиска "конечных причин" поведения в сознании субъекта;
  описания поведения должны быть переведены с языка гипотетических сущностей сознания на язык эмпирически наблюдаемых реакций и стимулов.

Уотсон изгнал из психологии не только намерения, мотивы и образы, но и любые отсылки к нейрофизиологическому субстрату поведения, считая, что предположения о физиоло-

гических механизмах так же избыточны для поведенческих наук, как и менталистские гипотезы.

Однако наибольшее влияние на формирование нынешних бихевиористских моделей объяснения в социальных науках оказали взгляды *Берреса Фредерика Скиннера*. Скиннер попытался защитить натуралистскую версию анализа человеческого поведения, подвергнув последовательной критике все социологические и социально-философские теории действия, основанные на концепции "автономного человека", и прежде всего, субъективистские теории действия [286; 287]. По мнению Скиннера, критики бихевиористской программы исходят из ошибочной трактовки гуманизма как самодостаточного индивидуализма. Последний, в конечном счете, основан на противопоставлении свободы и достоинства человека как факта и ценности, с одной стороны, детерминизму и натурализму "науки о поведении" — с другой. В его представлении традиционные трактовки свободы действия отличаются от бихевиористской лишь тем, что включают в детерминационный ряд внутренние, интенциональные состояния человека, а не реальные обстоятельства окружения, то есть "контингенции подкреплений" Он полагал, что и позитивистская парадигма, ориентированная на "социальные факты", и социальный конструкционизм, сводящий социальное к субъективным определениям ситуации "с точки зрения действующего", занимаются анализом теоретических фикций, тогда как реальными объектами изучения социальных наук должны стать исходные условия (антецеденты) поведения, само поведение и его последствия.

Оперантная концепция действия, выдвинутая Скиннером, основана на идее рекурсивной взаимообусловленности поведения и окружения. Активные действия "организма" вызывают изменения "внешнего окружения", причем указанные изменения оказывают обратное воздействие на "организм", увеличивая или уменьшая вероятность воспроизведения вызвавших эти изменения поведенческих реакций — оперантов. Воздействия, меняющие частоту повторения действия-операнта, и определяются в качестве положительных или отрицательных (аверсивных) подкреплений. Таким образом, понятие "подкрепления" удается определить без обращения к телеологии субъективно осознанных целей действия, а именно, как специ-

фические (непредвиденные) последствия поведения, влияющие на частоту его воспроизведения.

Распространение этой концепции на социальное поведение ведет к бихевиористской теории практической рациональности, объясняющей целеориентированное (и в широком смысле "намеренное") действие в качестве направленного и даже оптимального с точки зрения ситуативных критериев разумности, но не обязательно максимизирующего полезность и, тем более, не обязательно основанного на осознанном соотнесении актором целей и средств действия.

Бихевиористская теория действия отнюдь не постулирует, как иногда утверждают, что человеческая деятельность может быть описана как сугубо рефлекторная и лишенная интенционального содержания. Постулат, радикально отличающий бихевиористскую модель объяснения от интерпретативной, может быть сформулирован довольно просто: отношение действия к его исходу (результату) является не "смысловым", а контингентным, обусловленным "случайностями" ситуации действия и предысторией действующего.

"Добихевиористские" теории действия, согласно Скиннеру, исходили из предположения о том, что внутренние (ментальные) антецеденты действия имеют какое-то отношение к "свободе воли" Иными словами, психические причины получали некое моральное преимущество в сравнении с "внешними окружениями" действия. Однако, по его мнению, ценой морального комфорта, достигаемого таким путем, является невозможность объяснить или предсказать реальное поведение с помощью отсылок к желаниям и убеждениям невидимого "внутреннего человека", так как такого рода отсылки не объясняют, а лишь описывают поведение в других терминах ("Я поехал в Париж, потому что хотел поехать в Париж")[19] Кроме того, неясно, чем внутренние детерминанты действия превосходят внешние, персонализированные в неких "Контролерах" Более того, децентрализованные и безличные формы контроля со стороны "окружения", являющегося, в значительной мере, непреднамеренным результатом предыдущих поступков людей, представляют значительно бо́льшую угрозу индивидуальной свободе, чем очевидные формы принуждения.

Скиннеровская версия бихевиористского объяснения говорит в *б*ольшей мере о детерминированности (и свободе) действий, а не деятелей[20] Несколько иная модель бихевиористского объяснения в социологии была предложена *Джорджем Каспером Хомансом*. Для подхода, предложенного Хомансом, характерны (в порядке убывания значимости):

приверженность натуралистскому тезису единства метода и дедуктивно-номологической модели объяснения (*см. рис. 6 на с. 69*);

редукционизм;

методологический индивидуализм (номинализм).

Хоманс подверг критике социологический реализм, восходящий к методологической позиции Э. Дюркгейма. Не отрицая, что человеческое взаимодействие ведет (уже по определению) к возникновению новых, собственно социальных явлений, Хоманс утверждает, что для объяснения этого взаимодействия не требуется вводить какие-нибудь новые пропозиции, принципиально отличающиеся от пропозиций, описывающих индивидуальное поведение. Отсюда следует редукционизм Хоманса: то, что по мнению Дюркгейма, может быть объяснено только социологией, для Хоманса поддается сведению к фундаментальным принципам психологии. Кроме того, недостаточно объяснить социальный факт, указав на другой социальный факт, послуживший причиной первого. Следует специфицировать конкретный механизм, связывающий причину и результат. Такой механизм всегда реализуется через поведение отдельных людей и, следовательно, по необходимости будет психологическим. Индивидуальные поведенческие реакции, по Хомансу, являются универсальными психологическими посредниками между социальными фактами.

Если Скиннер оставляет открытым вопрос о детерминированности или, напротив, интенциональной нейтральности тех "социальных окружений", которые подкрепляют действие, то у Хоманса можно найти формулировку ключевой для сегодняшней социальной теории проблемы — проблемы перехода от индивидуального действия к широкомасштабной социальной структуре (и обратно). Решение этой проблемы, по мнению Хоманса, может быть получено при использовании дедуктивно-номологической модели объяснения и редукции макросоци-

ального к фундаментальным законоподобным пропозициям, относящимся к уровню поведенческой психологии. Примером "психологической экспликации" институциональных изменений[21] может служить, в частности, осуществленный Хомансом анализ процесса распространения машинного производства в английской текстильной промышленности XVIII века [185].

Хоманс предпринял попытку последовательно вывести закономерности социального взаимодействия на субинституциональном уровне (то есть на уровне преимущественно межличностного или межгруппового взаимодействия), применяя закономерности бихевиористской психологии к специфической ситуации, когда основным источником вознаграждений (или конкретным "социальным окружением") становится другой человек (или группа). Эта попытка потребовала такого обобщения бихевиористской концепции "подкрепления", которое сделало бы ее применимой к элементарной ситуации взаимодействия между "Личностью" и "Другим", когда участники "подкрепляют" друг друга не только материальными, но и социальными благами, в том числе похвалой, вниманием, услугами (известность приобрел приведенный Хомансом шутливый пример: психолог подкрепляет голубя пищей, а голубь психолога — ожидаемыми результатами эксперимента). Так как необходимые для такого обобщения понятия "полезность", "издержки" "прибыль" были позаимствованы из классической экономической теории, та исследовательская программа, которая возникла на основе, заложенной работами Хоманса, получила название *теории обмена*. В самых разных модификациях теоретики обмена используют натуралистскую, дедуктивно-номологическую модель объяснения, трактуя рациональность как максимизацию полезности. Важно отметить, однако, что если под "издержками" Хоманс понимает, вслед за экономистами, упущенные возможности вознаграждения (выгоды), которые актор мог бы получить при выборе альтернативных способов действия, а под "прибылью" — величину разности между актуально полученными вознаграждениями и понесёнными издержками [183, p. 31], то его трактовка рациональности действия отличается от классической утилитаристской концепции в сторону неоклассической трактовки. "Пропозиция рациональности" утверждает, что выбирая между альтернатив-

ными действиями, индивид предпочтёт то из них, которое, с его точки зрения, в данный момент даст бо́льшую величину произведения вероятности исхода, p, на его ценность, V [183, p. 43].

В ставшей знаменитой программной статье "Социальное поведение как обмен" [182] Хоманс называет в качестве своих предшественников Г Зиммеля, очертившего проблематику социального действия как "элементарного социального поведения" в малых группах, и М. Мосса, первым предпринявшего попытку последовательного социологического осмысления "одной из старейших теорий человеческого поведения", рассматривающей социальное взаимодействие как "обмен благами, материальными и нематериальными" [182, p. 597–598][22]. Кроме того, Хоманс указывает на фундаментальное значение для социологии экономических теорий практической рациональности (на взгляды самого Хоманса самое непосредственное влияние оказали идеи В. Парето, которому была посвящена и его первая серьёзная публикация [181])[23]

Анализируя условия практической стабилизации внутригруппового взаимодействия на некотором уровне распределения индивидуальных прибылей и издержек, Хоманс приходит к идее расширения условий Парето-равновесия, описанных выше. Это расширение заключается в рассмотрении нормативного аспекта обмена между индивидами, формирующими группу, который описывается специальным понятием *дистрибутивной справедливости* (справедливости распределения). Анализируя результаты социально-психологических экспериментов по смене индивидуального мнения под влиянием группового давления, Хоманс сначала формулирует "слабое условие" достижения Парето-равновесия в группе: изменения в поведении максимальны, когда актуально воспринимаемая прибыль минимальна. Затем уточняя, что хотя это условие и не подразумевает прямой демонстрации того, что наименьшие изменения в поведении будут наблюдаться при наибольшей прибыли (то есть обратного условия), всё же "...если, как только поведение человека приводит его к балансу вознаграждений и издержек, он изменяет его в сторону, противоположную тому, что даёт, при данных обстоятельствах, наименьшую прибыль, то может наступить такой момент, когда его поведение далее не будет изменяться;

иными словами, поведение на некоторое время стабилизируется" [182, p. 603]. Хотя из этого определения практического равновесия ещё не следует, что все индивиды будут стремиться к достижению максимальной прибыли для себя (поскольку их индивидуальные выигрыши в группе и возможность стабилизации паттерна индивидуальных прибылей и издержек зависят от поведения остальных членов группы), оно все же позволяет перейти к анализу условия, делающего такое практическое (и, возможно, субоптимальное) равновесие более вероятным.

Именно таким условием является *принцип дистрибутивной справедливости*: если, в ситуации взаимодействия издержки одной группы (подгруппы, отдельных членов группы) больше, чем у другой группы (подгруппы, членов группы), то справедливость распределения требует, чтобы их вознаграждения также были выше [182, p. 604]. Иными словами, внутри группы будет возникать тенденция к уравновешиванию, выравниванию "нормы прибыли" В терминах престижа и экономического статуса, эта тенденция будет проявляться не столько в максимизации обобщенной полезности (которая могла бы достигаться по одному из возможных измерений статуса за счёт других), сколько в стремлении к установлению соответствия между различными измерениями статуса, то есть к достижению "статусной конгруэнтности" [182, p. 604].

Очевидно, что нормативная природа принципа дистрибутивной справедливости не подразумевает универсального стремления к неограниченному росту утилитаристской индивидуальной полезности и прочно привязывает индивидуальный "диапазон сравнений" к наблюдаемому поведению других членов группы, делая само необихевиористское описание "человека расчетливого" более правдоподобным в сравнении с классической концепцией практической рациональности. Хоманс также справедливо полагает, что объяснение социального поведения как обмена — многостороннего отношения, имеющего нормативные характеристики сбалансированности и дистрибутивной справедливости, позволяет лучше понять сложные процессы образования невидимых сетей "групповой структуры" [182, p. 606].

Сходная концепция, рассматривающая процесс уравновешивания индивидуальных мотивационных "наград" и соответству-

ющих "наградам" актуальных и потенциальных "затрат" в диадических отношениях обмена между индивидами в качестве основы для формирования отношений власти и зависимости на групповом и субинституциональном уровнях, содержится и в работе *Питера Мозеса Блау* 1964 года "Обмен и власть в социальной жизни" [96]. В ней Блау показывает, как структурные ограничения и неопределенности возможных прибылей/издержек влияют на индивидуальный выбор в элементарной модели обмена. В этой версии необихевиористской теории обмена основой для возникновения связей между людьми является "социальная аттракция" — стремление взаимодействовать с другим человеком либо в силу его привлекательности, либо в силу возможности получить внешние вознаграждения (универсальными эквивалентами внешнего "подкрепления" в процессе обмена, по Блау, могут быть деньги, услуги, уважение, уступки). При невозможности предложить достаточно эквивалентный обмен "аттрактивной" персоне, действующий может либо отказаться от взаимодействия, либо предоставить другому "обобщенный кредит власти", которым тот волен воспользоваться позднее, потребовав от "должника" подчинения. Так неравенство индивидуальных ресурсов при элементарном обмене ведет к возникновению неравенства и власти. Неравенство и власть в межличностных отношениях предопределяют возникновение социальной структуры, а также сил социального изменения. Блау описывает этот процесс как цепочку, состоящую из трех звеньев:

- межличностное взаимодействие ведет к возникновению различий статуса и власти;
  дифференциация статуса и власти ведет к социальной организации и (ее) легитимации;
  легитимация и организация усугубляет неравенство, создавая условия для оппозиции и социального изменения.

Социальная структура, однажды возникнув в процессе микросоциального взаимодействия, становится относительно автономным окружением последующих взаимодействий и накладывает на них определенные ограничения, разрушение которых может стать лишь результатом успешно организованной оппозиции. Сходным образом Блау описывает возникновение более сложных сетей межгруппового обмена, зарождение институтов, смену лидерства и т. п.[24]

Одной из первых попыток применить к анализу сложных групповых структур, возникающих в последовательности обменов, которые происходят в социальной группе, формальный аппарат математической теории игр, а также некоторые элементарные средства теории графов, стали работы *Ричарда Марка Эмерсона* [135; 136; 137], ставшего фактическим основателем активно разрабатываемых в настоящее время теорий *сетей социальной власти/зависимости* (К. Кук, Л. Молм, Н. Такахаши, Т. Ямагиши и др.), именуемых иногда просто "сетевой теорией"

Основываясь на хомансовской концепции дистрибутивной справедливости, а также на работах социальных психологов необихевиористского и когнитивистского направлений, разрабатывавших теории взаимозависимости и когнитивного баланса/диссонанса в малых группах (Г Келли и Дж. Тибо, Л. Фестингера, А. Бавеласа и др.), Эмерсон попытается концептуализировать достаточно популярные в социологии 50-х годов XX века, но чрезмерно размытые и "качественные" представления о "структуре власти" и сетях влияния в группах и небольших территориальных сообществах.

Наиболее значительный теоретический результат, полученный Эмерсоном — систематический анализ и первичная классификация паттернов обмена, возникающих при расширении исходного "партикулярного" обмена в диаде до "обобществленного" обмена в триаде взаимодействующих акторов, представляющей собой элементарную модель потенциально неограниченной сети обменов. Предложенные Эмерсоном подходы к анализу влияния сделали более ясной для следующего поколения исследователей перспективу рассмотрения обмена как многостороннего отношения, в пределе превращающегося в анонимный обобщенный обмен, и заложили основу для теоретического и эмпирического изучения социальных сетей как концептуальных эквивалентов рынков в экономике[25]

По Эмерсону, расширение числа участников обмена может приводить к усилению или, что более вероятно в типичном случае единообразия мотивации в каждой из взаимодействующих диад и ограниченности обмениваемых ресурсов, к уменьшению интенсивности обмена в исходной диаде. Так, появление альтернативного партнёра по играм будет вести к

уменьшению взаимодействий между исходной парой играющих детей, а появление нового партнёра для бесед – к уменьшению интенсивности общения со старым партнёром. Чтобы привязать эти довольно очевидные соображения к таким теоретическим понятиям, как власть, влияние, господство, легитимация и авторитет, Эмерсон опирается на определение социальных отношений как отношений взаимной зависимости между сторонами: "Зависимость актора *A* от актора *B* (1) прямо пропорциональна мотивационному инвестированию *A* в цели, опосредуемые *B*, и (2) обратно пропорциональна доступности этих целей для *A* вне отношения *A*—*B*" [135, p. 32]. Оговаривая, что всякая такого рода зависимость будет специфичной для данного типа целей/ресурсов и, следовательно, будет распространяться на ограниченный диапазон ситуаций, Эмерсон считает, что такая концептуализация отношений зависимости создает базу для концептуализации и, в дальнейшем, операционализации отношений власти (ещё раз подчеркнём, что в этой трактовке зависимость и власть выступают в качестве реляционных характеристик, а не индивидуальных атрибутов): "Власть актора *A* над актором *B* — это количество сопротивления со стороны *B*, которое может быть потенциально преодолено *A*" [135, p. 32]. Исходя из предположения, что власть *A* над *B* (*Pab*) основана на зависимости *B* от *A* (*Dba*) и равна ей по величине, Эмерсон определяет реципрокные, сбалансированные отношения:

$$\begin{array}{ccc} Pab & = & Dba \\ \| & & \| \\ Pba & = & Dab. \end{array}$$

Если власти *A* над *B* соответствует равное количество власти *B* над *A*, власть не исчезает и не "гасится", однако в таких сбалансированных отношениях, даже при значительной мотивированности каждой из сторон во взаимодействии и отсутствии альтернативных источников удовлетворения специфического интереса, не могут возникнуть отношения господства, доминирования.

Разность между *Pab* и *Pba* как раз и характеризует величину властного преимущества *A* во взаимодействии с *B* (при отрицательной величине этой разности, уместнее говорить о властной невыгодности данного отношения для *A*). Неравенство

во власти позволяет говорить о несбалансированности отношений и доминировании одной из сторон, что для элементарного случая взаимодействия в диаде будет выглядеть следующим образом:

$$\begin{array}{ccc} Pab & = & Dba \\ \mathrm{V} & & \mathrm{V} \\ Pba & = & Dab. \end{array}$$

Очевидно, что восстановление баланса в диадических отношениях возможно преимущественно за счёт "отвода" мотивации со стороны более зависимого участника либо в результате обнаружения альтернативного источника удовлетворения интереса.

Однако даже сбалансированные диадические отношения часто перестают быть таковыми при расширении численности участников: "...*Сеть власти* — структура, определяемая, как два или более *взаимосвязанных* отношения власти-зависимости. Как мы видели в нашем примере [появление третьего участника в отношениях двух играющих детей], когда отношение *С—А* увязывается через *А* с отношением *А—В*, формируя простую линейную сеть *С—А—В*, свойства отношения *А—В* изменяются. В нашем примере сбалансированное отношение *А—В* выходит из состояния равновесия, давая *А* властное преимущество" [135, p. 36]. В целом, всякое элементарное диадическое отношение, будучи включенным даже в небольшую сеть, начинает зависеть от свойств этой сети. В частности, Эмерсон демонстрирует, как приобретаемая организованным "коллективным актором" власть над индивидуальными акторами, включенными в сеть обмена, принимает характер не встречающих сопротивления требований "коллективного актора", регулирующих поведение всех (нормы) или некоторых (ролевые предписания) членов группы [135, p. 37–38].

В своих работах Эмерсон дал увлекательные примеры анализа "балансировочных операций": формирования коалиций, организованных групп и позиционной структурной власти (определяемой расположением данного индивида в сети). Эти идеи были развиты в работах его коллег и учеников, посвященных феноменам центральности позиций, "накопления" власти и обобщенного доверия в открытых и закрытых сетях и т. п.[220; 296]. Однако предложенный им подход, резко расширивший

рамки необихевиористских теорий обмена, сохранил ключевую объяснительную слабость теорий рационального действия — невозможность идентифицировать ценности-цели действия независимо от описания самого действия [см.: 146]. Вместе с тем трудно не согласиться с мнением Дж. Тёрнера относительно того, что Эмерсону удалось по меньшей мере сместить фокус своего теоретизирования со сложнейшего вопроса об "объяснительной тавтологичности" и логических сложностях всех социологических моделей "солитарного" рационального действия (обсуждаемого далее в данной работе) к чрезвычайно интересной проблеме реляционных свойств уже сложившихся отношений. Предположив лишь, что сам факт устойчивого существования некоторого отношения обмена доказывает существование какого-то выигрыша для каждой из сторон (идея небесспорная, однако и не заведомо абсурдная), Эмерсон смог указать путь к анализу структурных, реляционных свойств такого отношения [см.: 301]. Открывающиеся на этом пути возможности для теоретического анализа были значительно усилены взаимодействием с разработанными позднее формальными моделями эволюционных игр, о чём ещё будет сказано в следующей главе. Важно отметить, однако, что достигаемый при этом теоретический прогресс имеет место преимущественно за счёт сдвига к объективистской (холистской) позиции и, соответственно, отказа от рассмотрения "собственной" проблематики индивидуального действия и практической рациональности.

Характеризуя необихевиористские теории обмена в целом, следует особо подчеркнуть, что они ориентированы на исследование закономерностей возникновения и поддержания коллективных норм как следствия индивидуальных интересов. Однако в отличие от рассмотренных выше классических моделей "однократного и неотзываемого" интенционального выбора и принятия решений теории обмена возводят всякое социальное взаимодействие к распределенному во времени обмену позитивными и аверсивными подкреплениями, увеличивающими или уменьшающими вероятность воспроизведения исходных действий участников обмена. Подкрепления, курсирующие в цепочках социального обмена на субинституциональном и институциональном уровнях, могут иметь характер пер-

вичных благ либо обобщенных средств обмена (деньги, услуги, уважение, уступки, похвала и внимание), так что их общей чертой является лишь способность мотивировать и подкреплять поведение. Стремление участников обмена максимизировать доступное вознаграждение ограничивается не только вероятностью отрицательного, аверсивного подкрепления ("издержек"), но и действием принципа убывающей предельной полезности, психологическим механизмом которого, с точки зрения необихевиористских теорий обмена, является хорошо изученный феномен "уровня адаптации" [137, p. 31–34]. Неравенство индивидуальных ресурсов участников обмена в диаде либо различия в их локализации внутри более широкой "сети" обмена может, как было показано, вести к возникновению элементарных форм дифференциации, эксплуатации и власти. Вознаграждения, получаемые индивидом в социальном взаимодействии, зависят от тех вознаграждений, которые он сам предоставляет остальным участникам, при этом нарушения баланса вознаграждений (в силу очевидной неэквивалентности обмена либо в силу эффекта адаптации к постоянному уровню вознаграждения) могут контролироваться с помощью самоподдерживающегося механизма "дистрибутивной справедливости" Таким образом, и существование устойчивых паттернов взаимодействия, и возникновение самоподдерживающихся социальных институтов рассматриваются как сети взаимных обменов, а основным методом анализа процессов кооперации и следования нормам оказывается анализ "прибылей" и "издержек" индивидуальных или корпоративных акторов.

ГЛАВА 9

"ПОСТМОДЕРНИСТСКИЕ" ТЕОРИИ ПРАКТИЧЕСКОЙ РАЦИОНАЛЬНОСТИ: ОТ МАКСИМИЗАЦИИ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ИНТЕРЕСА К ПАРАДОКСАМ КОЛЛЕКТИВНОГО ДЕЙСТВИЯ И СОТРУДНИЧЕСТВА

Теоретико-игровые модели рационального действия и "эволюция сотрудничества"

Удар, нанесенный теоремой Эрроу по классическим утилитаристским идеям общественного выбора как расширения индивидуальной практической рациональности, к концу 60-х — началу 70-х годов XX века был существенно усилен идеями М. Олсона, рассмотревшего некоторые неочевидные последствия ситуации, когда даже самое тривиальное решение о совместном действии, принимаемое индивидами с частично или полностью совпадающим интересом или тождественным упорядочением предпочтений, оказывается нереализуемым ровно в той мере, в которой его воплощение зависит от продолжающихся (неоднократных) вкладов достаточно большого числа участников.

Работа Олсона 1965 года "Логика коллективного действия" [237], в которой проблематизировалась идея "группы интереса" казавшаяся прежде скорее очевидной, вызвала большой резонанс и стала первым толчком к разработке многочисленных формальных моделей коллективного действия. Как Эрроу в начале 50-х годов продемонстрировал логическую противоречивость казавшихся очевидными представлений о социальном выборе и коллективном принятии решений, так Олсон показал, что рациональные и эгоистичные индивиды в общем случае не будут действовать в соответствии с явными целями и нормами группы, добиваясь общих или групповых интересов.

Еще до появления работы Олсона многие экономисты активно обсуждали проблему общественных (публичных, коллек-

тивных) благ, то есть совместно оплачиваемых и "неотключаемых" удобств, подобных общеобразовательным школам, общественным дорогам и паркам, органам охраны правопорядка и т. п. (Такие блага, будучи произведенными, доступны для использования всеми членами коллектива или общества в целом.) В центре этого обсуждения стояла идея "апологии государства" и проводимой им принудительной фискальной политики, которая обосновывалась достаточно очевидной аргументацией: рациональные и эгоистичные граждане не станут добровольно оплачивать общественные блага. Дело в том, что при достаточно большом числе участников предельная полезность единичного вклада в приобретение коллективного блага будет стремиться к нулю, так что отдельный индивид будет иметь все основания пользоваться преимуществами общественных благ, не затрачивая собственных ресурсов (если только у него не появятся веские основания считать, что его поведение очевидно для других и может побудить их поступать таким же образом, либо если санкции, налагаемые государством на "неплательщиков", не превзойдут возможный выигрыш от узко эгоистического поведения) [см.: 87].

Олсон продемонстрировал проблематичность коллективного действия в более общей форме, распространив свои выводы на социологию массовых движений, теорию организаций, исследования политического участия и т. п., и представив чистую прибыль (A_i) от участия индивида i в достижении целей некоторой группы как разность индивидуальной доли совокупного дохода, получаемого этим индивидом (V_i), и издержек на участие в группе (C): $A_i = V - C$. Если $A_i > 0$ для некоторых индивидов, группа является привилегированной и имеет шансы на успех; при $A_i < 0$ для *всех* i группа является латентной и не сможет функционировать, если не будут задействованы приватные, "отключаемые" избирательные поощрения для части участников. Таким образом, Олсон обосновывает два тезиса: во-первых, большие группы имеют изначально меньшие шансы на успех в сравнении с малыми; во-вторых, "узко-рациональный" то есть эгоистически мотивированный индивид имеет все основания уклоняться от внесения своего индивидуального вклада (в денежной форме, в форме политического участия либо в любой иной) в создание неотчуждае-

мых коллективных благ, которыми он в любом случае сможет пользоваться, если уж они будут созданы. Последняя проблема получила название "free rider problem" — "проблемы неплательщика" (или "зайца", если воспользоваться схожим термином). Олсон предположил, что решение проблемы коллективного действия возможно лишь при наличии "избирательных подкреплений" — материальных или символических санкций, поддерживающих участие в группе и отличных от коллективных благ, являющихся легитимной целью совместного действия.

Более поздние работы в области теории социального выбора и сетевой теории, не опровергая модель "аддитивной" коллективной практической рациональности как основы совместного действия и социальной организации, были направлены преимущественно на уточнение предельных условий, при которых большие группы будут (либо не будут) в действительности демонстрировать олсоновский "парадокс коллективной иррациональности" Суммируя основные результаты в этой области, можно сказать, что коллективное бездействие вероятнее в гомогенных, внутренне не дифференцированных группах, не имеющих маленьких "ядерных" подгрупп, способных эффективно контролировать своих членов и порождать пороговые эффекты самоорганизации (при наличии активных подгрупп коллективное действие становится более вероятным), а также в случае, когда затраты растут пропорционально увеличению размера группы или опережают его, тогда как "совместно предлагаемые" публичные блага с фиксированными или медленно растущими по мере увеличения численности потенциальных потребителей затратами вполне могут быть результатами организованных действий больших групп[26] [см.: 236]. Надёжность групповых механизмов принятия и исполнения решений, собственно солидарность группы, тесно связана со способностью последней монополизировать ресурсы и эффективно исключать не-членов из числа потребителей коллективных благ [173]. Ещё одним, возможно, наиболее перспективным направлением дальнейшей разработки сетевой теории обмена является исследование возможностей и границ идеи *обобщенного обмена* — социологической концептуализации библейской заповеди "пускать хлеб свой по водам" чтобы

вновь найти его через много дней. Обобщённый обмен — односторонняя передача ресурсов, возмещаемая лишь потенциально и не реципиентом, а третьей стороной, исследовался социальной антропологией (Б. Малиновский, М. Мосс, М. Салинз), однако теоретики обмена предложили относительно новую концептуальную рамку, позволяющую объяснить с позиций практической рациональности иррациональную, на первый взгляд, "экономику дара", наблюдаемую в самых разных обществах (хорошо известные примеры: обычай кула в Океании, описанный Малиновским, или матрилинейный кроссузенный брак, анализировавшийся К. Леви-Стросом в структуралистской перспективе). Для возникновения обобщённого обмена даже в слабо структурированных сетях, состоящих из рациональных эгоистов, где индивиды обладают информацией лишь о своих ближайших соседях, достаточно существования метастратегий, или правил, основанных на оценке дающим того, насколько соответствует поведение "получателя" безвозмездных даров какому-то критерию честности: скажем, наблюдая за поведением соседа-реципиента своего дара, индивид принимает решение прекратить помогать ему, так как убедился, что сосед, в свою очередь, проявляет "жадность" по отношению к третьему лицу [см.: 220; 296]). Однако очевидно, что сама возможность такого разумного эгоизма в среде "оптимизаторов полезности" зависит именно от постулирования наличия *норм* как индивидуальных метастратегий, то есть заповедей честности или справедливости (как необходимости возмещать дары в широком смысле), что существенно расшатывает исходную модель практической рациональности.

Развивая идеи экономиста Дж. Бьюкененена о важности предустановленных и специально разработанных конституций, задающих внешние политические, правовые, организационные и т. п. рамки для любого инструментально-рационального социального действия, а также о неизбежности существования институциализированных систем символических, физических и утилитарных санкций, применяемых к "уклонистам" [см.: 106; 107], ряд исследователей сформулировали достаточно сложные и изощрённые теоретические модели для весьма значимых специальных случаев совместной деятельности. Эти модели основаны на предположении о существовании взаимообусловлен-

ных "регуляторных интересов участников коллективного действия, под влиянием которых акторы склонны придавать автономную ценность существованию норм в коллективе [см.. 174; 304; 315].

Оценивая вклад Олсона в современную теорию коллективного социального действия, П. Оливер констатирует: "После Олсона большинство специалистов в области общественных наук рассматривают коллективное действие как проблематичное. То есть они исходят из предположения, что естественным является коллективное *бездействие*, даже перед лицом общих интересов, и в объяснении нуждается именно коллективное действие" [235, p. 273–274].

В этой ситуации необихевиористские трактовки распределенного во времени обмена как своеобразного субстрата продолжающихся групповых процессов более или менее явно внедрились в социологические, политологические, теоретико-организационные и экономические объяснения фактов эмпирического существования "логически латентных" групп. Наиболее популярные формальные модели коллективного действия — это модели агрегирования взаимообусловленных индивидуальных выборов в коллективное решение, модели динамического взаимодействия "коллективных акторов" и "уклонистов", модели коллективных решений о кооперации, принимаемых индивидами с различными интересами[27] Не имея возможности рассмотреть здесь примеры таких моделей, укажем лишь на получившую известность в социологии и тесно связанную с подходом Дж. К. Хоманса теорию коллективных решений Дж. С. Коулмена, о которой говорится ниже, а также на весьма впечатляющую по диапазону объясняемых социальных процессов и оригинальности приемов концептуализации традиционных понятий "полезности" и "рационального выбора" экономическую теорию социального поведения Г Беккера [см.: 88; 89][28].

Значительному расширению возможностей объяснения социального выбора, коллективного действия и следования нормам как обмена способствовало растущее использование в социальных науках концептуального аппарата и моделей математической теории игр, основания которой были заложены работой Дж. фон Неймана и О. Моргенштерна "Теория игр и экономические поведение" (1947), посвященной пре-

имущественно антагонистическим играм с нулевой суммой [46]. Опубликованные в первой половине 50-х годов статьи Дж. Ф. Нэша позволили распространить возможности теоретико-игрового анализа на кооперативные и некооперативные (с отсутствием кооперативной инфраструктуры, то есть возможности сговора) игры с ненулевыми исходами[29], имевшие очевидное структурное родство с рассмотренными выше теориями рационального действия. В частности, и коллективное действие, и общественный выбор (который, как и индивидуальный выбор, может также рассматриваться как имеющее последствия действие) обнаруживают все формальные признаки игры-торга с n участниками: наличие у игроков набора стратегий-"ходов", которые могут интерпретироваться как действия; наличие индивидуальных предпочтений и заданных исходов-вознаграждений для игроков, а также возможность нахождения "коллективного" исхода, соответствующего точке равновесия (Нэш-равновесия), где каждый из игроков использует оптимальную стратегию ("ход"), так что ни один i-ый игрок, если принять в расчет стратегии (возможные "ходы") всех остальных ($n - 1$) игроков, не может улучшить свое положение, изменив стратегию (то есть Парето-оптимальность ограничивает возможности смены стратегий участниками игры). Как отмечают К. Бинмор и П. Дасгупта, практически любая ситуация социального взаимодействия удовлетворяет формальному общему определению игры: "Группа, состоящая из индивидов, рассматривается как вовлеченная в *игру*, если только судьба индивида в группе зависит не только от его собственных действий, но также от действий остальных индивидов в группе" [94, p. 1]. Использование концептуального аппарата теории игр привело к переосмыслению самой концепции "рационального выбора" и к более четкой формулировке противоречий между индивидуальной и коллективной рациональностью (самым знаменитым проявлением этого противоречия стала "дилемма узников" [см.: 250], породившая воистину необозримую литературу), а также между более чем ограниченными возможностями описания однократного взаимодействия "сознательных целерациональных игроков" в чистых стратегиях и возможностью решения любой матричной игры в смешанных стратегиях[30].

В частности, специалисты в области социальной теории (экономисты, социологи, политологи и т. д.) постепенно пришли к осознанию того фундаментального обстоятельства, что многие социальные, экономические и политические ситуации в действительности имеют такую формальную теоретико-игровую структуру, которая *не* позволяет находить точки равновесия, обладающие какими-то желательными свойствами (прежде всего, Парето-эффективностью) без изменения самой игры или характеристик игроков. В этих ситуациях использование игроками индивидуально-рациональных, оптимальных стратегий будет неизбежно вести к коллективно иррациональному исходу. Так, олсоновская модель коллективного рационального действия, как показал Р Хардин, может быть представлена как "дилемма узников с *n* участниками" [171]. Другим примером социального хаоса, неизбежно порождаемого индивидуальным рациональным выбором, может служить поучительная ситуация, пародирующая Гоббсов "Левиафан" Гоббс, как известно, рассматривал условия, при которых государство или политическая организация могут эффективно принуждать к сосуществованию и сотрудничеству последовательно инструментальных рациональных максимизаторов (эгоистов). Однако даже в обществе, состоящем исключительно из альтруистов, может возникнуть аналогичный гоббсовскому "парадокс координации", который мы рассмотрим на примере, предложенном Д. Россом [см.: 260]. Для того чтобы и в этом случае столкнуться с проблемой коллективно неэффективных исходов из ситуации взаимодействия, достаточно наличия конфликтующих "функций полезности" (индивидуальных упорядочений предпочтений) у её участников. Так, если все члены достаточно многочисленного сообщества альтруистов хотят передать избыток пищи голодающим детям, однако имеют разные предпочтения относительно того, каким странам помощь должна быть оказана в первую очередь, то даже когда все они предпочитают, чтобы хоть в какой-то стране детей накормили, сам факт невозможности "справедливого" агрегирования индивидуальных предпочтений (о "парадоксе голосования" см. *с. 266, прим. 14 наст. изд.*) будет вести их к "парадоксу координации" и невозможности рационального общественного выбора. Возможен такой набор индивидуальных функций полез-

ности, что оптимальной стратегией для каждого из агентов будет изъятие своего вклада, если другие не согласятся отправить свои вклады (то есть избыток пищи) в предпочитаемые им страны. Единственным Нэш-равновесием в такой игре будет ситуация, когда все дети будут продолжать голодать, несмотря на то, что все игроки предпочли бы исход, когда по крайней мере некоторые дети были бы спасены (то есть Нэш-равновесие окажется Парето-субоптимальным). Лишь вмешательство "внешней силы" — ООН, временной диктатуры и т. д. — может помочь игрокам выйти из ловушки, создаваемой объективной логикой данной игры.

Важно, однако, что и введение "диктатора" или "государственного агентства" как арбитра и высшего авторитета в такой ситуации, что бы ни сказал по этому поводу Гоббс, отнюдь не гарантирует возможность коллективно-рационального исхода. Как наиболее ярко продемонстрировал У Нисканен [228], всякий бюрократ будет, подобно другим участникам, прежде всего оптимизировать собственную функцию полезности, то есть стремиться к увеличению "входа" ресурсов в свой офис и минимизации затрат — решающий аргумент в полемике о целесообразности "приватизации" функций государства.

Можно формально доказать, что в общем случае равновесие в игре не будет Парето-эффективным (базовая идея этого доказательства заключается в том, что множество оптимальных стратегий для *n* игроков и множество Парето-эффективных стратегий не совпадают, поскольку это разные множества, являющиеся решениями разных систем из *n* уравнений [94, p. 24–25])[31]

Многим кажется странным, что точка равновесия в игре не является коллективно-рациональной, однако здесь нет ничего загадочного: некооперативные игры сконструированы так, что игроки не могут действовать сообща. Задача использования теоретико-игровых методов в прикладной социальной теории как раз и заключается в том, чтобы искать способы переопределения, "перепланирования" игры, устраняющего проблему, в частности, с помощью изменения матрицы выплат или перераспределения доступной игрокам информации об "истории" итеративной игры, результатах сделанных ходов и т. д. Особую роль в увеличении не только нормативного теоретико-игрового знания, но и в росте нашего дескриптивного

понимания того, как и при каких условиях в человеческих сообществах самопроизвольно возникают стабильные нормы обмена, играют модели эволюционных игр. Эволюционные игры допускают возможность множества или даже бесконечного числа повторений игры и наличие элементарной памяти у игроков, что ведёт к постепенному "научению" и, при определённых условиях, к возобладанию альтруистических, кооперативных стратегий поведения. Наибольшую известность здесь приобрели работы Р Акселрода по имитационному моделированию эволюции поведенческих стратегий [см.: 94], а также работы эволюционных биологов и социобиологов (Дж. Мейнард-Смит, Р. Доукинз, У Хэмилтон и др.), рассматривающих в качестве единицы эволюции гены либо элементарные способы поведения и культурные нормы ("мемы"), в разной мере способствующие "избирательному выживанию" своих носителей и их потомков.

Не имея возможности детально рассмотреть в данной главе даже самые основные результаты, полученные в последние два десятилетия, прежде всего, при использовании эволюционных игр для анализа условий, при которых в ходе многократных повторений некоторых игр возникают соблюдение норм и сотрудничество между игроками, отметим только, что эти результаты лишь подтвердили необходимость радикального пересмотра основанных на классической модели инструментально-рационального действия теорий рационального и общественного выбора, а также концепций коллективного действия, восходящих к метафоре "экономического человека" В частности, в большинстве проведенных в этой области исследований наиболее эволюционно стабильными оказывались не столько сугубо альтруистические либо эгоистические стратегии, сколько различные вариации базовой стратегии "зуб за зуб" ("tit for tat", или TFT-strategy), предполагающей исходно кооперативное поведение, которое меняется на антагонистическое в случае "предательского" поведения другого игрока в предшествующем раунде. Динамические теоретико-игровые модели обладают преимуществом простоты исходного описания актора даже в сравнении с неоклассическим homo economicus, позволяя вместе с тем обойти вопрос о необходимости конституций, конвенций или преднамеренно спланиро-

ванных институтов, а также об эффективных и бескорыстных "арбитрах" или надличных механизмах, контролирующих оппортунистическое поведение индивидов. Это преимущество, однако, резко ограничивает объяснительные возможности теоретико-игровых моделей применительно к таким классическим проблемам теорий рационального и общественного выбора, как природа конвенций, институтов, социальной власти и корпоративных интенциональных акторов, а также их взаимосвязь с индивидуальной практической рациональностью. Иными словами, самые впечатляющие турниры между компьютерными программами, имитирующими эволюцию индивидуальных игровых стратегий, всё же не позволяют убедительно объяснить, как исторически возникают и закрепляются известные нам конвенции, конституции и регулятивные институты, характерные для реальных человеческих обществ. Поэтому продолжающиеся попытки совместить перспективу социального обмена с экономической моделью рационального выбора ценны ровно настолько, насколько они способны очертить перспективу такого объяснения. В завершении этой главы мы кратко рассмотрим две из наиболее последовательных и интересных попыток такого рода.

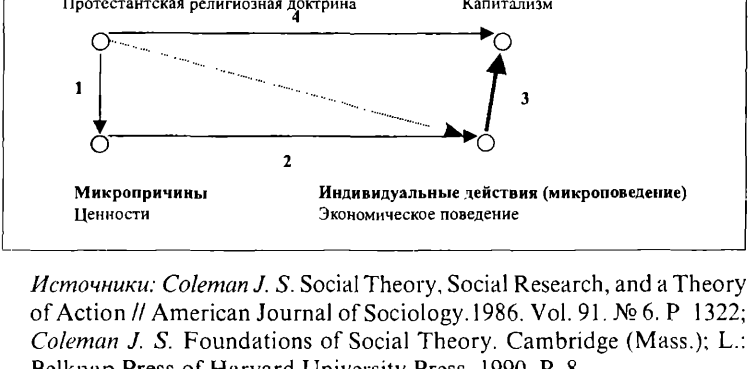
Пирамиды прав и цемент общества: общественный выбор как социальный обмен (Дж. С. Коулмен, Дж. Элстер)

Джеймс Сэмьюел Коулмен в серии чрезвычайно влиятельных и глубоких работ [114; 115; 116; 117] предпринял попытку возобновления парсонсовского проекта общей теории структур социального действия, сфокусировав свои аналитические интересы на возможности воссоздать эмерджентные системные социетальные эффекты (макроуровень социальных отношений), последовательно двигаясь от уровня индивидуального целеориентированного действия через уровень социальной интеграции (см. *с. 44 наст. изд.*) к макроуровню непредвиденных системных последствий индивидуальных действий, включающему в себя возникновение и смену институтов и корпоративных акторов. *На рис. 14* на примере восходящей к М. Веберу теории влияния религии на экономическое поведение схематически показана система пропозиций социологической теории, позволяющая, по мнению Коулмена, корректно объяснять си-

стемные и структурные феномены с позиций индивидуального уровня действия (то есть с позиций методологического индивидуализма). Особое значение здесь, по мысли Коулмена, должна иметь стрелка под номером три, поскольку она позволяет реализовать объяснительный переход от индивидуального уровня к социетальному.

Рисунок 14

Метатеоретическая схема по Дж. С. Коулмену*



Источники: Coleman J. S. Social Theory, Social Research, and a Theory of Action // American Journal of Sociology. 1986. Vol. 91. № 6. P 1322; *Coleman J. S.* Foundations of Social Theory. Cambridge (Mass.); L.: Belknap Press of Harvard University Press, 1990. P 8.

В качестве фундаментального типа социального действия и отправной точки для анализа Коулмен избирает целеориентированное инструментальное (целевое) действие, трактуемое как рациональный выбор. Однако Коулмен существенным образом модифицирует исходную модель рационального выбора, в частности, используя концептуальный аппарат теорий социального обмена для попытки решения главных парадоксов и "социальных дилемм", возникающих в этой модели при переходе от индивидуальной практической рациональности к общественному выбору и коллективному действию (*см. выше*). Поскольку бо́льшая часть главного труда Коулмена — "Оснований социальной теории" (1990) — посвящена анализу макроуровневых структур социального действия, иллюстрированному множеством эмпирических примеров, мини-исследований и теоретико-игровых имитационных моделей, мы сосредото-

чимся лишь на ключевой аналитической схеме рационального выбора как основы для возникновения более сложных структур социального действия.

Исходные теоретические термины, вводимые Коулменом, довольно просты или, во всяком случае, кажутся таковыми на первый взгляд. Это, во-первых, акторы и, во-вторых, вещи (ресурсы и события), над которыми акторы имеют контроль и которые могут удовлетворять какие-то их интересы (в процессе формализации своих теоретических пропозиций Коулмен концептуализирует интерес как специфическую функцию полезности [117, p. 140–142]).

В идеализированной ситуации, когда индивидуальные акторы контролируют все ресурсы, в которых они заинтересованы, не возникает система взаимосоотнесенных действий: использование и потребление собственных ресурсов ведёт к тривиальному (первому) типу действий, не порождающему социальные процессы [117, p. 29]. Однако в ситуации, когда акторы не могут полностью контролировать интересующие их ресурсы или события, они неизбежно вступают в отношения обмена, в том числе обмена неэкономическими благами и правами. Этот, второй, тип социального действия, подразумевающий обмен малополезных ресурсов на те, которые представляют для актора бо́льший интерес, включает в себя и обмен имеющегося у актора полного или частичного контроля над событиями, в том числе и над собственными действиями. Поскольку прямой контроль над собой и собственными действиями не может быть отчуждён от индивида, Коулмен вводит понятие "передачи прав контроля" [117, p. 33]. Наконец, третьим типом действий, широко распространённым в социальных системах, является, по Коулмену, односторонняя передача индивидом прав контроля над ресурсами и собственными действиями другому/другим акторам, имеющая место в тех случаях, когда индивид убеждён, что такая передача будет способствовать бо́льшему удовлетворению его интересов, чем использование передаваемых ресурсов и прав действия им самим. Конечно, в расширительном толковании такая передача также может рассматриваться как обмен, поскольку предполагает возмещение в виде более полного удовлетворения индивидуальных интересов.

Последние два типа действий (обмен и односторонняя передача ресурсов и прав) и служат, по Коулмену, элементарной основой для возникновения социальных отношений, норм и институтов, конкретная форма которых зависит не только от типа социального действия, но и от типа ресурсов и контекста действий. Наиболее детальному анализу Коулмен подвергает три типа отношений:

- отношения *власти* (authority), возникающие в результате односторонней передачи прав контроля над некоторыми собственными действиями лицу, занимающему властную позицию, причем такая передача либо не предполагает внешней компенсации в виде выплат или вознаграждения и основана на существенной общности интересов (совместные, объединённые отношения и структуры власти-полномочий), либо, наоборот, предполагает компенсацию и разделение интересов индивида, передающего права, и "принципала" (разделенные отношения власти, простейшим примером которых могут служить отношения найма между работником и формальной организацией);
  отношения *доверия* (trust), возникающие в ходе распределённого во времени многократного обмена, когда у участников обмена возникает относительно автономный интерес к поддержанию реципрокности, взаимности обмена со стороны партнёра и соответствующие обязательства соответствовать сложившимся ожиданиям партнёра (то есть обязательства превращаются, подобно власти, в генерализованный социальный ресурс);
  нормы как результат передачи прав самоконтроля (контроля над собственными действиями) другим, социальному коллективу, причём множество тех, кто является бенефициарием норм (то есть получает от них выгоду) и множество тех, кто является целевой группой для нормативной регуляции, могут полностью или частично совпадать либо не совпадать.

В статье "Социальная теория, социальное исследование и теория действия" [116] Коулмен проводит прямую аналогию между социальными отношениями (и структурами) обмена и власти и соответствующими экономическими отношениями рынка, с одной стороны, и отношениями организационной

иерархии — с другой: "По контрасту с рынком как множеством отношений между независимыми акторами, иерархия представляет собой множество отношений, в которых действия одного актора осуществляются под контролем другого и в его интересах. Результирующее отношение может быть описано как отношение власти (authority), а институты, состоящие из некоторого числа взаимозависимых отношений власти, мы именуем формальными организациями или структурами власти" [116, p. 1324–1325]. Кроме того, Коулмен выделяет в качестве особого, третьего, типа социальные отношения, подразумевающие общность интересов и возможность основанного на явном или неявном договоре коллективного (солидарного) действия. Эти отношения могут вести к процессу образования систем социальных норм и санкций, то есть нормативной структуры общества [116, p. 1326].

Описанные типы отношений (властные отношения, отношения доверия и основанная на согласии аллокация прав, создающая нормы) служат основой для генерирования обобщённых социально-структурных ресурсов — *социального капитала*. Подобно физическому или человеческому капиталу, социальный капитал способствует достижению целей действия, однако, в отличие от человеческого капитала, относится не к умениям, знаниями или способностям индивидов, а к отношениям между индивидами [117, p. 304–305]. Накопление социального капитала — важнейшее условие возникновения корпоративных акторов. Анализ социетальной эволюции как исторического процесса перехода от преимущественно примордиальных, "естественных" корпоративных акторов, подобных семье или родственному клану, к интенциональным корпоративным акторам, наиболее характерным примером которых служат деловые организации современного "организационного общества", — важнейшая тема Коулмена, полагающего, что по мере усиления власти и влияния корпоративных акторов уменьшается диапазон индивидуальных прав контроля, что требует основанных на критическом анализе мер по практическому изменению основных общественных институтов, однако эта важная проблематика выходит за пределы нашего обсуждения.

Некоторые критики полагают, что наиболее слабым звеном коулменовской теории действия является упрощённая трак-

товка интересов как самоочевидных и легко объективируемых "естественных" сущностей, справедливо отмечая, что не только доступные индивиду способы действия, но и его объективные (инструментальные) интересы нормативно детерминированы, а также, что задача идентификации интересов далеко не тривиальна и требует рассмотрения не только актуальных, но и потенциальных выгод, осознаваемых в различных идеологических и политических контекстах [см.: 223, p. 33–34, 36–38]. Это замечание верно применительно к любой теории практической рациональности, постулирующей самоочевидный характер интересов как объективно идентифицируемых целей действия, о чём ещё будет идти речь *в разделе III*.

Однако куда более бесспорным "слабым звеном" масштабной и интересной теоретической конструкции, предложенной Коулменом, является использование им в качестве элементарного (и почти никак не определяемого) понятия индивидуальных прав.

Проблематичность постулирования прав действия (контроля над действием) в качестве элементарного понятия в данной версии теории рационального выбора особенно ярко проявляется в сопоставлении якобы первичного и относительно простого термина "права индивида" с предложенной Коулменом сложной и оригинальной концептуализацией норм как результата передачи (реаллокации) индивидуальных прав действия[32] Действительно, обсуждая преимущества индивидуальной практической рациональности и, соответственно, инструменталистской модели своекорыстного рационального деятеля в качестве фундамента (базовой предпосылки) для построения общей социологической теории действия, Коулмен отмечает, что принятие нормативистской точки зрения на социальное действие заранее ограничило бы объяснительные возможности будущей теории: "Принять допущение о приверженности [акторов] нормам означало бы навязать детерминизм, который свёл бы всю теорию к описанию автоматов, а не личностей, занятых добровольным действием. Принять допущение о том, что личности исходно снабжены моральным кодексом, означало бы исключить из теоретического рассмотрения все процессы социализации" [117, p. 31–32]. Напомним, что нормы, по Коулмену, являются результатом передачи индивидом

собственных прав контроля над действием (возможной, согласно казуистической оговорке, при наличии распорядительных прав на такую передачу [117, p. 58]) в обмен на право частично контролировать действия других. Однако сами индивидуальные права действия не принадлежат индивиду самоочевидным (естественным) образом — они даруются (передаются) ему по согласию "релевантных других", через социальный "консенсус", явно отсылающий к неявному общественному договору (контракту). Коулмен — "контрактник", в терминах моральной философии [см.: 122], однако "контрактник" довольно нетипичный (или недостаточно искушённый), поскольку упускает из внимания, что в его концепции прав сама возможность рационального индивида распорядиться своими правами, дав начало переходу от индивидуального своекорыстного действия к социальной системе (*стрелка 3 на рис. 14*, наделяемая ключевой ролью в построении объяснительно адекватной социологической теории), уже требует существования социетальной власти, контроля и социальной организации[33] Иными словами, Левиафан власти возникает уже до гипотетической войны рациональных эгоистов. Существование норм как "требований" общества к индивиду, таким образом, опережает (онтологически и методологически) существование прав (как "требований" индивида к обществу), уступаемых индивидом ради возникновения норм. Налицо, как минимум, порочный круг в объяснении либо неявный отказ от исходно провозглашённой позиции методологического индивидуализма.

Понятие "прав" — одно из самых сложных и запутанных в социальной теории. Обычно предполагается, что вопрос о юридических правах, защищаемых писаным или неписаным законом, сравнительно прост в сравнении с вопросом о внеюридических, так называемых моральных правах [см.: 233, p. 562][34] Сложности вызывает уже попытка определения и классификации таких прав: активных и пассивных; социальных, экономических и политических; прав-свобод, прав-притязаний и прав собственности/распоряжения; "естественных прав" и "прав человека" и т. д. Не пытаясь проанализировать все эти определения и классификации, Коулмен лишь ссылается на то, что вопрос о природе прав наиболее детально рассматривался в моральной философии применительно к нормативной про-

блеме *должного* или *правильного* распределения прав. В такой постановке, по Коулмену, проблема не имеет решения [117, p. 419, 53] — права, как выясняется в итоге краткого обсуждения, имеют своим источником власть (power, власть-могущество) и интересы акторов, включенных в конкретную систему действия. Индивиды получают, теряют или отдают права на делимые или неделимые (экономические, политические и социальные) ресурсы действия "только по желанию релевантных других" [117, p. 57]. Релевантные другие — это те, кто обладают властью коллективно проводить в жизнь права, придавать им силу [117, p. 58]). Более того, сама уступка прав по индивидуальному контролю над действиями не является множеством индивидуальных действий, каждое из которых чревато "проблемой неплательщика" (нечестного поведения других индивидов), но представляет собой "имплицитное коллективное решение о правах действовать — коллективное решение передать совокупность прав от индивидов к коллективу" [117, p. 54]. Так теория рационального выбора (имплицитно, то есть не очень явно) превращается в теорию коллективных решений, предполагающую, как минимум, существование коллектива как социальной целостности в качестве исходной предпосылки. (Коулмен даже отмечает, что Гоббс представлял проблему порядка в качестве "более серьёзной", чем она есть в действительности: нет необходимости постулировать общественный договор, если принять, что права носят консенсуальный, основанный на согласии характер и процесс определения того, кто имеет право на что, "не находится под индивидуальным контролем" [ibid.].) Конечно, отмеченная слабость может рассматриваться как объяснительная, "методологическая", однако и сам теоретический конструкт "права", элементарный или нет, остаётся здесь не вполне прояснённым.

В гипотетической "приватной" системе действия, "актор имеет право осуществлять действие ...когда все, затронутые этим правом принимают действие без возражений" [117, p. 50], но реальные индивидуальные права основаны на консенсусе с учетом распределения власти [117, p. 53]. Вопрос о том, чьи "внешние" интересы, задеваемые потенциальным использованием прав осуществлять те или иные действия, будут приниматься во внимание, определяется тем, какова в конкретном случае власть

актора, имеющего эти "внешние" интересы ("имеет ли актор с [внешним] интересом власть заставить считаться" [117, p. 59, n. 4]. Очевидно, что не только всякое данное распределение индивидуальных прав отражает закрепляемое социальным консенсусом распределение власти в системе, но и индивидуальные интересы могут быть эффективно выражены через права в жёсткой зависимости от позиции конкретного актора. В основе коулменовской "примитивной" теории действия лежит далеко не элементарная теория прав, власти и социального консенсуса, требующая значительно более детальной разработки.

Иной подход к решению проблем коллективного действия и норм в теории рационального действия предлагает представитель аналитического марксизма *Джон (Йон) Элстер*. Решая проблему коллективного действия, Элстер предлагает рассматривать мобилизацию индивидуальных рациональных акторов как сложный процесс, исход которого в конкретном случае определяется типом мотивации, свойственным каждому из индивидов. Каждый из этих типов включает в себя какую-то долю своекорыстия -- от ничтожно малой до господствующей (взгляд, согласно которому "все действия в конечном счёте осуществляются для удовольствия агента", он считает заведомо ошибочной интерпретацией принципа рациональной максимизации полезности [132, p. 53]). По мнению Элстера, объяснение успешного коллективного действия сводится, в конечном счёте, к идентификации состава "смеси мотиваций — эгоистичных *и* нормативных, рациональных *и* иррациональных, которые его [коллективное действие] произвели. Мотивы, которые по отдельности не могли бы запустить действие, могут взаимодействовать, порождать эффект 'снежного кома' и надстраиваться друг над другом, так что целое превосходит сумму своих частей" [132, p. 186–187]. В качестве основных мотивационных типов Элстер называет "индивидуалистов" рассчитывающих личный баланс выгод-издержек, "коллективистов" получающих олсоновское "избирательное подкрепление" от самого факта участия в коллективном действии; "идеалистов", стремящихся к Парето-оптимизации коллективного исхода или удовлетворению иного нормативного принципа; и "подражателей", избирающих стратегию имитации повсдения других в ситуации неопределенности [132, p. 52–60][35].

Следование нормам, по Элстеру, играет ключевую роль в коллективном действии, социальном выборе и в общественной жизни в целом. Однако механизмы следования нормам не могут быть сведены к калькуляции прибыли и затрат (первая трактовка практической рациональности, то есть модель рационального выбора), к ориентации на нормативные идеалы (вторая трактовка практической рациональности) либо к следованию принципам справедливости, поддающимся универсализации (третья трактовка). Признавая роль эгоистического интереса в объяснении следования нормам, описываемую классическими и современными утилитаристскими теориями, Элстер всё же считает, что существует и другой источник нормативности действия — "фактор *X*", который должен быть учтён в более успешных модификациях теорий социального и рационального выбора. Отказываясь развивать спекулятивные "истории первичного возникновения норм" [132, p. 123], он всё же предлагает некоторую обобщённую картину воздействия социальных норм на предсказуемость межличностного взаимодействия и социальный порядок [131, p. 215–247; 132, p. 113–123]. Эта картина предполагает преимущественно психологическое объяснение императивного характера норм как результата действия психологического механизма закрепления установок и поведения действующего, получающих эмоциональное подкрепление от значимых других действующих в процессе развития личности. Иными словами, нормы превращаются в интернализованные системы установок и эмоциональных реакций, способные выступать в качестве автономной мотивации деятельности (функциональной мотивации, то есть "цели-в-себе"). В силу этого обстоятельства, следование нормам влечёт за собой получение "бонуса" положительных эмоций (а не просто одобрения других, как в теориях обмена), а отклонение от них, помимо всяких внешних санкций со стороны группы, ощущение стыда, смущения, униженности и т. д. К этой психологической теории норм, далеко выходящей за рамки модели рационального выбора, Элстер добавляет также психологическую теорию, объясняющую просоциальное поведение, то есть высокую плотность социального взаимодействия (такая теория оказывается необходимой уже потому, что без неё трудно объяснить, почему индивиды чаще всё же вступают во взаимодействие с ближними, чем избегают его, несмот-

ря на риск контингентных отклонений от норм и сопряженных с этим неприятных переживаний и внешних санкций). В роли сил социального тяготения, "цемента общества", выступают психологические механизмы *зависти*, *оппортунизма* и *доверия* [131, p. 252–287]. Зависть — перводвигатель процессов социального сравнения, на индивидуальном уровне обеспечивающий конформное и предсказуемое поведение, а на коллективном — наказание отклонений. Оппортунизм — психологическая опора стратегического, манипулятивного поведения (в терминах Хабермаса), создающая инфраструкутру для просоциального, но не следующего нормам (или бессовестно использующего их) действия. "Светлая" сторона оппортунизма — возможность противостоять социальной рутине, жёсткой кастовости и фаворитизму с помощью универсальных средств обмена (прежде всего, конечно, денег), открывающая дорогу тому, что Мертон назвал "инновацией", поведенческой адаптацией к аномии как расхождению нормативно заданных целей и дозволенных способов действия [см.: 217]); "тёмная" сторона этого механизма — коррупция в широком и узком смыслах. Наконец, доверие, надёжность — основа веры в намерения партнёра по взаимодействию, подкрепляемая устными выражениями интересов, обещаниями, перспективой взаимных долгосрочных выгод от сотрудничества, сложившейся репутацией и т. д.

В фундаменте теории норм и коллективного действия (вернее, очерка будущей теории), разрабатываемой Элстером, лежат экзогенные психологические механизмы детерминации, по преимуществу выходящие за пределы рационального выбора (сознательного или бессознательного) и интенции субъекта. Даже если психологические теории мотивации и механизмов следования нормам, на которые опирается Элстер, получат более прочную теоретическую и эмпирическую основу, его подход останется лишенным главного объяснительно преимущества теорий практической рациональности — возможности вывести социальное поведение людей из минимального числа исходных допущений об интересах, желаниях и убеждениях действующих, максимизирующих доступное им благо.

Вместе с тем расширенные "постмодернистские" теории практической рациональности, пытаясь обойти некоторые трудности более ранних теорий — проблемы коллективного

действия, социального выбора и нормативизма деятельности, — не решают главной объяснительной (метатеоретической) проблемы рационального выбора: тавтологической природы объяснения действия объективным интересом, идентификация которого логически зависит от идентификации самого действия. (Для субъективно рационального действия такая идентификация, как мы видели, становится ещё и принципиально неопределённой: люди делают *нечто* потому, что "хотят *это* сделать".) Подробнее об этой и других объяснительных трудностях теорий интенциональной деятельности и теорий практической рациональности, а также о возможных и заведомо бесперспективных подходах к их преодолению, говорится *в разделе III* данной книги. Пока же можно суммировать критический анализ теорий практической рациональности конца XX века заключением, к которому приходит М. Уотерс: "Единственным возможным источником для суждений об интересе [определяющем действие] является социальная локализация, то есть приходится сказать, что индивид расположен на пересечении серии социальных прав и обязанностей, которые являются внешними по отношению к нему. Однако поступить так — значит нарушить принцип методологического индивидуализма, на котором настаивают теории рациональности. ...Теоретики рациональности вынуждены делать одну из трёх вещей: ввязаться в софистику доказывания того, что индивиды будут рассматривать сдачу своих ресурсов коллективу как отвечающую их собственным интересам (решение Коулмена); отрицать существование социального, предлагая явный психологический редукционизм, и тем самым признать объяснительный провал (решение Элстера); либо они будут вынуждены принять реальность общества и его эффективность в конституировании индивидуальных интересов (решение Вебера). Однако, поступая таким образом, они окажутся за пределами теорий рациональности. Такова дилемма социолога." [308, p. 89–90].

Примечания

Мы будем употреблять далее в качестве синонимов оба термина — инструментальная и практическая, чтобы связать нашу терминологию, с одной стороны, с классическим веберовским определением, а с другой — с более ранней и выходящей за "социологические" рамки традицией анализа практической рациональности.

Ролз, в частности, прямо утверждает, что проверка полной теории блага неотделима от соотнесения ее с моральными ценностями и "заключается в том, что она должна совпасть с нашими обдуманными ценностными суждениями в рефлективном равновесии" [52, с. 380].

Ср. анализ истоков и эволюции этой идеи: [15]. В работе Дюркгейма "Ценностные" и реальные суждения" ясно изложена его теория социального происхождения ценностей и целей индивидуального действия [29, с. 286–304].

В современной российской социологической и психологической литературе примером единого анализа социально-философских оснований теорий целенаправленной деятельности и рациональности может служить работа Н. Ф. Наумовой ("Социологические и психологические аспекты целенаправленного поведения" М.: Наука, 1988).

П. Эбелл пишет в этой связи: "Теория рационального выбора, или действия, может пониматься как одна из возможных интерпретаций веберовской программы, хотя, нужно отметить, и весьма своеобразная в том отношении, что она предлагает нам принять наименее сложную концепцию социального действия, которую мы способны аналитически развить в направлении 'причинного объяснения его [действия] способа и результатов' Она, таким образом, отступает от многих постверианских (и довеберианских, если на то пошло) теоретических традиций — особенно феноменологического толка, — стремящихся, кажется, подтолкнуть в совершенно противоположном направлении, а именно, в направлении поиска путей понимания локально детализированных и сложных (социальных) действий" [67, p. 223].

Бентам и Милль, в свою очередь, были обязаны предыдущей традиции моральной теории, в частности, трудам Шефтсбери, Хатчесона и Юма, в которых стремление людей к наибольшему счастью и удовольствию рассматривалось как в качестве общего принципа ("должного"), так и в качестве наблюдаемой детерминанты социальной жизни ("сущего"). Однако Бентам первым предложил выводить саму мораль и ее принципы долженствования из натуралистически понимаемой полезности [см.: 1, с. 17–20]).

А. Розенберг, обсуждая номологический статус третьего допущения, процитировал "Здравый смысл политэкономии" Уикстида (1910), констатировавшего, что максимизация полезности — это универсальный внеэкономический принцип, отражающий психологию человеческого выбора. В соответствии с этим принципом: "Мы постоянно взвешиваем внешне разнородные объекты и осуществляем выбор между ними, сообразуясь с пользой и условиями, на которых мы можем их получить" [258, p. 56].

Именно этой "уловкой" воспользовалась позднее неоклассическая школа экономического анализа (Дж. Хикс, П. Самуэльсон и др.).

О влиянии на классическую политэкономию современных ей психофизических теорий см.. [1, с. 32, 40–46]. Автор указанной работы, однако, не анализирует прямо влияние на эконометрику психофизических методов построения субъективных шкал, а также теоретических подходов, отличных от подхода Г Т. Фехнера (каноническим изложением последнего являются "Элементы психофизики", 1860), в частности, подходов С. Стивенса, Л. Терстоуна и др.

[0] Один из столпов Австрийской школы, Л. фон Мизес, парадоксальным образом сочетал обоснованное убеждение в том, что та область науки, которую именуют "экономической теорией" на деле является нормативной дисциплиной, практическим приложением таких разделов прикладной математики, как линейное программирование и теория игр, со скорее внеопытной верой в то, что особую ценность экономическим исследованиям реального потребительского поведения придает учет психологических переменных: "Единственное, что определяет реальный ход событий — ценообразование и другие явления, именуемые в обиходе экономическими (как и все события в истории человечества), — это мнения, ожидания и соответствующие им действия людей, столь подверженных заблуждениям! Отличительная черта современной теории предельной полезности состоит в том, что она обращает особое внимание на несовершенство реального человека" [44, с. 207].

В обосновании этой точки зрения мы следуем работам: [246; 247; 248; 308, p. 59–63].

Под "пари Паскаля" подразумевается известное рассуждение из его "Мыслей", в котором для обоснования деизма используется теория вероятности и теория принятия решений (последний термин представляет собой сознательный анахронизм — аргументация Паскаля вполне может рассматриваться как прообраз современной "decision theory"). Паскаль доказывает, что вера в

Создателя является "наилучшей ставкой" в вероятностной игре. Важно отметить, однако, что в рассуждениях Паскаля отсутствуют элементы теории рационального выбора в узком смысле, так как речь идет о выборе веры (убеждения), а не оптимального способа действий для заданной совокупности вер (информации) и побуждений. Анализ позиции Паскаля и обзор вторичных источников см.: [170].

То есть в точке, где возможны Q-движения.

[14] Предыстория теории общественного выбора восходит, по меньшей мере, к XVII веку, когда маркиз де Кондорсе, анализируя преимущества правила простого большинства в сравнении с другими схемами голосования, наткнулся на "парадокс голосования" — возможность возникновения циклов при суммировании попарных предпочтений. На возможность стратегического манипулирования своими истинными предпочтениями в процессе голосования указал еще в XIX веке Ч. Л. Доджсон (Льюис Кэррол), сформулировавший и соответствующее правило выбора из двух зол ("Всегда голосуй против самой популярной альтернативы"). Любое упорядочение предпочтений типа $x>y>z$ и т. д. может быть представлено как соответствующая совокупность элементарных бинарных выборов.

То есть допущение межличностной сравнимости предпочтений типа: "Соринка в твоем глазу хуже, чем бревно в моем"

Библиографию работ, описывающих различные интерпретации и модификации изначального формата теоремы, см.: [278, p. 213–248].

[18] Как в общей теоретико-игровой форме доказал А. Гиббард, в отсутствие таких соображений и критериев любая схема принятия решений и голосования оказывается подверженной манипуляциям со стороны индивидов, голосующих "стратегически" и скрывающих истинные предпочтения. "Это означает, что любая система принятия решений, кроме тривиальной [менее трех альтернатив], не может зависеть от информированного эгоистического интереса, определяя исход как функцию предпочтений. Если система действительно определяет исходы как функцию предпочтений, это оказывается возможным только в силу индивидуальной честности, невежества или глупости участников, либо потому, что предпочтения слишком предсказуемы и системе не приходиться справляться с полным диапазоном возможных предпочтений" [152, p. 365].

См. *с. 275 наст. изд.*, где более строго определяется аргумент "Логической связи"

[20] Интересны, однако, те возможности для примирения жесткого детерминизма и личной моральной ответственности, которые открывает подобная модель "человеческой деятельности без действующего субъекта" Поскольку следование долгу больше не подкрепляется позитивными или аверсивными формами контроля, моральный выбор оказывается, строго говоря, свободным [289].

Отсутствие такой "психологической экспликации" целей и действий отдельных агентов — основной аргумент в многолетней полемике Хоманса против функционалистского теоретизирования в стиле Парсонса (они были коллегами по факультету в Гарварде). Хотя аргументы Хоманса могут быть легко отражены уже с позиций мертоновской ревизии структурного функционализма, исторически они сыграли заметную роль в тематизации спора о деятельности и структуре.

Важно помнить о признании самим Хомансом этого влияния, поскольку глубокая работа П. Эке о "двух традициях" в анализе социального обмена [130] привела ряд авторов к несколько упрощенной и неверной трактовке взглядов Хоманса как безусловно антагонистических по отношению к "дюркгеймианской" структуралистской позиции, воплощенной, в частности, в работах К. Леви-Строса. Немалый вклад в расхожее представление об антагонизме необихевиористских и структуралистских трактовок обмена внёс и сам Хоманс, яростно критиковавший предложенную Леви-Стросом в "Структурах родства" (1949) теорию кросс-кузенного матрилатерального брака как формы обобщенного (непрямого) обмена. Полемика со взглядами Леви-Строса, воспринимавшимися Хомансом очень личностно, как "заноза под кожей" [184, p. 23, цит. по: 256, p. 288], несомненно, имела своим следствием и усвоение этих идей. Именно Хоманс способствовал росту популярности "структуралистской" проблематики обобщенного обмена в необихевиористских теориях социальных сетей и рационального выбора.

Сходство между хомансовским пониманием рационального действия и понятием инструментального действия у Парсонса связано, как справедливо отмечает Дж. Скотт, с тем, что Парето оказал на обоих значительное интеллектуальное влияние [274, p. 74]. И Хоманс, и Парсонс, в частности, посещали в начале 30-х годов XX века знаменитый преподавательский семинар по Парето, который вёл научный руководитель Хоманса Л. Хендерсон [109, p. xxxiv–xxxv].

Более поздние взгляды П. М. Блау ближе к структуралистской трактовке власти и неравенства см.: [23, с. 70–71].

[25] Очевидно, если рынок определяется экономистами как способ (институт) передачи прав собственности, то есть признанных обществом частных прав распоряжаться экономическими благами, то сеть неэкономического обмена может рассматриваться в качестве гомологичного рынку способа передачи прав на неэкономические блага. Тогда альтернативой рыночному/сетевому способам удовлетворения частных "заинтересованностей" в благах выступят иерархические экономические/социальные организации, основанные на передаче власти как обобщенного права принимать решения, касающиеся интересов и благ. Разумеется, представления о том, где проходит граница между экономическими и неэкономическими, как и между частными и общественными (публичными) благами, эволюционируют исторически, вызывая соответствующие изменения в представлениях о том, что может быть объектом собственности. Последний вопрос всё ещё недостаточно анализируется в общей социологической теории, что приводит к неопределенности в ряде содержательных проблем, например, при описании предполагаемого перехода к "постматериалистическим" ценностям или, если обратиться к примеру из более прикладной области, при анализе кризиса университетов и становления института "образовательных услуг"

[26] П. Оливер и Дж. Марвелл приводят ясный пример сходных благ с низкой и, наоборот, высокой "совместностью предложения": "Затраты на очистку загрязнений окружающей среды примерно пропорциональны числу загрязняющих, а затраты на проведение закона, требующего от тех, кто загрязняет среду, очистки отходов, нет" [236, p. 2]. Иными словами, блага с низкой совместностью предложения похожи на классические частные блага и плохо подходят для "обобществленной" модели производства и распределения, тогда как типичные коллективные блага, подобные освещению в городском подъезде, "готовому" научному знанию или деревенскому мосту, *при прочих равных*, могут быть результатом индивидуально-рациональных коллективных действий.

Аналитический обзор формальных теорий и моделей коллективного действия, а также подтверждающих или опровергающих их результатов, полученных в эмпирических исследованиях либо с помощью имитационного моделирования см.. [235].

Г Беккер моделирует широкий спектр социальных процессов, от экономической расовой дискриминации до поиска брачного партнера и собственно репродуктивного поведения, в терминах индивидуальной максимизации стабильных, универсальных и биологически детерминированных желаний. Под весьма выраженным

влиянием столь радикальной формы бихевиоризма, как социобиология, Беккер за основную единицу экономического анализа принимает "эффективное домохозяйство" (в большинстве случаев, семью), члены которого максимизируют функцию производства потребительских благ, используя свое время, опыт и прочий "человеческий капитал", а также рыночные товары в качестве факторов производства. Критический анализ предложенной Беккером модификации модели "рационального выбора" дан А. Розенбергом [258, p. 68–91]. См. также: [51].

Нэш предложил исследовательскую программу, в которой более сложные для спецификации способа решения кооперативные игры могли быть сведены к фундаментальному, с его точки зрения, типу игры — игре-состязанию, или "неявной игре" без предварительной коммуникации, происходящей в форме "переговоров" N, в которой делаются "заявления" относительно того, как выбор стратегии для собственно игры G будет зависеть от результатов предварительной игры N [см.: 94].

[30] Смешанной стратегией называется случайная величина, значениями которой являются элементарные стратегии игрока. Очевидно, что соответствующая "физическая" интерпретация случайного выбора игроком какой-либо из возможных стратегий при каждом повторении игры значительно лучше согласуется с бихевиористской моделью вероятностной связи действия и вознаграждения, чем с исходной моделью "индивидуального рационального выбора" В последнем случае любая правдоподобная трактовка нахождения равновесия в смешанных стратегиях требовала бы от интенциональных игроков знакомства с учебником по теории игр и преднамеренного использования таблицы случайных чисел при выборе очередного хода.

Напомним, что для набора из N стратегий-ходов (одна на каждого игрока) удовлетворение критерия Парето-эффективности означает, что никакой другой набор стратегий не может увеличить выигрыш для одного из игроков, не уменьшив при этом выигрыш другого.

Ср. с концептуализацией Эмерсоном групповых норм как не встречающих сопротивления "требований" коллективного актора к индивидуальным участникам — результата накопления власти в сетях обмена.

Детальное обсуждение роли конституций в конструировании корпоративных акторов, представленное в главе 13 "Оснований социальной теории", не меняет сути этого утверждения, поскольку и объединенные (conjoint), следующие модели "общественного до-

говора", и разобщённые (disjoint) конституции, основанные в пределе на формализованной власти и разделении диктующих нормы и подчиняющихся им, уже предполагают существование норм как "сверхиндивидуальных сущностей, признанных совокупностей прав некоторых индивидов ограничивать или иначе формировать действия индивидов, которые являются объектом нормативного регулирования" [117, p. 325]. Нормы же возникают только в результате передачи индивидуальных прав.

Если это мнение и ошибочно, то по умолчанию принимается, что вопрос о юридических правах должен беспокоить прежде всего теоретиков права.

Обозначения типов предложены М. Уотерсом [308, p. 81].

РАЗДЕЛ III

МЕТАТЕОРЕТИЧЕСКАЯ КРИТИКА ТЕОРИЙ СОЦИАЛЬНОГО ДЕЙСТВИЯ

ВВЕДЕНИЕ / ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В предыдущем разделе изложение основных социологических теорий деятельности и практической рациональности сопровождалось критическим анализом, преимущественно указывающим на источники их эмпирической неадекватности или внутренней несогласованности. Иными словами, мы анализировали теории, прежде всего с точки зрения их внутренних нормативных критериев и сознательно принятых постулатов и ограничений. Однако в анализе нуждаются и сами постулаты, и критерии объяснительной адекватности. Такой анализ применительно к уровню, определенному нами *в разделе I* как уровень общей социологической теории, предполагает обращение к идеям социологической метатеории (см. *с. 37 наст. изд.*), а также к философии и методологии социальных наук. Поскольку выше уже отмечались объяснительные преимущества и предполагаемые эвристические возможности рассмотренных теорий, в данном разделе мы позволим себе сосредоточиться на их метатеоретической критике — анализе содержательных и логических трудностей социологических теорий деятельности и практической рациональности — с целью подвести предварительный итог, кратко суммировать наиболее отчетливые "невозможности" и тупики существующих подходов к пониманию и объяснению социального действия в разных перспективах. Теории социального действия — конститутивный проект, во многом определивший судьбы социологии как дисциплины. Попытки их переосмысления и критика этих попыток неизменно и иногда радикально меняли господствующие представления о том, чем может и чем не может быть социологическая теория, порождая попеременно вспышки энтузиазма и периоды скепсиса. Наиболее очевидный вывод, к которому неизбежно приводит всякая очередная попытка проанализировать историю теоретического "диспута о действии", заключается в том, что сегодня осознание почти неразрешимых и, хуже того, несовместимых трудностей делает быстрое продвижение к разгадке маловероятным. Однако отказаться от попыток продвинуться в этом направлении нельзя, поскольку это было бы равносильно отказу от социологической теории как таковой (или, во всяком случае, от такой, какой мы её знаем). Утешением может служить понравившаяся З. Фрейду поэтическая цитата: "До чего нельзя долететь, надо дойти хромая"[1].

ГЛАВА 10

НЕКОТОРЫЕ ЛОГИЧЕСКИЕ И СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЕ ТРУДНОСТИ РАЦИОНАЛЬНОГО ОБЪЯСНЕНИЯ ДЕЙСТВИЯ

Логические трудности

Упоминавшиеся в *разделе II споры* о возможности объективного приписывания рациональности действиям или агентам действия, а также о критериях такого приписывания (см. *с. 89–97 наст. изд.*, а также: [23, с. 28–36]), позволили заподозрить наличие содержательных трудностей, препятствующих усилиям социологов, психологов и экономистов сформулировать общие законы, которые стоят за широко используемыми в повседневной жизни единичными суждениями касательно причинной обусловленности конкретных действий и соответствующего воздействия на них желаний и убеждений конкретных агентов действия. Эти содержательные трудности, как было показано выше, в разной степени осознавались и преодолевались представителями различных теоретических направлений в социологии.

Однако куда более радикальные, если не разрушительные, последствия для любых интенционалистских теорий действия в социологии (и даже наших "обыденных" теорий, объясняющих повседневные поступки людей намерениями, желаниями, надеждами, страхами и т. п.) имели сравнительно недавние (50–70-е годы XX века) попытки философов подвергнуть формально-логическому анализу восходящее к Платону предположение о том, что желания, убеждения, интенции, то есть субъективные основания (резоны) действия могут служить его причинами. С рассмотрения выявленных в результате такого анализа логических проблем мы и начнем этот обзор.

Основная проблема, с которой сталкивается вышеуказанное предположение, часто формулируется как вполне категоричное и хорошо обоснованное контрутверждение:

1. субъективные основания действия (в самом общем случае представленные такими "ментальными событиями" как желания и убеждения действующего) не могут быть его причинами[2]; (к этому утверждению часто присоединяют еще два тесно взаимосвязанных с ним положения);
2. объяснения, основанные на модели интенционального действия, в строгом смысле нефальсифицируемы (или, по крайней мере, обладают чрезвычайно ограниченным эмпирическим содержанием);
3. объяснительный потенциал пропозиций, включающих, подобно аристотелевскому практическому силлогизму (именуемому иногда "принципом рациональности"), внутренние, ментальные переменные, определяется их (пропозициональным) содержанием, которое по определению носит абстрактный характер и, таким образом, явно не может обладать необходимой "причинной силой"

Утверждение (1), строго говоря, не столько подвергает сомнению истинность единичных причинных суждений о субъективных резонах действий, используемых в "повседневных" теориях, а также в рассуждениях историка или, скажем, психоаналитика, сколько ставит под вопрос основания, обеспечивающие истинность и объяснительные возможности таких единичных суждений. Основной аргумент, используемый для обоснования утверждения (1) — это аргумент "Логической связи" Суть этого аргумента заключается в том, что связь между событиями *A* и *B* является причинной только в том случае, если она носит лишь возможный, а не логически необходимый характер, то есть может быть охарактеризована как случайная сопряженность конкретных событий (иными словами, доказывая, что "*A* — причина *B*" мы исходим из того, что вполне можно представить себе ситуацию, когда *A* не влечет за собой *B* и такое представление не приведет к логическому противоречию). Связь же между убеждениями и желаниями (мотивами) действующего, с одной стороны, и его поступками, с другой, является логической, дефинитивной связью, которая — опять же "по определению" — несовместима с при-

чинной связью. Объяснения, основанные на дефинитивной редукции, или "семантические" объяснения[3] носят тавтологический характер и не могут рассматриваться в качестве истинных научных объяснений[4] Слегка переформулируя, можно сказать, что убеждения и желания являются необходимой частью описания (или даже обоснования) осмысленного действия как чего-то отличного от описания "чисто физического" движения или последовательности движений. Так, в парадигматическом для дискуссии о психической причинности случае единичного утверждения: "Джоунз карабкается по лестнице, чтобы достать с крыши унесенную ветром шляпу"[5], — сама идентификация действия как влезания на крышу за шляпой (а *не* попытки суицида, случая лунатизма, средства привлечения внимания соседки и т. п.) подразумевает, что связь между желанием достать шляпу, убеждением в том, что влезание по приставной лестнице является наилучшим доступным способом достать шляпу, и предпринятым действием будет концептуальной и логической, а не контингентной и причинной. Постулируй мы иные мотивы, то есть желания и убеждения, изменилось бы и наше описание действия. Упоминание данного повода для действия эквивалентно идентификации действия "под данным описанием"[6] Соответственно, даже если в отдельно взятом случае вышеприведенное утверждение и окажется истинным, оно будет тривиально истинным и зависящим от данного нами определения действия (а, значит, и допускающим дефинитивную редукцию). Однако концептуальная и логическая связь между мотивами действия и его причинами, гарантируя истинность хотя бы некоторых наших единичных объяснений мотивированных действий[7] (да и само существование "осмысленных действий" отличающихся от физических перемещений тел), по меньшей мере, ставит под вопрос наличие причинной связи между этими мотивами и действиями. Таким образом, сомнительной оказывается возможность описания отношения мотивов и действий как каузального, если только не удастся найти независимое от описания действия описание предположительно влияющих на него желаний и убеждений.

Отсюда проблематичной становится и возможность нахождения допускающих эмпирическую проверку общих законов, которые описывали бы причинную связь убеждений, желаний

и действий, что и ведет к принятию утверждения (2) (современные философские трактовки причинности принимают сформулированную Б. Расселом точку зрения, при которой любая единичная причинная связь может рассматриваться как пример стоящего за ней номологического обобщения, то есть закона). Действительно, хотя аргумент "Логической связи" и не исключает полностью возможность того, что желания и убеждения действующего являются причинами поведения, он показывает, что основанные на практическом силлогизме объяснения, как обыденные, так и научные, тривиальны, не обладают проверяемым эмпирическим содержанием и, соответственно, не могут служить основанием для сколько-нибудь точных предсказаний будущего поведения. Если интенции или убеждения агента не получают независимой от описания самого действия характеристики, эмпирическое содержание объяснения, основанного на "принципе рациональности", в лучшем случае сводится к тому, что "*X* сделал *A*, потому что хотел сделать *A*" Иными словами, содержание объяснения сводится к малоинформативной констатации того обстоятельства, что у действия были какие-то основания, то есть оно не было "просто движением" Излишне говорить, что из такой констатации не могут быть выведены точные и допускающие возможность фальсификации предсказания, так как выведение таких предсказаний требует возможности измерения фигурирующих в посылках практического силлогизма убеждений и желаний, а также формулировки условий, при которых предполагаемая закономерность, связывающая убеждения и желания с наблюдаемыми действиями субъекта, окажется фальсифицирована (например, "Джоунз в сложившихся обстоятельствах больше всего на свете хотел достать шляпу и предполагал, что оптимальный, при прочих равных, способ добиться желаемого — это влезть на крышу, но не стал лезть на крышу"[8]). Однако эта задача оказывается принципиально неосуществимой, так как искомая характеристика желаний и убеждений логически выводима из того же интенционального описания, которое использовалось для идентификации действия. (Идентификация желания "достать с крыши шляпу" связана с описанием наблюдаемого фрагмента поведения как "влезания на крышу за шляпой", а идентификация желания "с крыши привлечь внимание соседки" —

с описанием идентичного фрагмента поведения как "влезания на крышу с целью привлечения внимания".)[9] Если же независимая от самого действия характеристика его причин может быть найдена, она должна отличаться от тех оснований (желаний и убеждений), которые использовались при описании самого действия как интеллигибельного, то есть она должна быть сформулирована на неинтенциональном языке (например, бихевиористском языке стимулов и реакций, нейрофизиологическом языке и т. п.). Однако такой перевод желаний и убеждений на независимый от интенционального описания действия язык открывает перспективу уже не дефинитивной, а номологической редукции единичных суждений, постулирующих связь между интенциями и действиями, к каким-то физическим, нейрофизиологическим и прочим общим законам, описывающим механизм предполагаемой причинной связи на языке, не имеющем ничего общего с практическим силлогизмом и ментализтским словарем "обыденной психологии"

Более того, утверждение (3) указывает на еще один веский аргумент, согласно которому пропозициональные содержания убеждений и желаний (а также, напомним, прочих интенциональных состояний — страха, надежды и т. п.), не могут фигурировать в каузальном объяснении этого действия, а лишь позволяют рационализировать действие, то есть представить его в качестве интеллигибельного. Во-первых, основания действия — это абстрактные пропозиции, содержание которых само по себе не может быть причиной наблюдаемого поведения в физическом мире. Так утверждение: "Курить вредно", как и обратное ему утверждение, никак не могут повлиять на реальное положение дел, если только не станут пропозициональным содержанием чьего-либо убеждения, верования и т. п. Но, во-вторых, пропозициональные установки типа "*X* убежден, что *p*" либо "*X* хочет, чтобы *p*" (где *p* представляет собой некое пропозициональное содержание) являются не просто интенциональными, но еще и *интенсиональными* высказываниями в том узком смысле, который придают последнему термину логики. Не вдаваясь в логические тонкости, заметим, что в интенсиональных языках возможности замены синонимичных выражений ограничены принятой моделью референции. Так, если в высказывании: "Дезде-

мона хотела выйти замуж за Отелло" заменить Отелло на "самого ревнивого мавра в Венеции", истинное высказывание станет ложным. Хотя Отелло и был донельзя ревнив, Дездемона хотела выйти за него замуж "под другим описанием" Применительно к состояниям убежденности, желания и т. п. это означает, что попытка заменить использованное для характеристики такого состояния описание пропозиционального содержания на эквивалентное независимое описание, сформулированное на экстенсиональном языке, может изменить значение истинности первоначального высказывания. (Это соображение может показаться несколько абстрактным, однако именно оно объясняет безуспешность предпринимаемых теоретиками "рационального выбора" попыток решить проблему интерперсонального сравнения полезностей, интересов и т. п. субъективных переменных.) Кроме того, интенсиональность языка желаний, убеждений и целерациональных действий порождает проблему объективного критерия приписывания рациональности. "Имманентный" описанию действия в терминах средств и целей формальный критерий рациональности, то есть соответствие описания действия схеме практического силлогизма, не может претендовать на роль такого объективного критерия в силу своей неопределенности, так как не принимает во внимание соотношение текущей цели данного индивида с его другими целями и их возможной иерархией (даже если временно оставить в стороне вопрос о "трансцендентных" индивидуальному действию иерархиях целей, приобретающий критическую остроту в теориях коллективного действия), а также игнорирует информацию об объективно доступных этому конкретному индивиду, с его вкусами, характером, физическими возможностями и т. п., выборах — "множестве возможностей"[10] В отсутствие более объективного критерия рациональности целей любой самый странный поступок может быть представлен в качестве разумного, если постулировать соответствующие безумные желания и (или) убеждения. Последняя проблема была проанализирована нами в другой работе, где подробно рассматриваются недостатки самой успешной из моделей причинного, дедуктивно-номологического объяснения рационального действия — модели "рациональности как диспозиции" К. Гемпеля[11].

Но, как уже говорилось, отказаться от описаний действий в терминах интенций, убеждений-верований и т. п. невозможно, поскольку это означало бы, что действий как таковых не существует.

Приблизительно такой ход рассуждений и привел философа Д. Дэвидсона к его знаменитым формулировкам принципа "производности ментального" и тезиса о невозможности "психофизических законов" Эти удачные формулировки синтезировали ключевые идеи полувекового развития аналитической философии, прагматизма и своеобразной версии эмпиризма, выдвинутой У О. фон Куайном.

В статье 1963 года "Действия, основания и причины" [125] Дэвидсон выступил против предложенной П. Уинчем трактовки идей Л. Витгенштейна, утверждавшей несовместимость рациональных и причинных объяснений действия[12] Взамен он предложил следующую точку зрения: рациональные и каузальные объяснения совместимы и, более того, субъективные основания, рационализирующие действие, обладают объяснительным потенциалом *лишь в тех случаях*, когда они также являются его причиной. В указанных случаях один и тот же фрагмент поведения будет рассматриваться как интенциональный под некоторым адекватным истинным описанием, отсылающим к целям и убеждениям действующего, либо как неинтенциональный под другими, также адекватными описаниями, использующими неинтенциональный язык. Таким образом, одно и то же поведенческое событие может отсылать к нескольким описаниям. Законы, если рассматривать их с сугубо "лингвистической" точки зрения, постулируют отношения между событиями лишь под конкретными описаниями. Иными словами, некоторые адекватные описания могут быть подведены под общий закон, а некоторые, также правильные, не могут быть подведены под общий закон.

Далее. Менталистские, интенциональные описания носят производный характер по отношению к физическим описаниям в том смысле, что мы не можем представить себе, что некто обладает неким ментальным свойством (в частности, убеждением, желанием, установкой и т. п.), не обладая каким-то соответствующим "первичным" физическим качеством, либо несколькими качествами, как не можем вообразить и ситуацию, когда абсо-

лютно идентичные с точки зрения всех физических свойств существа различаются ментальными свойствами [см. 125]. Из "принципа производности" совсем не обязательно следует эпифеноменализм и возможность онтологической редукции интенционального языка. Чтобы понять это, рассмотрим другой пример "производности" послуживший для Дэвидсона толчком к формулировке общего принципа. Речь идет о весьма известном анализе соотношения нормативно-оценочных и описательных терминов, предпринятом в начале XX века Дж. Э. Муром и оказавшем влияние на концепцию Дэвидсона [126, p. 4–5]. Мур обратил внимание на то, что нормативно-оценочные термины производны по отношению к терминам дескриптивным, описывающим наблюдаемые характеристики объекта, так как возможность различения дескриптивных свойств является необходимым условием различения оценочных свойств. Например, выражение "хороший нож" предполагает, что существует набор дескриптивных свойств (являющихся, в данном случае, прямо наблюдаемыми физическими характеристиками), от которых зависит применимость оценочного термина к данному объекту. Такими свойствами могут быть, допустим, "острота" и "прочность" Любой другой нож, полностью идентичный первому с точки зрения дескриптивных свойств, будет идентичен и с точки зрения оценочного свойства "хороший" Оценка же другого ножа как "плохого" предполагает различие физических свойств. Те же соображения применимы и к моральным характеристикам: говоря, что Никсон был отправлен в отставку из-за того, что он был коррумпирован, мы подразумеваем, что в основании морального термина лежат базовые наблюдаемые свойства поведения — лицемерие, ложь и т. п., — которые и сыграли роль реальных причинных факторов, приведших к отставке[13] Однако описанная возможность дефинитивной или даже номологической редукции моральных предикатов к базовым описаниям, как видно из приведенных примеров, отнюдь не означает возможности онтологической редукции (в частности, моральный предикат "коррумпированный" не сводим к базовым поведенческим свойствам, по отношению к которым он производен).

В общем случае, предикат p производен по отношению к множеству предикатов S в том и только том случае, если p не различает объекты или сущности, которые не различаются

относительно *S*. Именно в этом смысле "принцип производности" применим и к ментальным предикатам. Рассуждая описанным образом, Дэвидсон показывает, что какие-то два события — ментальное и физическое — могут быть причинно взаимосвязаны, не допуская, однако, подведения под строгий "психофизический закон" под этим описанием (тезис о невозможности строгих "психофизических законов"[14]). Закон, стоящий за причинной взаимосвязью двух событий, может быть сформулирован лишь под другим, неинтенциональным, описанием. Таким образом, оказывается, что, с одной стороны, описания событий на менталистском языке соответствуют критериям согласованности, последовательности, то есть принципу рациональности (который не выполняется для физических описаний тех же событий). А с другой стороны, закон, объясняющий причинную связь названных событий, описанных в интенциональных терминах, не может быть сформулирован именно под этим описанием, хотя и должно существовать какое-то описание в базовых терминах, для которого можно сформулировать строгий закон (и под которым причинная связь будет являться также и номологической).

Содержательные трудности

"Принцип производности" и тезис о невозможности "психофизических законов" не только суммируют вышеприведенные аргументы, касающиеся логических трудностей, которые стоят перед интенционалистскими объяснениями действия. Они позволяют предварительно очертить круг содержательных трудностей, с которыми сталкиваются создатели теорий рационального действия в социальных науках, а также все мы как создатели "обыденных теорий", объясняющих или, с учетом вышеизложенного, скорее, рационализирующих и оправдывающих наши житейские поступки[15] Еще одним основанием для скептицизма в отношении возможностей менталистских моделей объяснения в поведенческих и социальных науках стала другая дискуссия, содержательно связанная с дискуссией о "психической причинности", однако исторически разворачивавшаяся относительно независимо от последней (хотя и в тех же хронологических рамках). Речь идет о популярном в когнитивной психологии, психолингвистике и философии сознания

споре относительно статуса "народой психологии" "Народная психология"[16] — это специальный термин, используемый психологами и философами для обозначения упоминавшихся выше "обыденных теорий", описывающих предполагаемую взаимосвязь между внешними стимулами (условиями среды), внутренними психическими состояниями и действиями людей. У Селларс в вызвавшей значительный резонанс работе "Эмпиризм и философия сознания" [277][17] атаковал постулат непосредственной интроспективной данности состояний сознания, в том числе мотивов, убеждений, намерений и т. д. Он предположил, что веру в непосредственную данность субъекту его собственных психических содержаний следует рассматривать не как само собой разумеющийся атрибут "человеческого состояния", а как своеобразную обыденную теорию сознания. Последнюю Селларс обозначал как "миф данности" ("концепция белого ящика" — еще более удачный термин для этой теории, предложенный позднее голландским психологом М. Де Мэем). Многие максимы житейской мудрости и, конечно, обсуждаемый нами "принцип рациональности" (как атрибутируемый агентам действия обобщенный мотив стремления к лучшему в объективном или субъективном понимании) прекрасно иллюстрируют ключевые положения обыденной теории сознания и деятельности. Итак, Селларс отверг понимание этой теории как самоочевидной данности, а, следовательно, и привилегированный эпистемический статус убеждений и верований людей, относящихся к их собственным психическим состояниям и поступкам. Чтобы продемонстрировать предположительно исторический (точнее даже, филогенетический) характер "мифа данности", и соответственно, обыденных доктрин сознания и человеческой рациональности, Селларс предложил вполне правдоподобный альтернативный миф, согласно которому наши далекие предки первоначально располагали сугубо бихевиористским пониманием действий, однако постепенно обучились новой теории действия, постулировавшей внутренние эпизоды, ментальные события в качестве причин наблюдаемого поведения. Постепенно атрибутирование психических состояний стало неотъемлемой частью культурного багажа, оставаясь тем не менее недоказанным постулатом определенной теории сознания. Хотя альтернативный миф был

изобретен Селларсом исключительно ради того, чтобы проблематизировать "феноменальную данность" ментальных состояний, он отнюдь не был лишен правдоподобия. Более того, психология как эмпирическая наука могла представить вполне веские и многочисленные доказательства в пользу чего-то, подобного альтернативному мифу. Достаточно упомянуть идеи и результаты психоаналитической теории, продемонстрировавшие и возможность присутствия неосознаваемого расчета в кажущемся неинтенциональным поведении (в частности, в соматических симптомах, случайных оговорках, "иррациональных" проявлениях аффекта и т. п.), с одной стороны, а, с другой — глубокую иррациональность и нелогичность фундаментальных самоописаний, стратегических "жизненных планов" и гиперрационализированных мотиваций действия.

Если психоанализ ко второй половине XX века стал почти частью массовой культуры, то другой источник представлений о том, что наши повседневные объяснения действий являются не чем иным, как "житейской теорией сознания" тесно связан с историческими и теоретическими основаниями доминирующей сегодня в психологии когнитивистской парадигмы. Одним из основных источников этого направления стали работы Ф. Хайдера, представителя второго поколения гештальтпсихологов, после переезда в США ставшего основателем оригинального теоретического и экспериментального подхода к исследованию каузальной атрибуции в межличностном восприятии, то есть "наивно-психологических" процессов приписывания мотивации и интенциональных состояний себе и другим людям[18] В ставшей классической статье Хайдера и Зиммеля 1944 года [175] описывается эксперимент, где испытуемым демонстрировался короткий фильм, "действующими лицами" которого были плоские геометрические фигуры — большой и маленький треугольники, прямоугольник, круг, двигавшиеся по экрану. Все испытуемые описывали увиденное как организованный сюжет, активно используя антропоморфные термины ("ударил", "хотел догнать" и т. п.), приписывая фигурам намерения, действия и даже личностные качества. Вышедшая в 1958 году книга Хайдера "Психология межличностных отношений" уже содержала в себе целостную теорию "психологии здравого смысла", построенную на анализе сложных схем при-

писывания интенциональных состояний и интерпретации собственных поступков и действий других людей в терминах желаний, убеждений, верований и т. п. Эти схемы приписывания и составляют своеобразную народную психологию, зачастую мало связанную с наблюдаемой "объективной" стимуляцией и характеризующую обыденное восприятие, а также соответствующую обыденную "теорию социального действия"

Исследования народной психологии позднее распространились и на область самовосприятия человека. В частности, было показано, что склонность к восприятию своих действий как инструментально-рациональных или, напротив, как детерминированных средой (так называемые внутренний либо внешний локусы контроля за подкреплением) — это культурно-специфичная индивидуальная характеристика, скоррелированная с другими личностными чертами: конформностью, политической активностью, достиженческой ориентацией и т. п. Иными словами, это некая "центральная" особенность, отнюдь не определяемая реальной ситуативной эффективностью целерациональных действий[19] Немаловажную роль в становлении исследований "народной психологии" сыграли положения теории личностных конструктов Дж. Келли, постулировавшей сходство моделей, используемых для объяснения поведения "человеком-с-улицы" и типичным психологом или социологом, а также идеи вызвавшей много споров теории самовосприятия Д. Бема, которая на основании оригинальных экспериментов обосновывала отсутствие у людей непосредственного "интроспективного доступа" к субъективным основаниям собственных поступков и к собственной текущей мотивации. (Более того, Бем собрал довольно веские доказательства в пользу того, что, столкнувшись с необходимостью объяснения своих действий, люди ведут себя как "стихийные бихевиористы", обращаясь прежде всего к внешним причинам и переходя к реконструированию внутренних оснований лишь тогда, когда делают нечто, чему трудно найти внешние оправдания [см. 90; 194].) О сомнительных объяснительных возможностях народной психологии свидетельствуют, в частности, эксперименты Р Нисбета и Т. Уилсона [227], по результатам которых получается, что именно в тех случаях, когда люди конструируют сложные "внутренние" объяснения, они чаще всего ошибочно предска-

зывают дальнейшее поведение. (Можно предположить, что та же закономерность проливает некоторый свет на причины бесчисленных неудачных прогнозов в социальных науках, например, предсказаний политологов или биржевых аналитиков.) В наше время в академической психологии и философии сознания тезис об отсутствии у людей эпистемической — но, конечно, не правовой или моральной — привилегии в объяснении собственного поведения воспринимается как самоочевидный (объяснения, возможно психоаналитического, требуют, скорее, упорные попытки некоторых социологов и культурных антропологов взглянуть на предмет своего изучения "с точки зрения изучаемых субъектов", напоминающие о лучших временах интроспективной школы).

В вопросе о статусе народной психологии существует два основных подхода [см.: 251]. "Экстерналистская" точка зрения основывается на том, что народная психология встроена в поверхностную структуру речевых высказываний и отражает определенный способ описания, увязывающий сенсорные стимулы с психическими состояниями и их последовательностями, а психические состояния — с наблюдаемым поведением. Являясь своего рода façon de parler, народная психология функционирует также в качестве "теории", вводящей термины наблюдения, неявного источника тавтологических дефиниций [см.: 204]. С "интерналистской" точки зрения, народная психология — это внутренняя структура данных или способ репрезентации содержания когнитивных процессов (знаний). С еще бо́льшими основаниями народную психологию можно рассматривать как отражение глубинных структур порождения речевых высказываний. Последняя позиция имеет прочные основания в психолингвистике, начиная с середины XX века. Достаточно упомянуть теорию врожденных лингвистических способностей Н. Хомски, а также теорию семантических ролей Ч. Филлмора. Теория Филлмора связывает семантику падежей с устойчивыми ролями, каждая из которых идентифицирует коммуникативное действие (Агент, Контрагент, Объект, Адресат, Пациент, Результат, Инструмент) [см.: 144]. Язык семантических ролей позволяет представить семантические содержания через базисные синтаксические отношения, то есть фактически осуществить редукцию интенциональных описаний к фор-

мальной системе отношений, поддающейся описанию на экстенсиональном языке. Как замечает В. Ф. Петренко, глубинные роли (падежи) эквивалентны категориям описания целенаправленной деятельности [49, с. 26–28][20]. Таким образом, гипотеза о лингвистическом инстинкте как основе народной психологии и "обыденных теорий деятельности" получает дополнительное подкрепление[21] Если же, следуя за постструктуралистами, принять тезис о неразличимости поверхностного и глубинного уровней, означающего и означаемого, то различия между "экстерналистскими" и "интерналистскими" концепциями народной психологии становятся трудноуловимыми.

Вне зависимости от принятия одной из этих позиций, существенным остается вопрос об истинности народной психологии как научной теории поведения. Даже если способность людей описывать поведение в менталистском языке действительно отражает внутреннюю структуру репрезентации, народная психология может рассматриваться как адекватная теория сознания и, возможно, речевой деятельности[22], что еще не дает оснований принимать ее в качестве истинной и достаточно полной теории действия. Очерченные выше теоретические соображения и исследовательские результаты ведут к скорее скептической оценке возможностей народной психологии в номологическом объяснении и предсказании многообразия реальных действий.

Рассмотренные аргументы дают, таким образом, весьма веские (пусть и не во всем бесспорные) основания для следующего вывода: единичные каузальные суждения, сформулированные на телеологическом языке желаний и намерений и следующие форме практического силлогизма, в том числе данные историком объяснения исторических фактов, выдвигаемые "человеком-с-улицы" объяснения повседневных поступков людей и т. п., обладают самоочевидной интуитивной убедительностью и в некоторых случаях на самом деле являются истинными суждениями, однако их предполагаемая истинность и их объяснительный статус могут быть строго обоснованы лишь в другом, неинтенционалистском и, возможно, нетелеологическом языке. Этот вывод позволяет понять, почему многие рассмотренные *в разделе II данной книги* телеологические теории социального действия, стремящиеся сформулировать

общие законы, которые обладали бы очевидным эмпирическим содержанием и позволяли бы подвести "номологический фундамент" под единичные каузальные суждения, описывающие субъективные основания действий, постоянно сталкиваются с необходимостью найти адекватный язык анализа человеческого поведения, отличный от языка желаний и убеждений, а также почему такие теории терпят фиаско в тех случаях, когда отказываются от такого поиска и прямо постулируют в качестве универсального закона практический силлогизм. Именно такими телеологическими эмпирицистскими теориями, принимающими "принцип рациональности" как номологическое утверждение либо пытающимися "переписать" его с использованием более правдоподобных гипотез, являются, в частности, классические и неоклассические микроэкономические подходы, а также стандартная форма социологических теорий рационального и социального выбора.

ГЛАВА 11

СОЦИОЛОГИЯ С ПРАКТИЧЕСКОЙ ТОЧКИ ЗРЕНИЯ: К КРИТИКЕ СОВРЕМЕННЫХ ТЕОРИЙ ПРАКТИКИ

Интеллектуальная генеалогия "практик"

Цель этой главы — критический анализ социологических теорий практики. На концепции "практики" основаны многие современные теории деятельности [см.: 29]. К числу социологических теорий практики относят конструкционистские и некоторые постструктуралистские концепции, принимающие постулат детерминации социального действия имплицитными, нерефлексируемыми ("фоновыми") и надындивидуальными "практиками" как символическими порядками и диспозитивами действия. С этой точки зрения, к теориям практики в более широком смысле могут быть отнесены и разрабатываемые в социальных науках теории деятельности и структуры, опирающиеся на родственные теоретические понятия "традиции", "ментальности", "мировоззрения", "коллективного бессознательного" и т. п.

Избранная в данной главе перспектива критического метатеоретического рассмотрения теорий практики в значительной мере основывается на недавних обобщающих публикациях С. Тёрнера и Дж. Александера [73; 302], в которых сформулированы веские аргументы против использования понятия "практики" в качестве универсального и, в свою очередь, необъясняемого "квазиобъекта" поскольку оно лишь подменяет анализ механизмов воспроизводства социальных и культурных паттернов индивидуального и коллективного действия отсылкой к "разделяемой фоновой практике". Книга Тёрнера "Социальная теория практик: традиция, неявное знание и предположения"[23] выявляет преемственность между теориями практики второй половины XX века и идеями немецкого романтизма XIX века ("контекстуализм", "дух эпохи" и т. д.). Работа же Александе-

ра, специально посвященная "теоретическому синтезу" П. Бурдье, позволяет продемонстрировать непризнаваемую или даже систематически отрицаемую генеалогическую связь популярного в социальной теории нашего времени понятия практики с неомарксистским понятием "праксиса" (разработанным, в частности, в трудах А. Грамши, Д. Лукача, Л. Альтюссера и др.). В данной главе обосновывается более сильный вывод о том, что понятие практики (традиции, неявного знания и т. п.) в социологических теориях используется в качестве суррогата метафизических понятий истины, блага и тому подобных "последних обоснований", то есть не является объяснительным в узком смысле слова. Кроме того, будут изложены некоторые дополнительные подтверждения высказанного Александером тезиса о внутренней взаимосвязи сегодняшних теорий практики с релятивистским и редукционистским подходом к социальной теории, сводящим теоретическое знание об обществе к партикуляристскому, субъективному и "локальному" дискурсу.

Во второй половине XX века многие концепции, описывающие стабильность языковых значений, следование нормам, понимание правил, принадлежность к культурной, научной, правовой или политической "традиции" и т. п., нередко использовали в качестве объясняющего механизма отсылку к неким "разделяемым фоновым практикам", понимаемым в качестве неосознаваемых и неявных "жизненных форм" В этих многообразных концепциях — от Э. Шпрангера до Л. Витгенштейна и от М. Хайдеггера до П. Бурдье — "практика" превратилась во всеохватное понятие с неопределенно широким концептуальным полем. Прослеживая интеллектуальную генеалогию современных трактовок практики, Тёрнер обращает внимание на родственные понятия: Weltanschauung, традиция, Sitte, парадигма, идеология, исходное предположение, система координат или концептуальная схема [302, p. 1–13].

Общим ядром этого семейства терминов, видимо, является представление о дорефлексивном, имплицитном и, возможно, в принципе не поддающемся осознанию взгляде на мир или о практическом, недискурсивном представлении об этом мире. Такой "унаследованный неосознаваемый фон" не только не нуждается в обосновании, но сам способен играть роль "первопринципа", относительно которого каждый оценивает что-

то как истинное или ложное, правильное или неправильное, нормальное или отклоняющееся[24]

Иными словами, попытка очертить концептуальные связи "практики" прежде всего приводит нас к идее дорациональной основы рациональности (теоретической и практической), которая, однако, не носит универсального и априорного характера. Напротив, это основа, позволяющая объяснить вариативность наиболее фундаментальных когнитивных, моральных или правовых убеждений, обнаруживаемую при сравнении не отдельных индивидов, а культур, народов и исторических эпох. Определенная таким образом основа уже не может, в силу исполняемых ею объяснительных функций, "принадлежать" индивиду, иначе она обрела бы нежелательные свойства чрезмерной межиндивидуальной изменчивости или, что уж вовсе неприемлемо, универсальности. (Более того, несколько забегая вперед, отметим, что предположение о наличии разных "исходных предположений" как раз и превращает термины, описывающие наблюдаемое многообразие традиций, нравов или мировоззрений, в псевдообъяснения этого многообразия. Однако это волшебное превращение требует, чтобы постулируемая основа как раз и была нерефлексируемой, не поддающейся изложению в виде дискурсивного знания, то есть, предположим, *доксой* или *пред*-рассудком консервативной традиции либо *практикой* марксизма.) Подходящими носителями такой основы могут быть культуры, классы, народы, сообщества или исторические эпохи. Таким образом, речь идет о "совокупной", общественной основе действия, восприятия и оценки. Естественно, столь историчное понятие нуждается прежде всего в историческом рассмотрении.

Анализируя корни "практики и её концептуальных сородичей" в социальной теории XIX века, Тёрнер обращает особое внимание на исторически вариативные "предположения" неокантианцев, и в частности, на историко-философский синопсис К. Фишера и на воздействие неокантианства на философию права Р. фон Иеринга. Тот и другой оказали, в свою очередь, влияние на взгляды М. Вебера, Э. Дюркгейма, Ф. Тённиса [302, p. 4–5, 28–29; 303, p. 14–18]. По мнению Тёрнера и Р Фактора, неокантианские популяризаторы Канта, решая с помощью доктрины "конфликта фундаментальных предполо-

жений" (кантовских "идей", превращенных в "символические функции" предположения или Ursprunges) проблему обоснования фундаментальных категорий права и науки, отказались от кантовского универсализма форм и намеренно или ненамеренно породили всю проблематику "исторической рациональности" (или, говоря точнее, историцистского эпистемологического релятивизма) — "наследство, оставленное неокантианством постмодернизму" [303, p. 17]. С позиций "исторической рациональности", основанные на разных исходных предпосылках научные, культурные или правовые "системы" сменяют друг друга скорее исторически, чем в результате рациональных сопоставлений, поскольку рассудок опирается на предпосылки, а не исследует их. Как пишет Тёрнер: "Их [неокантианское] использование 'предположений' в значении неявных предпосылок — равно загадочного понятия — выжило в качестве когнитивного или квазикогнитивного суррогата натуралистических терминов «привычка» и «обычай». И не просто выжило. Вместе с такими понятиями, как идеология, структуры знания, Weltanschauungen и множеством других подобных словоупотреблений, идея о том, что существует нечто когнитивное или квазикогнитивное, "за спиной" или до того, что произнесено явно и публично, превратилась в расхожую монету социологов знания, историков идей, теоретиков политики, антропологов и других" [302, p. 29].

Тёрнер предпочитает использовать в своем анализе множественное число — "практики", для того чтобы отделить постмодернистских и конструкционистских эпигонов неокантианства от тех, кто унаследовал термин "практика" из неомарксистской традиции, в которой это понятие определяется как нечто, скорее противостоящее "теории" чем лежащее в её предпосылках. Однако это тонкое различение служит скорее формальному отделению тех теорий, которые Тёрнер анализирует подробно, от других, не используемых в анализе, хотя и допускающих в принципе аналогичный подход: "В основе марксистского понятия 'праксис' есть нечто сходное — живая деятельность, имеющая внутренне присущие ей цели, которые нельзя ухватить в принципах и процедурах или редуцировать к теории... В какой мере практика в телическом смысле требует 'практик' в смысле укоренившихся привычек или фрагмен-

тов подразумеваемого знания? В той мере, в которой они требуются, их [дальнейшее] обсуждение относится и к практике" [302, p. 8].

В примерном соответствии с этим разграничением можно выделить две аналитические модели, на основании которых концептуализируются "практики":

- модель "скрытых предположений", выступающих неким функциональным эквивалентом предпосылок дедуктивной теории, и
  модель "воплощенного" практического знания, имеющего отчетливый деятельностный компонент, к примеру, умения, подобные "американской походке" М. Мосса, усвоенные культурные или моральные диспозиции ("привычки сердца") и, возможно, лингвистическая компетенция.

Видимо, промежуточное положение между этими моделями занимают "вписанные в тело" дисциплинарные практики и "эпистемы" раннего Фуко, неосознаваемый "габитус" Бурдье а также Sitten, морально обязывающие обычаи теоретиков права XIX века.

Критика теорий практики и возможные альтернативы

В социальной теории конца XX века все эти практики, как было сказано выше, превратились в "местодержателей" таких "фундаменталистских" понятий, как истина, обоснованность или правильность. Сами эти понятия нам рекомендуют "соотносить с практикой" или "обосновывать практикой" Например, "практики репрезентации" предположительно позволяют "сконструировать" нечто как истинное или фактическое. Практики не универсальны, а "локальны": они разделяются, совместно используются некой группой (впрочем, постмодернизм уверенно сузил численность этой группы до $N = 1$). Соответственно, получаемые истины или обоснованные интерпретации тоже "социально сконструированы" посредством практик, используемых социальной группой социальных ученых. Практики вариативны и многообразны, однако неизменно выступают в роли "последних объяснений" и "последних обоснований" Почему же они не справляются с этой ролью?

Во-первых, практики фигурируют *либо* в качестве "квазиобъектов", обладающих далее не проясняемой "причинной си-

лой", что порождает обсуждаемые ниже проблемы "трансмиссии" и "тождественности" практик, *либо* в качестве неявного логического "основания" неких предпочтений и убеждений, которое, однако, не является необходимым. Последний пункт требует дальнейшего уточнения: одни и те же явные убеждения, исполнения или установления — от способов воспитания маленьких детей до манеры ходить — могут быть результатом разных исторически контингентных предположений, которые, напомним, и постулируются в качестве вариативных и отличных от кантовских универсальных форм. То есть индивиды и народы вполне могут "разделять" *внешне идентичные* практики, исходя из абсолютно *разных* "исходных предположений" Более того, за идентичными речевыми и поведенческими исполнениями чаще всего стоят именно различные индивидуальные "траектории", основанные на различных мотивациях (ср., например, сложение, выполняемое рыночным торговцем и преподавателем математики, сочиняющим новую задачу), различных психофизиологических механизмах (чтение стихотворения, напечатанного обычным и брайлевским шрифтом), различных исторических обстоятельствах приобретения практической компетенции (Тёрнер приводит пример профессоров философии, читающих сходные лекции на языке, который для одного из них является родным, а для другого — выученным в зрелом возрасте).

При таком многообразии возможных механизмов реализации любой практики, последняя превращается из каузального в функциональное понятие, и вместо желанного объяснения сходства наблюдаемых действий индивидов через единство их основы мы сталкиваемся с необходимостью анализа многообразных, но функционально эквивалентных "порождающих практику механизмов" (так, объясняя работу конкретных часов мы не можем сказать, что они отмеряют равные временные интервалы именно потому, что это часы, а вынуждены объяснять, какой из возможных причинных механизмов — от гидравлического до электронно-эмиссионного — обеспечивает нам возможность распознать в данном случае образец "обычных часов" как функционального понятия; аналогично наша способность распознать в каких-то наблюдаемых поступках различных людей следы "общей ментальности" или "тра-

диции" обязывает нас объяснить, какие именно цепочки причин и следствий позволяют в данном случае реализовать то, что мы функционально классифицируем как "ментальность" или "традицию").

Во-вторых, весьма проблематичной выглядит любая неметафорическая трактовка "обладания" практикой или "участия" в ней. Здесь мы снова сталкиваемся с проблемой "трансмиссии" — как передаются и наследуются практики, как получают к ним доступ? Концепция "разделяемой практики" требует, чтобы практики передавались от индивида к индивиду, "воспроизводились", если воспользоваться излюбленным термином Бурдье. К этому, собственно, и сводится "социальная теория практик" Однако практики, в силу своего определения, труднодоступны для наблюдения: обнаружение "рутин" и "неявных знаний" требует специальных навыков даже от исследователя, как же их умудряются получать и "разделять" неискушенные акторы? И как они убеждаются, что получено именно то, что было отправлено?

Как показывает Тёрнер, ни одно из объяснений "получения" практик, включая те, которые основаны на предложенной С. Крипке увлекательной, но неадекватной интерпретации витгенштейновской модели усвоения значения математических выражений, не доказывает тождественности того, что передается [302, p. 63–77]. Проблема транзитивности практик, правил или значений, о чем подробнее говорится далее в этой главе, остается неразрешенной.

Если же рассматривать в качестве критерия обладания практикой или правилом правильные использования или исполнения, вновь возникает логический круг, в котором практики и правила утрачивают всякий объяснительный смысл (поскольку их ценность как раз и определяется возможностью объяснить поведенческую или семантическую правильность без эксплицитного критерия правильности, то есть без явного и потенциально общедоступного, собственно универсального правила). Ведь чтобы заметить особый и уникальный характер какой-то практики — выполнения сложения, сидения на корточках, манеры решать политические споры путем постепенных взаимных уступок или переходить улицу на оживленном перекрестке, — надо сопоставить происходящее с наши-

ми привычными способами делать те же вещи. Лишь наличие "наших" способов делать то же самое превращает "чужие" способы во что-то контринтуитивное и требующее объяснения. Более того, будь наши привычные словоупотребления и манеры другими, мы едва ли пришли бы к идентификации чуждого и неожиданного в тех же границах. Наконец, и сама способность наблюдателя увидеть различие в способах практического исполнения предполагает достаточно общее и "универсалистское" представление о природе того, что он собственно наблюдает — представление, в котором не так легко отказать и тем, кого наблюдают[25] Иными словами, само различение практик и их исполнений, "задействований", рутинных применений и т. п. как экспланантов и экспланандума утрачивает смысл, оставляя практикам и их "концептуальным сородичам" функцию метафорического описания того, что собственно и хотелось бы объяснить (наблюдаемой стабильности языковых значений, политических установлений и т. д.).

К сходному выводу приходит и Тёрнер [302, p. 47–48], отмечая, что социальные теории практики по сути предлагают лишь два критерия передачи практик:

- определение скрытой причинной сущности по её наблюдаемым исполнениям (метафора "генотип – фенотип") и наблюдение за процессами приобретения "генотипа", под которыми понимается контакт с носителями, совместное участие или обучение, формирующее новых "носителей" данной практики.

Если при использовании второго критерия теоретикам практики остается доказать, что такое понятие практики способно хоть что-то добавить к существующим натуралистским моделям научения и выработки навыков, то первый критерий позволяет попросту "уклониться от вопроса посредством использования метафор, перекладывающих бремя объяснения на других" [302, p.47]. В качестве примера Тёрнер упоминает постструктуралистскую концепцию "воспроизводства" П.Бурдье, описывающую процесс, в ходе которого упорядоченная структура диспозиций, габитус, конституирующий практику, воспроизводится внутри новых акторов (например, детей членов какой-то группы). При этом Бурдье предпочитает рассматривать саму возможность "репродуктивной трансмиссии" как

данность, которую должен объяснить кто-нибудь другой, скорее всего психолог Конечно, какая-то принципиально новая психологическая теория, объясняющая собственно интериоризацию и экстериоризацию практики как внешней структуры действия через внутреннюю структуру диспозиций, ещё может возникнуть, но до сих пор единственной убедительной психологической моделью научения как формирования нового поведения остается бихевиористская психология, которую Бурдье критикует столь же яростно, как и структурализм[26] Таким образом, гарантией всей этой богатой социологии выступает довольно скудная и условная психология.

Дж. Александер отмечает, что и само понятие габитуса у Бурдье становится неким аналогом "промежуточной переменной" необихевиоризма, то есть своеобразной концептуальной декорацией и орудием "субъективизации объективных сил" [73, p. 136–149]. Неспособность Бурдье "концептуализировать некую дистанцию, критическое пространство между ментальными структурами и социальными условиями, из которых они возникают" приводит к парадоксу: настойчивому декларированию стратегического, "практичного" подхода субъекта к использованию правил, ценностей или норм (главный аргумент Бурдье в критике структурализма) при полном отсутствии автономной субъектности и той отвлеченной "точки зрения", с которой правила или нормы могли бы "бессознательно-стратегически" оцениваться и использоваться ("Габитус прочно привязывает актора к социальному миру, не позволяя делать какие-либо обобщения vis-á-vis с последним. Бурдье прославляет конкретность габитуса, который, как им утверждается, мотивирует актора воспроизводить то, что им унаследовано, и который в конечном счете отрицает всякое критическое мышление, подразумеваемое в идее когнитивного и морального обобщения" [73, p. 143])[27]

Сходным образом "структурированные практики" Э. Гидденса уполномочены воспроизводить и саму субъектность на уровне практического и, в особых обстоятельствах, дискурсивного сознания, и рутины, и институты социальной жизни. В силу необходимости решать столь титаническую задачу, всякая практика снабжена аналитически выделяемыми компонентами моральных и процедурных правил (определяющих, как и

когда она может быть задействована), а также материальных и властных ресурсов, обеспечивающих её исполнение. Если даже оставить в стороне поразительную скудость воссоздаваемой таким образом "структуры" — институционального контекста действия, лишенного даже намека на разделение ролей, множественность статусных иерархий и существование относительно автономных сетей власти, предлагаемая Гидденсом модель действующего воспроизводит все главные противоречия "социальной теории практик" (правда, в отличие от Бурдье он заботливо резервирует в своей трехуровневой модели актора "место" для источника выбора и изменений в практиках, однако этим местом оказывается бессознательный уровень мотивации, который, вероятно, тоже когда-нибудь объяснит какая-нибудь психологическая теория[28]). Как обоснованно отмечает М. Бертилссон: "Гидденсовская родовая модель деятельности (действий и практик как конститутивных для социального мира) пока не позволяет провести какую бы то ни было содержательную дифференциацию между различными утверждениями о действиях или практиках: некоторые действия или практики разумны и эффективны с точки зрения самых различных исходных условий. Гидденс не предлагает никакой системы рационального действия или модели рационального действующего. Отсюда, трудно определить, как мог бы выглядеть разумно устроенный мир с точки зрения самих действующих. Если всё что угодно идентифицируется как действие (или как практики), то эти термины просто лишены эмпирического содержания" [92, p. 55]. Иными словами, такая практика превращается в собственный критерий осмысленности, истинности и справедливости, так что невозможно определить, где проходят её границы, начинает восприниматься как единственное "эпистемологическое утешение"

Если практики существуют не только в качестве инструментального понятия и удобной метафоры, то как они всё же передаются от индивидов к индивидам: подобно навыку, постепенно формируемому из случайных действий в результате избирательного "давления" окружающей среды, или всё же передача осуществляется с помощью неявных "посланий" — подтекстов неких явных текстов определенной культуры или традиции, путешествующих "на спине" этих текстов наподо-

бие крыс на грузовом корабле? С. Тёрнер пытается упорядочить существующие "способы передачи" в зависимости от того, как они отвечают на главный вопрос о том, как и чем обеспечивается аутентичное и идентичное воспроизведение старых практик "внутри" новых участников при сохранении определенной избирательности передачи (последняя должна быть доступна лишь тем людям, которые каким-то образом "включены" в практику, имеют доступ к традиции и т. д.) [302, p. 44–77]. Если исключить модель формирования навыка, то основных вариантов решения "проблемы тождества" оказывается всего два.

Первый из этих вариантов Тёрнер обозначает как модель "особых моментов" Эта модель характерна для социальных теорий, описывающих передачу закрытого или актуально неявного знания, поддержание эзотерических или "глубоко эндемичных" (локальных) традиций. Так, Платон придавал особое значение устной речи, "сократическому диалогу" (что и стало позднее мишенью сокрушительной критики особого статуса устной речи и "метафизики присутствия" со стороны Ж. Деррида); М. Поланьи утверждал особый статус "интеллектуального ученичества" в приобщении к научной традиции. Другим вариантом передачи в "особые моменты" являются концепции "заражения в толпе" в духе Г. Лебона или дюркгеймовские идеи о моментах "коллективного возбуждения", создаваемого публичными ритуалами и способствующего усвоению индивидами коллективных представлений. Общей проблемой социальных теорий практики, следующих этой модели, является, прежде всего, их неправдоподобие: здесь не только постулируется существование неких скрытых квазиобъектов, обладающих каузальной силой, но и вводится ещё более экзотическая вспомогательная гипотеза, объясняющая как и где эти квазиобъекты передаются и оказывают воздействие на индивидов. При этом, как отмечает Тёрнер, не существует никаких гарантий идентичности неявного сообщения "на стороне получателя": "...было бы чудом, равноценным чудесному совпадению семидесяти отдельных версий перевода Писания [который, заметим, был настолько нехорош, что после его завершения Солнце не показывалось на небосводе в течение трёх дней — *И.Д.*], если бы полученные неявные сообщения оказы-

вались одинаковыми. Всё, что мы знаем о том, как устроены, например, взаимодействия лицом-к-лицу, ведет к совершенно иной точке зрения. Сообщение, которое получил от Сократа Ксенофонт, по крайней мере, судя по трудам Ксенофонта, очень отличалось от сообщения, полученного Платоном. Было ли это простым проявлением недостаточной способности к восприятию со стороны Ксенофонта?" [302, p. 67].

Второй вариант, рассматриваемый Тёрнером, это модель сохранения идентичности "разделяемых практик" через их соотнесение с неявными правилами. Ключевую роль в распространении этой модели в социальной теории конца XX века сыграл известный анализ С. Крипке витгенштейновской аргументации о невозможности "приватного языка" Интерпретация Крипке — своего рода "улучшенная модель культуры как совокупности правил", сформулированная применительно к витгенштейновскому примеру обучения правилам построения рекурсивных арифметических последовательностей. Достаточно распространенным и обоснованным является мнение о том, что предметом интерпретации у Крипке является совсем (или отчасти) не то, что объясняет сам Витгенштейн (рассуждающий в соответствующих фрагментах "Философских исследований" о недостаточности остенсивных определений значения и расселовской концепции знания-знакомства, демонстрирующий проблематичность индуктивного вывода правил для потенциально нерекурсивных числовых последовательностей, оспаривающий идею привилегированного эпистемологического доступа субъекта к содержаниям сознания и даже, в самых смелых интерпретациях, само существование "приватного сознания" и т. д.). Однако работа Крипке при всех своих достоинствах и недостатках приобрела самостоятельное значение для философии социальных наук, потому что в ней содержится оригинальная трактовка природы правил и следования правилам [198].

Отправным моментом для Крипке является обращение Витгенштейна к идее "форм жизни", позаимствованной им у Э. Шпрангера[29] — обращение, довольно неосторожное для "лингвистического бихевиориста". Шпрангеровские Lebensformen исходно служили цели "понять понимание" через основу (фон) понимания. Витгенштейну же они понадобились для утверждения контингентной, каузальной связи между предше-

ствующим актом именования и последующими употреблениями значения в данной объективно "форме жизни" — обыденном языке, математике и т. д. (идея, блестяще развернутая Крипке в его более ранней работе [197]). (Сравните: "240. "Итак, ты говоришь, что согласием людей решается, что верно, а что неверно?" — Правильным или неправильным является то, что люди *говорят*; и согласие людей относится к *языку*. Это согласие не мнений, а формы жизни" [10, с. 170].)

Кажется обоснованным предположение о том, что таким образом Витгенштейн пытался зафиксировать связь между произвольностью конвенции наименования (или конвенции функции-"правила") и возникающей в результате необходимостью "условий утверждаемости/истинности" (внешних критериев) для получаемых значений-употреблений. (Можно сказать, что лишь приняв значение (правило) по соглашению, мы потом приходим к необходимым истинам.) В этом случае способность или неспособность членов языкового коллектива употреблять значения непротиворечивым относительно исходной конвенции образом ("способность продолжить") *совместно* с их способностью неограниченно расширять, то есть, в сущности, изменять исходные употребления (экстенсионалы значений), и определяет судьбу значения ("правила") в данном естественном или искусственном языке. Конечно, существование компетентного языкового коллектива является существенной частью "каузальной истории" значений, однако лишь в том достаточно тривиальном смысле, что неупотребляемый язык становится, временно или навсегда, "мёртвым" Плохая новость для "интерпретативных интерпретаторов" Витгенштейна заключается в том, что никакая "система нотации" не зависит полностью от способности или желания членов лингвистической "первообщины" её поддерживать ("продолжать"): мы способны расшифровывать надписи на любых языках, когда-либо функционировавших как языки, и если даже представить, что в результате эпистемологической катастрофы с лица Земли исчезнут все люди, читающие математические труды, любые другие существа, способные понять правило построения бесконечного числового ряда (отчасти игнорируемое Витгенштейном условие возможности описанных им уроков по угадыванию функции, задающей рекурсивную последователь-

ность), смогут открыть все наши необходимые истины и, в результате, расшифровать все наши учебники в своей "системе нотации" Язык не является приватным ни в индивидуальном, ни в коллективном смысле[30]

Модель, предложенная Крипке, очень проста. Она сохраняет идею неограниченного изменения, отказывается от металингвистических гарантий стабильности значения, и — в прямом противоречии с идеями "Философских исследований" — уделяет основное внимание индивидуальным лингвистическим способностям. Вы знаете, что такое *X* (например, сложение), если, во-первых, "знаете как продолжить" и, во-вторых, другие говорят, что вы продолжаете правильно. Если получаемые *N* и *M* ответы совпадают, то они "разделяют общее правило" (скажем, 2 + 2 = 5). Естественно, замена витгенштейновской "способности продолжать" на уверенность индивида в том, что он продолжил, приводит к тому, что единственной гарантией, того, что данное употребление окажется стабильным, будет лишь добрая воля *N* и *M* его придерживаться. Однако как расширить сообщество *N* и *M*, включив в него, скажем, *K* и *L*, с которыми *N* и *M* договаривались сепаратно, с тем, чтобы двое последних, встретившись, давали те же ответы на новые вопросы о сложении, что и двое первых? Ответ Крипке заключается в том, что любые ответы будут хороши, пока члены сообщества будут согласны между собой. Для него "сообщество *M* и *N*" и обеспечивает стабильность "форм жизни" Существование правил арифметики, по Крипке, объясняется согласием их использующих, а не объясняет согласие. Отсюда, нет объективных фактов (условий истинности) относительно того, что знак "+" означает сложение (а не какое-нибудь "заложение"). Это просто часть языковой игры, которая сохраняется до тех пор, пока мы соглашаемся. Но откуда мы знаем, что это каждый раз одно и то же разделяемое правило? Чем, если не чудом, объяснить факт совпадения ответов у индивидов, обучавшихся арифметике у разных учителей (а в этом и заключается коммуникативная функция языка математики)? Ничем не зафиксировав правило (прежде всего, дескрипцией экстенсионала), мы не можем в действительности сказать, есть ли в данном случае согласие (в конце концов, и значение слова "согласен" может измениться вместе с правилом). И как проверяется и

оценивается отклонение от правила? Сама индивидуальная способность продолжать, "попадать в точку", связана с возможностью проверки, которую система нотации выдерживает либо нет. Если некая лингвистическая первообщина решит сымитировать нашу арифметику всего лишь допустив, что 2 + 2= (5 или 4), то в этой арифметике любое число будет доказуемо равно любому другому, свойства коммутативности и ассоциативности арифметических операций нельзя будет определить, а ряд натуральных чисел построить, то есть она не будет функционировать как арифметика (будет чем-то подобным скандинавским рунам)[31] Индивидуальная "способность продолжить", о которой говорит Витгенштейн, явно опирается на отсутствие противоречий с прежними употреблениями и наличие критерия правильности, известного учителю и причинно связанного как с исходными конвенциональными обозначениями, так и с успешно выведенными из них необходимыми истинами[32] Конечно, можно представить себе "лингвистические сообщества", которым не удалось установить удачную систему нотаций и исходную конвенцию, которые позволили бы вывести какие-нибудь интересные истины или нормы, однако эта связь между сообществами и правилами вполне контингентна и исторична. Допустить противоположное как раз и означает принять идею коллективного "приватного языка"

С. Тёрнер, рассуждая несколько иначе, обращает основное внимание на неправдоподобие самой идеи "лингвистического сообщества", обеспечивающего требуемое первичное согласие как гарантию стабильности значений и следования правилам. Он отмечает, что в модели Крипке следование правилу или отклонение от правила определяются исходами взаимодействия индивида с членами "сообщества", причем последнее представляет собой понятие, основанное на расширительном употреблении весьма неточной аналогии: "...как если бы сообщество было гольф-клубом, имеющим членский комитет" [302, p. 75]. Любая попытка более точного определения границ сообщества приведет к необходимости дать экстенсиональную и независимую от "индивидуальных понятий" дескрипцию тех значений и правил, относительно которых существуют и согласие, и, следовательно, само сообщество (тот же результат будет получен и при попытке определения границ несогласия

и не-членства). Расхождения, отклонения, ошибки и несогласия возможны лишь относительно того "общего фона преимущественно истинных убеждений", который только и позволяет гарантировать истинность и значимость высказываний в любом естественном или искусственном языке (подробнее см.: [27]).

В сущности, единственное, что остается от понятия практики при попытке понять, как оно может использоваться неметафорически и объяснительно, это модель приобретения навыка, модель научения. Модели, основанные на более радикальной идее практики как совокупности неявных значений и правил, ничем кроме несоизмеримых "исходных предположений" не обеспеченных, и никак помимо социально достигаемого согласия не проверяемых, не позволяет найти сколько-нибудь правдоподобного решения проблем трансмиссии и тождества практик. (Собственно, это один из главных тезисов "Философских исследований", дополняемый тезисом о малозначимости для общей теории языка интенциональных переживаний и субъективных интерпретаций значения.) Единственно возможный вывод относительно будущего "социальной теории практик" сформулирован С. Тёрнером: "Романтическая картина замурованного интеллекта должна быть оставлена в качестве курьеза будущим историкам культуры. ...Предложенная мною [взамен] картина — это картина, в которой 'практика' является словом, обозначающим не некий сорт загадочного скрытого коллективного объекта, а индивидуальные [процессы] формирования навыка, являющиеся условием тех исполнений и подражаний, из которых состоит жизнь. Никто не замурован этими навыками. Они являются скорее теми переброшенными через ручей камнями, по которым мы можем перебираться от одного фрагмента овладения, мастерства к другому" [302, p. 123].

Примечания

"В остальном относительно медленного продвижения нашего научного знания пусть утешит нас поэт (Рюккерт в "Makamen Hariri"): *До чего нельзя долететь, надо дойти хромая. ...Писание* говорит, что вовсе не грех хромать" [60, с. 425].

Оговорим сразу, что речь не идет о классической трактовке психофизического параллелизма, то есть истинность либо ложность приведенного высказывания не связана напрямую с принятием или отвержением, например, декартовской гипотезы о роли гипофиза во взаимодействии ментального и физического.

Подробнее о соотношении семантических и научных объяснений см.: [23, с. 21–27].

А. Розенберг иллюстрирует неполноценность дефинитивных объяснений следующим простым примером: "[Допустим] мы спрашиваем, почему конкретный стол был изготовлен в форме треугольника, и получаем ответ, что стол был сделан в виде плоской трехсторонней фигуры. Предложенное объяснение неприемлемо, ибо подразумеваемая связь между треугольником и плоской трехсторонней фигурой не может объяснить, почему столу была придана именно треугольная, а не, скажем, прямоугольная или круглая форма" [258, p. 50].

Кажется, первым упоминает воображаемого Джоунза Норман Малколм в своей очень важной для дискуссии об интенциональных объяснениях действия статье, основанной на некоторых идеях Л. Витгенштейна и развивающей идею радикальной несоизмеримости целерационального и детерминистского описаний. Впрочем, в этой же статье автор несколько неожиданно приходит к выводу о возможности полной редукции мотивов действия к его нейрофизиологическим механизмам в случае создания нейрофизиологической теории, предлагающей достаточное каузальное объяснение человеческого поведения [209, p. 52–53].

Идею идентификации действия "под данным описанием" часто приписывают Э. Анском [78]. В той мере, в которой это верно относительно собственно термина, это неверно применительно к сущности. Концепция различных несоизмеримых описаний действия (типа "она моргнула" и "она подмигнула") представлена уже в основном труде ведущего представителя логического бихевиоризма Г Райла [262].

Интересный вопрос о критериях истинности семантических объяснений, то есть о возможности обоснованных интерпретаций требует отдельного рассмотрения (вслед за Д. Дэвидсоном и современными представителями прагматизма, я считаю возможным принять тезис о применимости семантического критерия истины А. Тарски к естественным языкам для обоснования разумных интерпретаций через выводимый из этого критерия "принцип милосердия").

Предложенная формулировка условия фальсификации "закона Джонза" не является столь нелепой, как это может показаться на первый взгляд. В *подразделе Б раздела II данной книги* мы обсуждали похожие по сути конструкции, созданные с целью усовершенствования "экономических законов", моделей рационального выбора и других систематических попыток эмпирического подтверждения "обыденно-психологических" представлений о свойственном людям стремлении к лучшему.

Проблемы проверки причинных гипотез, возникающие в социальных науках в результате невозможности дать независимое от наблюдаемого поведения определение его предполагаемых "внутренних детерминант" (установок, убеждений, предпочтений и т. п.), детально обсуждаются в работе: [24].

[10] Элстер приводит крайний пример такого ограничения "множества возможностей", когда само понятие рационального выбора цели утрачивает всякий смысл: "И богач, и бедняк имеют сходную возможность спать под одним из парижских мостов, но бедняк, возможно, не имеет другой возможности" [132, p. 14–15].

См.: [23, с. 29–33]. Укажем также на попытку улучшения модели Гемпеля за счет введения ряда граничных условий, описывающих максимальные предпочтения, возможности и знания действующего (типа "*X* хотел *P*, не имея никаких более сильных желаний, зная, что *A* — наилучший доступный способ добиться *P* и располагая возможностью осуществить *A*..."), предпринятую П. Черчлендом [111], которая однако не снимает проблемы тавтологичности, создавая новую проблему "бесконечного списка" при идентификации граничных условий.

[12] Эта трактовка послужила основанием для популярной в конце 60-х — начале 70-х годов XX века доктрины "радикальной герменевтики" [23, с. 49–53].

[13] Последний пример позаимствован из: [83, p. 60–62].

[14] Стоит отметить, что общеизвестные законы психофизики — логарифмический и степенной законы, описывающие зависимость субъективно воспринимаемой величины стимула от его физической величины для разных перцептивных модальностей — не являются "психофизическими" в дэвидсоновском смысле, так как описывают зависимость ощущения от физической величины, а не наоборот (то есть являются, скорее уж, "физикопсихическими"). Обратная попытка определить кардинально измеряемую полезность по результатам субъективных оценок предпочтения для величин, не имеющих кардинальной физической шкалы, привела сторонников концепции "экономического человека" к неразрешимым проблемам межличностной и внутриличностной сопоставимости полезностей, о чём говорилось выше.

Именно апелляция к "обыденным теориям", тривиальный и риторический характер которых получает критическую оценку не только в бихевиоризме и психоанализе, но и в обыденных же "теориях второго порядка" и даже в анекдотах, часто помогает уяснить сложные философские аргументы. Один из моих студентов не мог уяснить сущность аргумента "Логической связи" пока я не предложила ему представить себе, что он нечаянно встречает у кинотеатра в обществе незнакомого молодого человека собственную жену, которая объясняет ему, что она просто идет в кино, потому что хочет пойти в кино, а молодой человек тоже хочет посмотреть фильм.

Иногда в качестве синонимов используются также термины "житейская психология", "наивная теория поведения", "наивная психологическая теория" "психология здравого смысла" и др. См., в частности: [2, с. 103–110; 62, с. 60–111].

Здесь позиция Селларса излагается по: [251].

[18] Исследования каузальной атрибуции, таким образом, демонстрируют непосредственную преемственность по отношению к исследованиям "феноменальной причинности" в гештальтпсихологии (К. Левин, К. Дункер).

Ключевыми здесь являются работы необихевиориста Дж. Роттера по социальному научению, породившие самостоятельное исследовательское направление. См., в частности: [261].

[20] Петренко также отмечает, что идеи изоморфизма психологической структуры деятельности и предикативной организации речевых высказываний можно найти в работах В. С. Выготского [49, с. 26]. Здесь мы не упоминаем о многих других эмпирических доказательствах тесной взаимосвязи между обыденными теориями сознания и речевой компетенцией, которые показывают, в частности, что дети становятся опытными "народными психологами" лишь к четырем-пяти годам, то есть в то же время, когда они овладевают сравнительно сложными синтаксическими конструкциями, передающими каузативные отношения, и соответствующими образцами нарратива.

Речь идет о широкой трактовке речевой деятельности и языка, в том числе о символических кодах культуры, организованных системах нормативных ожиданий и ролей, имеющих дискурсивную структуру и т. п.

В предисловии С. Тёрнер характеризует свою книгу как случай "искупления прежнего энтузиазма", поскольку она изначально задумывалась как попытка прояснить идеи его же более ранней книги "Социологическое объяснение как перевод" (1980), до сих пор весьма влиятельной среди сторонников интерпретативного подхода. Это "прояснение" обернулось радикальной критикой и ревизи-

ей сложившейся "традиции концептуализации 'традиции'" в её нынешних формах, включая и "малозначимые формы" вроде "социального конструкционизма" Таким образом, Тёрнер, испытавший в свое время сильное влияние М. Оукшота, А. Макинтайра, М. Поланьи и Х.-Г Гадамера, демонстрирует незаурядную интеллектуальную честность.

[24] В этом отношении характерен эпиграф из Витгенштейна к первой главе книги Тёрнера: "But I did not get my picture of the world by satisfying myself of its correctness; nor do I have it because I am satisfied of its correctness. No: it is the inherited background against which I distinguish between true and false" Я не привожу соответствующий фрагмент из русского перевода М. С. Козловой с немецкого издания "Über Gewissheit", сверенного с не указанным точно английским переводом [11, с. 335], поскольку он явно отличается от используемого Тёрнером английского перевода Д. Пола и Э. Анском и кажется менее согласованным со смыслом предыдущего и последующего фрагментов. Главное отличие в использовании термина "опыт" для background, который в английском переводе употреблен именно в значении "фон" (немецкое издание в процессе работы над главой оказалось для меня недоступным).

Э. Лемерт, один из наиболее известных сторонников так называемой конструкционистской теории девиации (трактующей последнюю как предумышленный результат социального контроля), имел возможность прочувствовать возникающие здесь проблемы в своей недавней книге "Проблема со злом: социальный контроль на острие морали" Попытка произвести широкое кросс-культурное сопоставление контекстуальных и вариативных "определений" зла, вынудила автора принять самому и приписать исследуемым весьма эссенциалистское, универсалистское и объективистское представление о зле как "намеренном причинении вреда" (последнее выглядит несколько наивным даже с точки зрения традиционной этики) [201].

Александер воссоздает весьма убедительную картину воистину фрейдистской борьбы Бурдье с теми доктринами, которые оказали наибольшее влияние на формирование его собственных взглядов — с культурным неомарксизмом, структурализмом Леви-Строса и бихевиористской версией теории рационального выбора [73] (особенно интересна приводимая в "Приложении" к этой публикации хронологическая реконструкция основных этапов развития взглядов Бурдье, позволяющая увидеть кропотливую работу наиболее рефлексивного из социоаналитиков по созданию желаемой версии "интеллектуальной генеалогии").

Следующая выдержка из Бурдье позволяет оценить масштаб усилий, которые ему приходится прилагать для сохранения видимости "синтеза" двух противоположных концепций действия, струк-

туралистской и утилитаристской: "Редукции сознательного расчета я противопоставляю отношение онтологического соучастия между габитусом и полем. Между агентами и социальным миром существует отношение инфрасознательного, инфралингвистического соучастия: в своей практике агенты постоянно вовлекаются в тезисы, которые не формулируются как таковые. Действительно ли человеческое поведение всегда имеет цель как таковую, то есть результат, являющийся целью в смысле вывода или составной части этого поведения? Я думаю, нет. Тогда что представляет собой это очень странное отношение к социальному или природному миру, в котором агенты стремятся к определенной цели без того, чтобы её сформулировать как таковую? Социальные агенты, обладающие вкусом к игре, воплотившие в себе множество практических схем восприятия и оценки, которые функционируют как инструменты конструирования реальности и как принципы видения и членения универсума, в котором они действуют, не нуждаются в том, чтобы постулировать устремления своей практики в качестве целей. Они не похожи на субъектов, сталкивающихся с объектом (или даже просто с задачей), который будет конституирован как таковой в интеллектуальном акте познания; они, как говорится, поглощены своими делами (можно было бы также сказать 'своими действиями'): они присутствуют в грядущем моменте, в деянии, в поступке (греческое pragma) — непосредственном корреляте практики (praxis), который не постулируется в качестве объекта мышления, в качестве возможности, достижение которой подразумевается неким проектом, а вписан в настоящее данной игры" (Bourdieu P. Is a Disinterested Act Possible? [103, p. 79–80]). Результатом столь изощренных рассуждений оказывается даже не бихевиористская теория "целеориентированного действия без действующего (актора)", по-своему остроумная, а теория "действия без действия и действующего"

Даже очень доброжелательный критик вынужден отметить, что "для Гидденса структурированные практики являются первичными единицами анализа, однако существует опасность простого постулирования того, что структурированные практики существуют при забвении того, как они собственно воспроизводятся, и игнорировании возможности того, что они могут быть изменены" [113, p. 95].

Шпрангер, в свою очередь, развивал идею "жизненных форм" под влиянием дильтеевской концепции исторической смены социокультурных "типов мировоззрения"

Видимо, эти идеи Витгенштейна будут играть значительную роль в общей теории языка. Что же касается современной математической теории множеств и логической семантики, для них идея понятий с неограниченным экстенсионалом, ведущая к логическим па-

радоксам, видимо, не является столь значимой. Правда, и в теории значения, предложенной Патнэмом, утверждается финитное тождество интенсионалов, имеющих общий экстенсионал (хотя и не вводятся ограничения на индивидуальную способность носителя языка знать правильное описание экстенсионала, что ведет к "лингвистическому разделению труда")[48].

Собственно, так и функционирует "арифметика Крипке": она основана на систематическом смешивании арифметической операции сложения и функции, заданной через операцию сложения, а также на некорректном определении функции.

Поскольку целью данной главы всё же не является полное и адекватное прочтение рассуждений самого Витгенштейна, ограничимся всего лишь несколькими цитатами, иллюстрирующими совпадение приводимых здесь аргументов с точкой зрения автора "Философских исследований" (курсив везде мой, кроме выделенного дополнительно полужирным авторского курсива — *И. Д.*): "179. Вернемся к нашему случаю (151). Ясно, что мы не могли бы сказать, что *В был вправе* произнести слова 'Теперь я знаю, как продолжить', поскольку ему в голову пришла формула ряда чисел, — если бы не была установлена *эмпирическая связь между возникновением в его сознании формулы* (ее проговариванием, записью) *и действительным продолжением ряда*... 180. ***Вот как употребляются эти слова.*** В последнем случае, например, назвать слова *В* 'описанием душевного состояния' было бы совершенно ошибочно. — Скорее уж, их можно было бы назвать 'сигналом', а *правильно ли он употреблен*, мы судили бы по тому, что *В делает дальше*... 197. Представляется, будто мы можем разом схватить все употребление слова. — Да мы и говорим, что делаем это. То есть иногда описываем то, что делаем, именно этими словами. Однако в том, что происходит, нет ничего поразительного, ничего странного. Странным это становится в том случае, когда склоняет нас к мысли, что будущее развертывание уже каким-то образом должно присутствовать, а между тем не присутствует в акте понимания... Несомненно, что *я* сейчас *хочу* сыграть в шахматы; но игра становится шахматной игрой благодаря всем *ее* правилам... 199. Невозможно, чтобы правилу следовал только один человек, *и всего лишь однажды.* Не может быть, чтобы *лишь однажды* делалось сообщение, давалось и понималось задание и т. д. Следовать правилу, делать сообщение, давать задание, играть партию в шахматы — все это ***практики*** *(применения, институты)*. Понимать предложение — значит понимать *язык*. Понимать язык — значит владеть некой *техникой*... 201. ...Мы здесь сталкиваемся с определенным непониманием, и это видно уже из того, что по ходу рассуждения выдвигались одна за другой разные интерпретации, словно любая из них удовлетворяла нас лишь

на то время, пока в голову не приходила другая, сменявшая прежнюю. А это свидетельствует о том, что существует такое понимание правила, которое является *не* ***интерпретацией***, а обнаруживается в том, что мы называем 'следованием правилу' и 'действием вопреки правилу' в реальных случаях *его применения*. Вот почему мы склонны говорить: каждое действие по правилу — интерпретация. Но 'интерпретацией' следовало бы называть лишь замену одного *выражения* правила другим. 202. Стало быть, '*следование* правилу' — некая практика. ***Полагать*** же [пусть и коллективно — *И.Д.*], что следуешь правилу, не значит следовать правилу. Выходит, правилу нельзя следовать лишь 'приватно'; иначе думать, что следуешь правилу, и следовать правилу было бы одним и тем же" [10].

ЛИТЕРАТУРА

1. *Автономов В. С.* Человек в зеркале экономической теории. М.: Наука, 1993.
2. *Андреева Г. М., Богомолова Н. Н., Петровская Л. А.* Современная социальная психология на Западе. М.: Издательство МГУ, 1978.
3. *Апресян Ю. Д.* Идеи и методы современной структурной лингвистики. М.. Просвещение, 1966.
4. *Аристотель.* Никомахова этика. Собр. Соч. В 4-х тт. Т.4. М.: Мысль, 1976-1984.
5. *Аристотель.* О душе. Собр. Соч. В 4-х тт. Т 1. М.: Мысль, 1976–1984.
6. *Беккер Г.* Экономический анализ и человеческое поведение // THESIS. 1993. Т. 1. Вып. 1. С. 24–40.
7. *Бергер П., Лукман Т.* Социальное конструирование реальности / Пер. с англ. Е. Руткевич. М.: Медиум, 1995.
8. *Богомолов А. С.* Буржуазная философия США XX века. М.: Мысль. 1974.
9. *Вебер М.* Избранные произведения / Пер. с нем. Составление, общая редакция и послесловие Ю. Н. Давыдова. Предисловие П. П. Гайденко. М.: Прогресс, 1990.
10. *Витгенштейн Л.* О достоверности // Там же. С. 321–405.
11. *Витгенштейн Л.* Философские исследования // *Витгенштейн Л.* Философские работы. Ч. 1. / Пер. с нем. М. С. Козловой. М.: Гнозис, 1994. С. 76–319.
12. *Выготский Л. С.* Мышление и речь // Собр. Соч. В 6-ти тт. / Под ред. В. В. Давыдова. 1981–1983. Т 2. М.: Педагогика, 1982. С. 5–361
13. *Гидденс Э.* Девять тезисов о будущем социологии // THESIS. 1993. Т. 1. Вып. 4. С. 57–82.
14. *Гидденс Э.* Элементы теории структурации // Современная социальная теория: Бурдье, Гидденс, Хабермас. Новосибирск: Издательство Новосибирского университета, 1995.
15. *Гофман А. Б.* Семь лекций по истории социологии. М.: Книжный дом "Университет", 1997.
16. *Гофман А. Б.* Социология Эмиля Дюркгейма // Э.Дюркгейм. Со-

циология. Ее предмет, метод, предназначение / Пер. с фр. М.. Канон, 1995. С. 325–336.

17. *Гофман И.* Представление себя другим в повседневной жизни / Пер. с англ. А. Д. Ковалёва. М.: Канон-Пресс-Ц, 2000.

18. *Гофман И.* Стигма: заметки об управлении испорченной идентичностью. Часть 5. Отклонения и девиация / Пер. с англ. А. Мактас // Социологический форум. 2000. № 3–4. URL = http://www.sociology.ru/forum/00-3-4gofman.html

19. *Гофман И.* Стигма: Заметки об управлении испорченной идентичностью. Ч. 1. Стигма и социальная идентичность. Ч. 2. Контроль над информацией и социальная идентичность (гл. 3–6) / Пер. с англ. М. С. Добряковой // Социологический форум. 2001. № 1–4. URL = http://www.sociology.ru/forum/01-1-4gofman.html.

20. *Грэхем Л. Р* Естествознание, философия и науки о человеческом поведении в Советском Союзе / Пер. с англ. М.: Политиздат, 1991.

21. *Давыдов Ю. Н.* Введение. Исторический горизонт теоретической социологии // История теоретической социологии / Отв. ред. и составитель Ю. Н. Давыдов. В 4-х тт. М.. Канон+, 1997.

22. *Давыдов Ю. Н.* Макс Вебер и современная теоретическая социология: Актуальные проблемы веберовского социологического учения. М.: Мартис, 1998.

23. *Девятко И.* Модели объяснения и логика социологического исследования. М.: ИСО РЦГО-TEMPUS/TACIS, 1996.

24. *Девятко И. Ф.* Диагностическая процедура в социологии: очерк истории и теории. М.: Наука, 1993.

25. *Девятко И. Ф.* Критика старых и поиск новых моделей объяснения в посткризисной социологической теории // История теоретической социологии / Отв. ред. Ю. Н. Давыдов. В 4-х тт. Т 4. СПб.: Издательство РХГИ, 2000.

26. *Девятко И. Ф.* Методы социологического исследования. Екатеринбург: Изд-во Екатеринбургского университета, 1998.

27. *Девятко И. Ф.* Пределы понимания: Лингвистическая Метафора и проблемы этнографической интерпретации культуры // Аспекты социальной теории и современного общества / Под ред. А. Согомонова и С. Кухтерина. М.: Институт социологии РАН, 1999. С. 9–25.

28. *Девятко И. Ф.* Р. Мертон о социологическом методе и типах теоретизирования в социологии // История теоретической социологии. В 4-х тт. Т. 3. М.. Канон, 1998, С. 261–269.

29. *Дюркгейм Э.* Социология. Её предмет, метод, предназначение / Пер. с франц., составление, послесловие и примечания А. Б. Гоф-

мана. М: Канон, 1995.

30. *Зиммель Г.* Философия денег (Фрагмент) // Теория общества: фундаментальные проблемы / Под ред. А. Ф. Филиппова. М.: Канон-Пресс-Ц – Кучково Поле, 1999. С. 309–383.

31. *Ионин Л. Г.* Георг Зиммель — социолог (Критический анализ). М.: Наука, 1981.

32. *Ионин Л. Г.* Понимающая социология: Историко-критический анализ. М.: Наука, 1979.

33. *Ионин Л. Г.* Символический интеракционизм и феноменологическая социология: между кризисным и стабилизационным сознанием // Очерки по истории теоретической социологии XX столетия (от Вебера к Хабермасу, от Зиммеля к постмодернизму). Ю. Н. Давыдов и др. М.: Наука, 1994. С. 206–228.

34. История теоретической социологии / Отв. ред. и составитель Ю. Н. Давыдов. В 4-х тт. М.: Канон+ — СПб: Изд-во РХГИ, 1997–2000.

35. *Ковалёв А. Д.* Книга Ирвинга Гофмана "Представление себя другим в повседневной жизни" и социологическая традиция // Гофман И. Представление себя другим в повседневной жизни / Пер. с англ. А. Д. Ковалёва. М.:Канон-Пресс-Ц, 2000. С. 1–26.

36. *Ковалёв А. Д.* Становление теории действия Т. Парсонса // Очерки по истории теоретической социологии XX столетия (от Вебера к Хабермасу, от Зиммеля к постмодернизму). Ю. Н. Давыдов и др. М.: Наука, 1994. С. 168–197.

37. *Ковалёв А. Д.* Э. Гидденс: современный тип социологического теоретизирования // История теоретической социологии / Отв. ред. Ю. Н. Давыдов. В 4-х тт. Т. 4. СПб.: Издательство РХГИ, 2000. С. 625–658.

38. *Коллинз Р.* Социология: наука или антинаука // Теория общества: фундаментальные проблемы / Под ред. А. Ф. Филиппова. М.: Канон-Пресс-Ц – Кучково Поле, 1999. С. 37–72.

39. *Левада Ю. А.* Социальные рамки экономического действия // Ю. Левада. Статьи по социологии. М.: без изд., 1993.

40. *Льюс Р. Д., Райфа Х.* Игры и решения. М.: ИЛ, 1961.

41. *Макаренко Ю. А.* Нейрофизиологические предпосылки к обоснованию представления о самостоятельности "механизма награды" // Проблемы принятия решений. М.. Наука, 1976. С. 187–201.

41а. *Маршалл А.* Принципы экономической науки. В 3-х тт. М.: Прогресс, 1993.

42. *Мид Дж.* Аз и Я // Американская социологическая мысль. Тексты. М.: Международный университет бизнеса и управления, 1996. С. 225–234.

43. *Мид Дж.* Интернализованные другие и самость // Американская социологическая мысль. Тексты. М.: Международный университет бизнеса и управления, 1996. С. 222–24.

44. *Мизес Л. фон.* О некоторых распространенных заблуждениях по поводу предмета и метода экономической науки / Пер. с англ. // THESIS. 1994. Т. 2. Вып. 4. С. 205–212.

45. *Мосс М.* Общества. Обмен. Личность: Труды по социальной антропологии / Пер. с франц. и сост. А. Б. Гофмана. М.: Издательская фирма "Восточная литература" РАН, 1996.

46. *Нейман Дж., Моргенштерн О.* Теория игр и экономическое поведение. М.: Наука, 1970.

47 *Оукс Г* Прямой разговор об эксцентричной теории // Теория общества: фундаментальные проблемы / Под ред. А. Ф. Филиппова. М.: Канон-Пресс-Ц – Кучково Поле, 1999. С. 292–306.

48. *Патнэм Х.* Значение "значения" // Х. Патнэм. Философия сознания. Пер. с англ. Л. Б. Макеевой, О. А. Назаровой, А. Л. Никифорова. М.: ДИК, 1999. С. 164–234.

49. *Петренко В. Ф.* Введение в экспериментальную психосемантику: исследование форм репрезентации в обыденном сознании. М.: Издательство МГУ, 1983.

50. *Платон.* Федон // Собр. Соч. В 4-х тт. Т 2. М.: Мысль, 1993.

51 *Радаев В. В.* Подходы к человеку в социальной теории // Российский экономический журнал. 1994. № 8: С. 71–78.

52. *Ролз Дж.* Теория справедливости. Новосибирск: Издательство Новосибирского университета, 1995.

53. *Рорти Р* Метод, общественные науки и общественные надежды. Тексты // *Девятко И.* Модели объяснения и логика социологического исследования. М.: ИСО РЦГО-TEMPUS/TACIS, 1996. С. 158–172.

54. *Салинз М.* Экономика каменного века / Пер. с англ. О. Ю. Артемовой, Ю. А. Огороднова, Л. М. Огородновой. М.: О.Г.И., 1999.

55. *Тёрнер Дж.* Аналитическое теоретизирование // Теория общества: фундаментальные проблемы / Под ред. А. Ф. Филиппова. М.: Канон-Пресс-Ц – Кучково Поле, 1999. С. 103–156.

56. *Тёрнер Дж.* Структура социологической теории / Пер. с англ. Общая редакция и вступ. ст. Г В. Осипова. М.: Прогресс, 1985.

57 *Филиппов А. Ф.* Релятивистская социология Георга Зиммеля // История теоретической социологии. В 4-х тт. Т 2 / Отв. ред. и составитель Ю. Н. Давыдов. М.: Канон+ – СПб: Издательство РХГИ, 1998. С. 282–318.

58. *Филиппов А. Ф.* Теоретическая социология // Теория общества. М.: "Канон-Пресс-Ц", "Кучково поле", 1999. С. 7–34.

59. *Фреге Г.* Избранные работы (Мысль: Логическое исследование; Логика в математике) / Пер. с нем. Сост. В. В. Анашвили и А. Л. Никифорова. М.: Дом интеллектуальной книги. С. 50–75, 95–153.

60. *Фрейд З.* По ту сторону принципа удовольствия // *Фрейд З.* Психология бессознательного: Сб. произведений / Сост., научн. ред., авт. вступ. ст. М. Г. Ярошевский. М.: Просвещение, 1989.

61. *Хвостова К. В., Финн В. К.* Проблема исторического познания в свете современных междисциплинарных исследований. М.: РГГУ, 1997. (Гл. 4. Логика исторических рассуждений).

62. *Хекхаузен Х.* Мотивация и деятельность. Т.2 / Пер. с нем. под ред. Б. М. Величковского. М.: Педагогика, 1986.

63. *Штейнзальц А., Функенштейн А.* Социология невежества. М.: Институт изучения иудаизма в СНГ 1997.

64. *Шюц А.* Формирование понятия и теории в общественных науках // Американская социологическая мысль. Тексты. М.: Международный университет бизнеса и управления, 1996. С. 526–541.

65. *Юм Д.* Трактат о человеческой природе. Книга третья. О морали / Пер. с англ. М.: Канон, 1995. Ч. II ("О справедливости и несправедливости").

66. *Abell P (ed.).* Rational Choice Theory. (Schools of Thought in Sociology Series 8). Aldershot, Vermont: Edward Elgar, 1991.

67 *Abell P.* Sociological Theory and Rational Choice Theory // The Blackwell Companion to Social Theory / Ed. by B. S. Turner. Malden (Mass.). Oxford: Blackwell Publisher, 1996, 2000. P. 223–244.

68. *Agassi J., Laor N.* How Ignoring Repeatability Leads to Magic // Philosophy of Social Sciences. 2000. Vol. 30. № 4. P. 528–586.

69. *Albrow M., King E. (eds.).* Globalization, Knowledge and Society: Readings from "International Sociology" L. et al.: SAGE Publications, 1990.

70. *Alexander J. C.* Theoretical Logic in Sociology. Vol. 1. Positivism, Presuppositions, and Current Controversies. Berkeley: University of California Press, 1982. (*Alexander J.* Theoretical Logic in Sociology. 4 vols. Berkeley: University of California Press, 1982–1983).

71. *Alexander J. C.* Theoretical Logic in Sociology. Vol. 4. The Modern Reconstruction of Classical Thought: Talcott Parsons. Berkeley: University of California Press, 1983. L.: Routledge, 1982. (*Alexander J.* Theoretical Logic in Sociology. 4 vols. Berkeley: University of California Press, 1982–1983).

72. *Alexander J. C.* Action and Its Environments: Toward a New Synthesis. N.Y.: Columbia University Press, 1988.

73. *Alexander J. C.* The Reality of Reduction: The Failed Synthesis of Pierre Bourdieu // Fin de Siècle Social Theory: Relativism, Reduction, and the Problem of Reason. By J. Alexander. L.-N.Y.: Verso, 1995.

74. *Alexander J. C.* Modern, Anti, Post and Neo: How Intellectuals Have Coded, Narrated, and Explained the "New World of Our Time" // Fin de Siècle Social Theory: Relativism, Reduction, and the Problem of Reason / Ed. by J. Alexander. L.;N.Y.: Verso, 1995.

75. *Alexander J.* General Theory in the Postpositivist Mode: The "Epistemological Dilemma' and the Search for Present Reason // Fin de Siècle Social Theory: Relativism, Reduction, and the Problem of Reason / Ed. by J. Alexander. L.;N.Y.: Verso, 1995. P. 90–127.

76. *Alexander J., Giesen B., Smelser N. (eds.).* The Macro-Micro Link. Berkeley: University of California Press, 1987.

77 *Alexander J., Colomy P* Traditions and Competitions: Preface to a Postpositivist Approach to Knowledge Cumulation // *Ritzer G. (ed.).* Metatheorizing. (Key Issues in Sociological Theory, Vol. 6.) L. etc.: Sage, 1992.

78. *Anscombe G. E. M.* Intention. Oxford: Basil Blackwell, 1957.

79. *Archer M. S.* Morphogenesis versus Structuration: On Combining Structure and Action // British Journal of Sociology. 1982. Vol. 33. P 455–483.

80. *Archer M.S.* Culture and Agency. Cambridge: Cambridge University Press, 1988.

81 *Arrow K. J.* Social Choice and Individual Values. N.Y Wiley, 1951.

82. *Arrow K. J.* Current Developments in the Theory of Social Choice // B. Barry, R. Hardin (eds.). Rational Man and Irrational Society? An Introduction and Sourcebook. Beverly Hills et al.: Sage Publications, 1982.

83. *Audi R.* Mental Causation: Sustaining and Dynamic // Mental Causation / Ed. by J. Heil, A. Mele. Oxford: Clarendon Press. 1993.

84. *Axelrod R.* The Evolution of Cooperation. New York: Basic Books, 1981.

85. *Barry B., Hardin R.* Epilogue // B.Barry, R.Hardin (eds.). Rational Man and Irrational Society? An Introduction and Sourcebook. Beverly Hills et al.: Sage Publications, 1982.

86. *Barry B., Hardin R. (eds.).* Rational Man and Irrational Society? An Introduction and Sourcebook. Beverly Hills et al.: Sage Publications, 1982.

87 *Baumol W J.* Welfare Economics and the Theory of the State. Cambridge (Mass.): Harvard University Press, 1965 (1952).

88. *Becker G. S.* The Economic Approach to Human Behavior. Chicago: University of Chicago Press, 1976.

89. *Becker G. S.* A Treatise on the Family. Cambridge (Mass.): Harvard University Press, 1981.

90. *Bem D. J.* Self-Perception Theory // *L. Berkowitz (ed.)*. Advances in Experimental Social Psychology. Vol. 6. N. Y Academic Press, 1972. P. 1–62.

91. *Berger J., Zelditch M. (jr)* Orienting Strategies and Theory Growth // Theoretical Research Programs: Studies in the Growth of Theory / Ed. by J. Berger, M. Zelditch (jr.). Stanford (Cal.): Stanford University Press, 1993. P 3–19.

92. *Bertilsson M* The Theory of Structuration: Prospects and Problems // A. Giddens: Critical Assessments / Ed. by C. Bryant, D. Jary. Vol. 1. L.;N.Y Routledge, 1988.

93. *Bierstedt R.* American Sociological Theory: A Critical History. N.Y Academic Press, 1981.

94. *Binmore K., Dasgupta P* Game Theory: A Survey. An Introduction // The Economics of Bargaining / Ed. by K. Binmore, P Dasgupta. Oxford: Basil Blackwell, 1990. P 1–45.

95. *Black M. (ed.)* Social Theories of Talcott Parsons. Cornell University Press, 1958.

96. *Blau P.* Exchange and Power in Social Life. N.Y Wiley, 1964.

97. *Blumer H.* Society as Symbolic Interaction // Human Behavior and Social Processes: An Interactionist Approach / Ed. by A. M. Rose. Houghton-Mifflin Co., 1962. (Reprinted in: Readings in Social Theory: The Classic Tradition to Postmodernism / Ed. with introd. by J. Farganis. 2nd ed. Boston (Mass.): McGraw-hill, 1996.)

98. *Blumer H.* Symbolic Interactionism. Englewood Cliffs (N.J.): Prentice-Hall, 1969.

99. *Bohman J.* New Philosophy of Social Science: Problems of Indeterminacy. Cambridge (Mass.): MIT Press, 1991.

100. *Bottomore T., Nisbett R. (eds.)*. A History of Sociological Analysis. L.: Heinemann, 1979.

101. *Botwinich A.* Participation and Tacit Knowledge in Plato, Machiavelli and Hobbes. Lanham: University Press of America, 1986.

102. *Bourdieu P* Outline of a Theory of Practice / Transl. by R. Nice. Cambridge: Cambridge University Press, 1977.

103. *Bourdieu P* Practical Reason: On the Theory of Action. Cambridge—Oxford: Polity, 1998.

104. *Brubaker R.* The Limits of Rationality: An Essay on the Social and Moral Thought of Max Weber. (Controversies in Sociology: 16.) L. etc.: Allen and Unwin, 1984.

105. *Brunkhorst H.* Action and Agency // The Blackwell Dictionary of

Twentieth-century Social Thought / Ed. by E. Gellner, R. Nisbet, A. Touraine. Oxford, Malden (Mass.): Blackwell, 1993. 1994. P 1–3.

106. *Buchanan J.* From Private Preferences to Public Philosophy // The Economics of Politics. L.: IEA, 1978. P. 1–20.

107 *Buchanan J. M.* Liberty, Market and the State. Brighton: Wheatsheaf, 1986.

108. *Camic C.* "Structure" after 50 Years: The Anatomy of a Charter // American Journal of Sociology. 1989. Vol. 95. № 1. P. 38–107.

109. *Camic C.* Introduction: Talcott Parsons Before "The Structure of Social Action"// T. Parsons. The Early Essays / Ed. and with an Introduction by Ch. Camic. Chicago; L.: The University of Chicago Press, 1991. P ix–lxix.

110. *Chriss J.* Role Distance and the Negational Self // *G. Smith (ed.).* Goffman and Social Organization: Studies in Sociological Legacy. (Routledge Studies in Social and Political Thought.) L.: Routledge, 1999. P. 64–80.

111. *Churchland P* The Logical Character of Action Explanations // Philosophical Review. 1970. Vol. 79. № 2. P 214–236.

112. *Cohen I. J.* Anthony Giddens // Key Sociological Thinkers / Ed. by R. Stones. Basingstoke: Macmillan, 1998. P 279–290.

113. *Cohen I.* Theories of Action and Praxis // The Blackwell Companion to Social Theory / Ed. by B. Turner. Oxford: Blackwell, 2000 (1996). P 73–111.

114. *Coleman J. S.* The Mathematics of Collective Action. Chicago: Aldine, 1973.

115. *Coleman J. S.* Power and the Structure of Society. N.Y Norton, 1974.

116. *Coleman J. S.* Social Theory, Social Research, and a Theory of Action // American Journal of Sociology.1986. Vol. 91. № 6. P. 1309–1335.

117. *Coleman J. S.* Foundations of Social Theory. Cambridge (Mass.); L.: Belknap Press of Harvard University Press, 1990.

118. *Collins R.* Conflict Sociology: Toward an Explanatory Science. N.Y.: Academic Press, 1975.

119. *Collins R.* The Micro Contribution to Macro Sociology // Sociological Theory. 1988. № 6. P 242–253.

120. *Coser L. A.* Masters of Sociological Thought. N.Y Harcourt Brace Jovanovich, 1977.

121. *Craib J.* Back to Utopia: Anthony Giddens and Modern Social Theory // A.Giddens: Critical Assessments / Ed. by C. Bryant and D. Jary. Vol. 1. L.;N.Y.: Routledge, 1988.

122. *Cudd A. E.* Contractarianism // Stanford Encyclopedia of Philosophy.

(Summer 2002 Edition) E.N.Zalta (ed.). URL=http://plato.stanford.edu/archives/sum2002/entries/contractarianism/.

123. *Cuff E. C.*, Sharrock W W., Francis D. W Perspectives in Sociology. L.; N.Y Routledge, 1998.

124. *Dahl G.* Will "The Other God" Fail Again? On the Possible Return of the Conservative Revolution // Theory, Culture & Society. 1996. Vol. 13. № 1. P 25–50.

125. *Davidson D.* Essays on Actions and Events. Oxford: Clarendon Press, 1980.

126. *Davidson D.* Thinking Causes // Mental Causation / Ed. by J. Heil, A. Mele. Oxford: Clarendon Press. 1993.

127. *Davis L.* Theory of Action. Englewood Cliffs (N.J.): Prentice-Hall, 1979.

128. *Eisenstadt S. N., Curelaru M.* The Form of Sociology: Paradigms and Crises. N.Y Wiley, 1976.

129. *Eisenstadt S. N., Helle H. G. (eds.).* Macro-Sociological Theory: Perspectives on Sociological Theory. Vol. 1. L.: Sage, 1985.

130. *Ekeh P. P* Social Exchange Theory: the Two Traditions. Cambridge (Mass.): Harvard University Press, 1974.

131. *Elster J.* The Cement of Society: A Study of Social Order. Cambridge: Cambridge University Press, 1989.

132. *Elster J* Nuts and Bolts for the Social Sciences. Cambridge: Cambridge University Press, 1989.

133. *Elster J. (ed.).* Rational Choice. Oxford: Blackwell, 1986.

134. *Elster J., Hylland A.* Introduction // *Elster J., Hylland A. (eds.).* Foundations of Social Choice Theory. Cambridge-Oslo et al: Cambridge University Press and Universitatsforlaget, 1986.

135. *Emerson R. M.* Power-Dependence Relations // American Journal of Sociology. 1962. Vol. 27. № 1. P 31–41.

136. *Emerson R. M.* Exchange Theory, Parts I and II: A Psychological Basis for Social Exchange; Exchange Relations and Networks // *J. Berger, M. Zelditch (jr), B. Anderson (eds.).* Sociological Theories in Progress. Vol. 2. Boston: Houghton Mifflin. 1972. P 38–57; 58–87.

137 *Emerson R. M.* Social Exchange Theory // *M. Rosenberg, R. Turner (eds.).* Social Psychology: Sociological Perspectives. N.Y Basic Books, 1981.

138. *Emirbayer M., Goodwin J.* Network Analysis, Culture, and the Problem of Agency // American Journal of Sociology. 1994. Vol. 99. № 5. P 1411–1453.

139. *Emirbayer M.* Manifesto for a Relational Sociology // American Journal of Sociology. 1997. Vol. 103. № 2. P. 281–317.

140. *Emirbayer M., Mische A.* What is Agency? // American Journal of Sociology. 1998. Vol. 103. № 4. P 962–1023.

141 *Fararo T J* The Meaning of General Sociological Theory Cambridge: Cambridge University Press, 1989.

142. *Farganis J.* (ed.). Readings in Social Theory: The Classic Tradition to Postmodernism. Boston (Mass.): McGraw-Hill, 1996.

143. *Fay B., J. D. Moon.* What Would an Adequate Philosophy of Social Science Look Like? // Philosophy of Social Science. 1977 № 7 P. 209–227

144. *Fillmore Ch. J.* The Case for Case // *E. Bach, R. Harms (eds.).* Universals in Linguistic Theory. N.Y Holt, Rinehart and Winston, 1968.

145. *Fiske D. W Shweder R. A. (eds.)* Metatheory in Social Science: Pluralisms and Subjectivities. Chicago: University of Chicago Press, 1986.

146. *Friedman D.* Notes on "Toward a Theory of Value in Social Exchange" // Social Exchange Theory / Ed. by K. S. Cook. Newbury Park et al.: SAGE Publications, 1987. P 47–58.

147 *Friedman D., Hechter M.* The Contribution of Rational Choice Theory to Macrosociological Research // Sociological Theory. 1988. Vol. 6. P 201–218.

148. *Friedrichs R.* A Sociology of Sociology. N.Y Free Press, 1970.

149. *Frisby D.* Sociological Impressionism: A Reassesment of Georg Simmel's Social Theory. L.: Heinemann, 1981.

150. *Garfinkel H.* Studies in Ethnomethodology. Englewood Cliffs (Cal.): Prentice-Hall, 1967

151 *Gauthier D.* Morals by Agreement. Oxford: Clarendon Press, 1986.

152. *Gibbard A.* Manipulation of Voting Schemes: A General Result // *B. Barry, R. Hardin (eds.).* Rational Man and Irrational Society? An Introduction and Sourcebook. Beverly Hills et al.: Sage Publications, 1982.

153. *Giddens A.* Central Problems in Social Theory: Action, Structure and Contradiction in Social Analysis. L.; Berkeley: Macmillan — University of California Press, 1979.

154. *Giddens A.* The Constitution of Society: Outline of the Theory of Structuration. Berkeley· University of California Press, 1984.

155. *Giddens A.* Modernity and Self-Identity. Cambridge: Polity Press, 1991.

156. *Giddens A.* Social Theory and Modern Sociology. Cambridge: Polity Press, 1997.

157 *Goffman E.* The Presentation of Self in Everyday Life. N.Y Anchor, 1959.

158. *Goffman E.* Asylums: Essay on the Social Situation of Mental Patients and Other Inmates. N.Y Doubleday, 1961

159. *Goffman E.* Encounters. N.Y Bobbs-Merrill, 1961.

160. *Goffman E.* Stigma: Notes on the Management of Spoiled Identity. N.Y Penguin Books, 1963.

161. *Goffman E.* Frame Analysis: An Essay on the Organization of Experience. N.Y Harper Colophon, 1974.

162. *Goldman A. I.* Social Epistemology // Stanford Encyclopedia of Philosophy. (Summer 2002 edition). E.N.Zalta (ed.). URL=http://plato.stanford.edu/archives/sum2002/entries/epistemology-social/.

163. *Goodin R.* Trusting Individuals versus Trusting Institutions // Rationality and Society. 2000. Vol. 12. № 4. P 381–395.

164. *Gouldner A.* The Coming Crisis of Western Sociology. N.Y Basic Books, 1970.

165. *Granovetter M.* Economic Action and Social Structure: the Problem of Embeddedness // American Journal of Sociology. 1985. Vol. 91 P. 481–510.

166. *Grathoff R. (ed.)* Philosophers in Exile. The Correspondence of Alfred Schutz and Aron Gurwitsch, 1939–1959. Bloomington: Indiana University Press, 1989.

167 *Habermas J.* Knowledge and Human Interests. Boston: Beacon Press, 1971 (1968).

168. *Habermas J.* Theory and Practice. L.: Heinemann, 1974 (1971).

169. *Habermas J.* Theorie des kommunikativen Handelns. Bds. 1–2. Fr. a/M.: Suhrkamp, 1981.

170. *Hajek A.* Pascal's Wager // Stanford Encyclopedia of Philosophy. Stanford Encyclopedia of Philosophy (Summer 2002 edition). E.N.Zalta (ed.). URL=http://plato.stanford.edu/archives/sum2002/entries/pascal-wager/.

171. *Hardin R.* Collective Action as an Agreeable *n*-Prisoners Dilemma // Behavioral Science. 1971. Vol. 16. P. 472–481.

172. *Heath A.* Economic Theory and Sociology: a Critique // Sociology. 1968. Vol. 2. P 273–292.

173. *Hechter M.* Principles of Group Solidarity. Berkeley: University of California Press, 1987.

174. *Heckathorn D. D.* Collective Sanctions and the Creation of Prisoner's Dilemma Norms // American Journal of Sociology. 1988. Vol. 94. P 535–562.

175. *Heider F Simmel M.* An Experimental Study of Apparent Behavior // American Journal of Psychology 1944. Vol. 57. P 243–259.

176. *Hennis W* Max Weber: Essays in Reconstruction / Transl. by K. Tribe. L.: Allen & Unwin, 1988.

177 *Heritage J.* Garfinkel and Ethnomethodology. Cambridge: Polity Press, 1984.

178. *Hindess B.* Choice, Rationality, and Social Theory. L.: Unwin Hyman, 1988.

179 *Hollis M.* The Ruse of Reason. Cambridge: Cambridge University Press, 1987.

180. *Holmwood J Stewart A.* Explanation and Social Theory. Basingstoke: Macmillan. 1991.

181 *Homans G. C., Ch. P Curtis.* An Introduction to Pareto: His Sociology. N.Y Alfred A. Knopf, 1934.

182. *Homans G. C.* Social Behavior as Exchange // American Journal of Sociology. 1958. Vol. 63. P. 597–606. (Сокр. русс. пер.: *Хоманс Дж.* Социальное поведение как обмен // Современная зарубежная социальная психология: Тексты / Под ред. Г М. Андреевой, Н. Н. Богомоловой, Л. П. Петровской. М.: Издательство МГУ, 1984. С. 82–91.)

183. *Homans G. C.* Social Behavior: Its Elementary Forms. N.Y Harcourt, Brace and World, 1974 (1961).

184. *Homans G. C.* Sentiments and Activities. N.Y Free Press, 1962.

185. *Homans G. C.* The Sociological Relevance of Behaviorism // Behavioral Sociology / Ed. by R. Burgess, D. Bushell. N.Y Columbia University Press, 1969. P 1–24.

186. *Honneth A., Wellmer A.* Communicative Action. Cambridge: Polity, 1991.

187. *Honore T* Causation in Law // Stanford Encyclopedia of Philosophy. (Summer 2002 Edition). E.N.Zalta(ed.). URL=http://plato.stanford.edu/archives/sum2002/entries/causation-law/.

188. *Jay M.* For Theory // Theory and Society. 1996. Vol. 25. P 167–183.

189. *Joas H.* G. H. Mead: A Contemporary Re-Examination of His Thought. Cambridge (Mass.): MIT Press, 1985 (1980).

190. *Joas H.* Die Kreativität des Handelns. Fr. a/M.: Suhrkamp, 1992; The Creativity of Action / Engl. transl. by J. Gaines, P. Keast. Chicago: University of Chicago Press, 1996.

191 *Joas H.* Pragmatism and Social Theory. Chicago: University of Chicago Press, 1993.

192. *Joas H.* The Autonomy of the Self: The Meadian Heritage and Its Post-Modern Challenge // European Journal of Sociology. 1998. Vol. 1. № 1. P 7–18.

193. *Keat R., Urry J.* Social Theory as Science. L.: Routledge, 1975.

194. *Kelly G. A.* The Psychology of Personal Constructs. Vol. 1 (A Theory of Personality). N.Y Norton, 1955.

195. *Kilminster R.* Praxis // The Blackwell Dictionary of Thwentieth-century Social Thought / Ed. by W Outhwaite, T Bottomore. L.: Blackwell, 1993.

196. *Knorr-Cetina K., Cicourel A. V (eds.).* Advances in Social Theory: Toward an Integration of Micro- and Macro-Sociologies. Boston etc.: Routledge and Kegan Paul, 1981.

197 *Kripke S. A.* Naming and Necessity // Semantics of Natural Language / Ed. by D. Davidson, G. Harman. Dordrecht: D. Reidel, 1972. P 253–355.

198. *Kripke S.* A. Wittgenstein: On Rules and Private Language. Cambridge (Mass.): Harvard University Press, 1982. (Сокр. русс. пер.: *Крипке С. А.* Витгенштейн о правилах и индивидуальном языке / Пер. с англ. В. Руднева // Логос. 1999. № 1 (11). С. 151–185).

199. *Kukla A.* Social Construction and the Philosophy of Science. L.: Routledge, 2000.

200. *Layder D.* Understanding Social Theory. L. et al.. Sage Publications, 1994.

201. *Lemert E.* The Trouble with Evil: Social Control at the Edge of Morality. Albany: State University of New York Press, 1997.

202. *Lenk H. (Hrsg.).* Handlungstheorien interdisziplinär. Bds. 1–4. (Kritische Information). München: Wilhelm Fink Verlag. 1977–1980.

203. *Levine D. N.* The Structure of Simmel's Thought // *K. Wolff (ed.).* Georg Simmel, 1858–1918. Columbus: Ohio University Press, 1959. P 9–32.

204. *Lewis D.* Psychophysical and Theoretical Identifications // Australian Journal of Philosophy. 1972. Vol. 50. P 249–258.

205. *Lockwood D.* Social Integration and System Integration // System, Change and Conflict / Ed. by Zollschan, W Hirsch. L.: Routledge and Kegan Paul, 1964.

206. *Lopreato J., Crippen T* Crisis in Sociology: The Need for Darwin. New Brunswick: Transaction Publishers, 1999.

207 *Lynch A.* Thought Contagion: How Beliefs Spreads through Society. N.Y.: Basic Books, 1996.

208. *MacIntyre A.* Whose Justice? Which Rationality? L.: Duckworth, 1988.

209. *Malcolm N.* The Conceivability of Mechanism // Philosophical Review. 1968. Vol. 77. P 45–72.

210. *Martindale D.* The Nature and Types of Sociological Theory. (The International Library of Sociology and Social Reconstruction.) L.: Routledge and Kegan Paul, 1961.

211 *Marwell G., Oliver P E., Prahl R.* Social Networks and Collective Action: A Theory of the Critical Mass, III // American Journal of Sociology. 1988. Vol. 94. P 502–535.

212. *Mead G. H.* Mind, Self and Society From the Standpoint of a Social Behaviorist / Ed. by C. W Morris. Chicago: University of Chicago Press, 1934.

213. *Mead G. H.* The Philosophy of the Act / Ed. by C. W Morris. Chicago: University of Chicago Press, 1938.

214. *Mead G. H.* The Definition of Psychical (1903) //Selected Writings / Ed. by A. J. Reck. Chicago: The University of Chicago Press, 1964.

215. *Mele A. R.* Autonomous Agents: From Self-Control to Autonomy. N.Y.; Oxford: Oxford University Press, 1995.

216. *Menzies K.* Talcott Parsons and the Social Image of Man. L.: Routledge and Kegan Paul, 1976.

217 *Merton R. K.* Social Structure and Anomie // American Sociological Review. 1938. Vol. 3. P 672–682.

218. *Merton R. K.* On Theoretical Sociology. Five Essays, Old and New. N.Y Free Press, 1967, P 39–72; 139–155; 156–172.

219. *Mises L. von.* Human Action. New Haven: Yale University Press, 1949.

220. *Molm L. D., and K. S. Cook.* Social Exchange and Exchange Networks // Sociological Perspectives on Social Psychology / Ed. by K. S. Cook, G. A. Fine, J. S. House. Boston: Allyn & Bacon, 1995. P 209–235.

221. *Montefiore A.* Intentions and Causes // Goals, No-Goals and Own Goals A Debate on Goal-Directed and Intentional Behaviour / Ed. by A. Montefiore, D. Noble. L. et al.. Unwin Hyman, 1989. P 58–80.

222. *Morris C.* The Pragmatic Movement in American Philosophy. N.Y.: George Braziller, 1970.

223. *Mouzelis N.* Sociological Theory: What Went Wrong? Diagnosis and Remedies. L.; N.Y Routledge, 1995.

224. *Mouzelis N.* The Subjectivist — Objectivist Divide: Against Transcendence // Sociology. 2000. Vol. 34. № 4. P. 741–762.

225. *Münch R.* Theory of Action: Towards a New Synthesis Going Beyond Parsons / Engl. transl. L.: Routledge and Kegan Paul, 1987 (1982).

226. *Nisbett R.* The Sociological Tradition. L.: Heinemann, 1966.

227 *Nisbett R., Wilson T* Telling More than We Know: Verbal Reports on Mental Processes // Psychological Review. 1977. Vol. 84. № 2. P 231–259.

228. *Niskanen W (jr.).* Bureaucracy and Representative Government. Chicago: Aldine, 1971.

229. *Noble D.* Intentional Action and Physiology // Goals, No-Goals and Own Goals : A Debate on Goal-Directed and Intentional Behaviour / Ed. by A. Montefiore, D. Noble. L. et al.: Unwin Hyman, 1989. P 81–100.

230. *Norkus Z.* Max Weber's Interpretive Sociology and Rational Choice Approach // Rationality and Society. 2000. Vol.12. № 3. P 259–282.

231 *Nozick R.* The Nature of Rationality. Princeton (N.J.): Princeton University press, 1993.

232. *Nyuri J.C., Smith B. (eds.).* Practical Knowledge: Outlines of a Theory of Tradition and Skills. L.. Croom Helm, 1988.

233. *Ogley R. C.* Rights // The Blackwell Dictionary of Twentieth-century Social Thought / Ed. by E. Gellner, R. Nisbet, A. Touraine. Oxford, Malden (Mass.): Blackwell, 1994 (1993). P 562–564.

234. *Olds J., Olds M. E.* The Mechanism of Voluntary Behavior // The Role of Pleasure in Behavior. N.Y Knopf, 1964.

235. *Oliver P E.* Formal Models of Collective Action // Annual Review of Sociology. 1993. Vol. 19. P 271–300.

236. *Oliver P E., Marwell G.* The Paradox of Group Size in Collective Action: A Theory of the Critical Mass, II // American Sociological Review. 1988. Vol. 53. № 1. P 1–8.

237 *Olson M. (jr.).* The Logic of Collective Action: Public Goods and the Theory of Groups. Cambridge (Mass.): Harvard University Press, 1965.

238. *Outhwaite W (ed.).* The Habermas Reader. Cambridge: Polity Press, 1996.

239. *Pareto V* The Mind and Society: a Treatise on General Sociology. 4 Vols. 2 books. N.Y Dover, 1963 (1916–1919).

240. *Pareto V* Sociological Writings. L.: Pall Mall, 1966.

241 *Pareto V* Compendium of General Sociology. Minneapolis: University of Minneapolis Press, 1980.

242. *Parsons T.* The Place of Ultimate Values in Sociological Theory // International Journal of Ethics. 1935. Vol. 45. April. P. 282–316. (Reprinted in: Parsons T The Early Essays / Ed. and with an Introduction by Ch. Camic. Chicago; L.: The University of Chicago Press, 1991. P. 231–258.)

243. *Parsons T* The Structure of Social Action: A Study in Social Theory with Special Reference to a Group of Recent European Writers. 2 Vols. N.Y L.: The Free Press – Collier-Macmillan Limited, 1968 (1937).

244. *Parsons T* The Social System. N.Y L.: The Free Press – Collier-Macmillan Limited, 1964 (1951).

245. *Parsons T., Shils E.* Values, Motives and Systems of Action // Toward a General Theory of Action / Ed. by T Parsons, E. Shils. Cambridge (Mass.): Harvard University Press, 1951.

246. *Parsons T.* Vilfredo Pareto // The Early Essays / Ed. and with an Introduction by Ch. Camic. Chicago: L.: The University of Chicago Press, 1991. P. 105–108.

247 *Parsons T.* Pareto's Central Analytical Scheme // The Early Essays / Ed. and with an Introduction by Ch. Camic. Chicago; L.: The University of Chicago Press, 1991. P. 133–150.

248. *Powers C. H.* Vilfredo Pareto. Beverly Hills (Cal.): Sage Publications, 1987.

249. *Pratt V* The Philosophy of the Social Sciences. L.; N.Y Routledge, 1978.

250. *Rapoport A., Chammah A.* Prisoner's Dilemma. Ann Arbor: University of Michigan Press, 1965.

251. *Ravenscroft J.* Folk Psychology // Stanford Encyclopedia of Philosophy. (Summer 2002 Edition). E.N.Zalta(ed.). URL=http://plato.stanford.edu/archives/sum2002/entries/folkpsych-theory/.

252. *Ritzer G.* Toward an Integrated Sociological Paradigm: The Search for an Exemplar and an Image of Subject Matter. Boston: Allyn and Bacon, 1981.

253. *Ritzer, G. (ed.)* Frontiers of Social Theory: The New Syntheses. New York: Columbia University Press, 1990.

254. *Ritzer, G.* Metatheorising in Sociology. Lexington, Mass.: Lexington Books, 1991.

255. *Ritzer G. (ed..)* Metatheorizing. (Key Issues in Sociological Theory. Vol. 6) L. etc.: Sage, 1992.

256. *Ritzer G.* Contemporary Sociological Theory. N.Y McGraw Hill, 1992.

257 *Rojek C., Turner B.* Decorative sociology: Towards a Critique of the Cultural Turn // Sociological Review. 2000. Vol. 48. № 4. P 629–648.

258. *Rosenberg A.* Sociobiology and the Preemption of Social Science. Baltimore et al.: The Johns Hopkins University Press. 1980.

259. *Rosenberg A.* Philosophy of Social Science. Boulder: Westview, 1988.

260. *Ross D.* Game Theory // Stanford Encyclopedia of Philosophy (Summer 2002 Edition). E.N.Zalta (ed.). URL=http://plato.stanford.edu/archives/sum2002/entries/game-theory/

261. *Rotter J. B.* Generalized Expectancies for Internal Versus External Control of Reinforcement // Psychological Monographs. 1966. Vol. 80 (1).

262. *Ryle G.* The Concept of Mind. L.: Hutchinson, 1949. (Русс. изд.: *Райл Г* Понятие сознания / Пер. с англ. Общ. ред. В. П. Филатова. М.: Идея-пресс, Дом интеллектуальной книги, 1999).

263. *Sacks H* Lectures on Conversation, 1964–1965. 2 vols / Ed. by G. Jefferson. Oxford: Blackwell, 1992.

264. *Schegloff E.* On Talk and Its Institutonal Occasion // P Drew, J. Heritage (eds.). Talk at Work: Interaction in Institutional Settings. Cambridge: Cambridge University Press, 1992. P 66–100.

265. *Schelling T C.* Micromotives and Macrobehavior. N.Y W W Norton, 1978.

266. *Schutz A.* The Phenomenology of the Social World / Transl. by G. Walsh, F Lehnert. L.: Heinemann, 1972 (1932).

267 *Schutz A.* Concept and Theory Formation in the Social Sciences // The Journal of Philosophy. 1954. Vol. 51. № 9. P 257–273.

268. *Schutz A.* The Social World and the Theory of Social Action (1940) // Collected Papers. Vol. 2: Studies in Social Theory / Ed. by A. Brodersen. The Hague: Martinus Nijhoff, 1976. P. 1–19.

269. *Schutz A.* The Problem of Rationality in the Social World (1943) // Collected Papers. Vol. 2: Studies in Social Theory / Ed. by A. Brodersen. The Hague: Martinus Nijhoff, 1976. P 64–88.

270. *Schutz A.* Common Sense and Scientific Interpretation of Human Action // Collected Papers vol.1: The Problem of Social Reality. Ed. by M.Natanson. The Hague: Martinus Nijhoff, 1973. P 3–47.

271. *Schutz A.* On Multiple Realities // Collected Papers. Vol. 1: The Problem of Social Reality / Ed. by M. Natanson. The Hague: Martinus Nijhoff, 1973. P. 208–218.

272. *Schluchter W (Hrsg.)* Verhalten, Handeln und System (Talcott Parsons' Beitrag zur Entwicklung der Sozialwissenschaften). Fr. a/M.: Suhrkamp, 1979.

273. *Scott J.* Social Network Analysis. L.: Sage, 1991.

274. *Scott J.* Sociological Theory: Contemporary Debates. Aldershot-Vermont: Edward Elgar, 1995.

275. *Searle J. R.* The Rediscovery of the Mind. Cambridge: the MIT Press, 1995.

276. *Seidman S.* The End of Sociological Theory // The Postmodern Turn: New Perspectives on Social Theory / Ed. by S. Seidman. Cambridge: Cambridge Univesity Press, 1994. P. 119–139.

277 *Sellars W* Empiricism and the Philosophy of Mind // *H. Feigl, M. Scriven (eds.).* Minnesota studies in the Philosophy of Science. Vol. 1. Minneapolis: University of Minnesota Press, 1956.

278. *Sen A.* Foundations of Social Choice Theory: an Epilogue // *Elster J., Hylland A. (eds.).* Foundations of Social Choice Theory. Cambridge; Oslo et al: Cambridge University Press and Universitatsforlaget, 1986.

279. *Sen A.* On Ethics and Economics. Oxford: Blackwell, 1987.

280. *Sharrock W* The Omnipotence of the Actor: Erving Goffman on "The Definition of Situation" // *G. Smith (ed.).* Goffman and Social Organization: Studies in Sociological Legacy. (Routledge Studies in Social and Political Thought) L.: Routledge, 1999. P 119–137.

281. *Sibeon R.* Anti-Reductionist Sociology // Sociology. Vol. 33. № 2. P 317–334.

282. *Sica A.* Theory Then / Theory Now (or, "The Sociological Theory is about to Begin, Said the Man with the Loudspeaker") // Social Theory and Sociology: The Classics and Beyond / Ed. by S. P Turner. Cambridge (Mass.); Oxford: Blackwell, 1996. P 256–273.

283. *Simmel G.* The Problem of Sociology // Essays on Sociology, Philosophy and Aestetics by Georg Simmel et al. / Ed. and transl. by K. Wolff. N.Y Harper & Row, 1959. P 310–336.

284. *Simmel G.* The Metropolis and Mental Life // Readings in Social Theory: The Classic Tradition to Post-Modernism / Ed. by J. Farganis. N.Y et al.: McGraw Hill, 1996. P. 146–157.

285. *Simon H.* Reason in Human Affairs. Stanford: Stanford University Press, 1983.

286. *Skinner B. F.* Beyond Freedom and Dignity Harmondsworth: Penguin, 1971.

287. *Skinner B. F.* Reflections on Behaviorism and Society. N.Y Knopf, 1978.

288. *Smelser N. J.* The Rational and the Ambivalent in the Social Sciences: 1997 Presidential Address // American Sociological Review. 1998. Vol. 63. № 1. P. 1–16.

289. *Smilansky S.* The Ethical Advantages of Hard Determinism // Philosophy and Phenomenological Research. 1994. Vol. 54. № 2 (June). P. 355–363.

290. *Sprondel W. M. (Hrsg.).* Alfred Shütz — Talcott Parsons: Zur Theorie sozialen Handelns. Ein Briefwechsel. Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1977.

291 *Spykman N.* The Social Theory of Georg Simmel. Chicago: University of Chicago Press, 1925.

292. *Stinchcomb A. L.* Constructing Social Theories. N.Y Harcourt, Brace, and World, 1968.

293. *Stones R.* Sociological Reasoning: Towards Post-Modern Sociology. N.Y.: St. Martin's Press, 1996.

294. *Sullivan H. S.* The Interpersonal Theory of Psychiatry. N.Y Norton, 1953.

295. *Sztompka P* Robert K. Merton: An Intellectual Profile. Basingstoke: Macmillan, 1986.

296. *Takahashi N.* The Emergence of Generalized Exchange // American Journal of Sociology. 2000. Vol. 105. № 4. P. 1105–1134.

297. *Turner B. S.* Introduction // *Turner B. S. (ed.).* The Blackwell Companion to Social Theory. Malden (Mass.); Oxford: Blackwell Publisher, 2000 (1996).

298. *Turner B. S. (ed.).* The Blackwell Companion to Social Theory. Malden (Mass.); Oxford: Blackwell Publisher, 2000 (1996).

299. *Turner J. H, Beeghlee L., C. H.Powers.* The Emergence of Sociological Theory. Chicago (Ill.): The Dorsey Press, 1989 (1981).

300. *Turner J. (ed.)* Theory Building in Sociology: Assessing Theoretical Cumulation. Newbury Park: Sage, 1989.

301. *Turner J. H.* Social Exchange Theory: Future Directions // Social Exchange Theory / Ed. by K. S. Cook. Newbury Park et al.: SAGE Publications, 1987. P 223–239.

302. *Turner S.* The Social Theory of Practices: Tradition, Tacit Knowledge and Presuppositions. Cambridge: Polity Press, 1994.

303. *Turner S. P., Factor R. A.* Max Weber: The Lawyer as Social Thinker. L.; N.Y.: Routledge, 1994.

304. *Ullmann-Margalitt E.* The Emergence of Norms. Oxford: Clarendon, 1977

305. *Vaitkus S.* How is Society Possible? (Intersubjectivity and the Fiduciary Attitude as Problems of the Social Group in Mead, Gurwitsch, and Schutz). Dordrecht et al.: Kluwer Academic Publishers, 1991.

306. *Vaitkus S.* Phenomenology and Sociology // The Blackwell Companion to Social Theory / Ed. by B. Turner. Oxford: Blackwell, 2000 (1996). P 270–298.

307 *Wallace W L.* Metatheory, Concepual Standardization, and the Future of Sociology // *Ritzer G. (ed.).* Metatheorizing. (Key Issues in Sociological Theory. Vol. 6) L. etc.: Sage, 1992. P. 53–68.

308. *Waters M.* Modern Sociological Theory. L. et al.: Sage Publications, 1994.

309. *Watson R.* Reading Goffman on Interaction // *G. Smith (ed.).* Goffman and Social Organization: Studies in Sociological Legacy. (Routledge Studies in Social and Political Thought) L.: Routledge, 1999. P 138–155.

310. *Weber M.* Roscher and Knies: Logical Problems of Historical Economics. N.Y Free Press, 1975.

311. *Weber M.* Economy and Society: An Outline of Interpretive Sociology. 2 vols. / Ed. by G. Roth, C. Wittich. Berkeley: University of California Press, 1978 (1921).

312. *Winch P* The Idea of a Social Science and its Relation to Philosophy. London: Routledge and Kegan Paul. 1976 (1958). (Русс. изд.: *Уинч П.* Идея социальной науки и её отношение к философии / Пер. с англ. М. Горбачева, Т. Дмитриева. М.: Русское феноменологическое общество, 1996).

313. *Winkin Y* Erving Goffman: What is Life? The Uneasy Making of an Intellectual Biography // *G. Smith (ed.)*. Goffman and Social Organization: Studies in Sociological Legacy. (Routledge Studies in Social and Political Thought) L.: Routledge, 1999. P 19–41.

314. *Wright G. H. von.* Explanation and Understanding. L.: Routledge and Kegan Paul, 1971.

315. *Yamagishi T.* The Provision of a Sanctioning System as a Public Good // Journal of Personality and Social Psychology. 1986. Vol. 51. № 2. P 110–116.

Девятко Инна Феликсовна

Социологические теории деятельности и практической рациональности

Научное издание

Научный редактор М. С. Ковалева
Компьютерная верстка Д. В. Сильванович

Сдано в набор 28.11.2002 г. Подписано в печать 28.02.2003 г.
Формат 84 × 108 $^{1}/_{32}$. Бумага офсетная № 1. Гарнитура Таймс.
Печать офсетная. Усл. печ. л. 17,64.

Издательство «Аванти плюс».
127083, г. Москва, ул. Верхняя Масловка, д. 10, стр. 4.
Тираж 1500 экз. Заказ № 1295.

Отпечатано в полном соответствии
с качеством предоставленных диапозитивов
в ОАО «Можайский полиграфический комбинат».
143200, г. Можайск, ул. Мира, 93.